

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

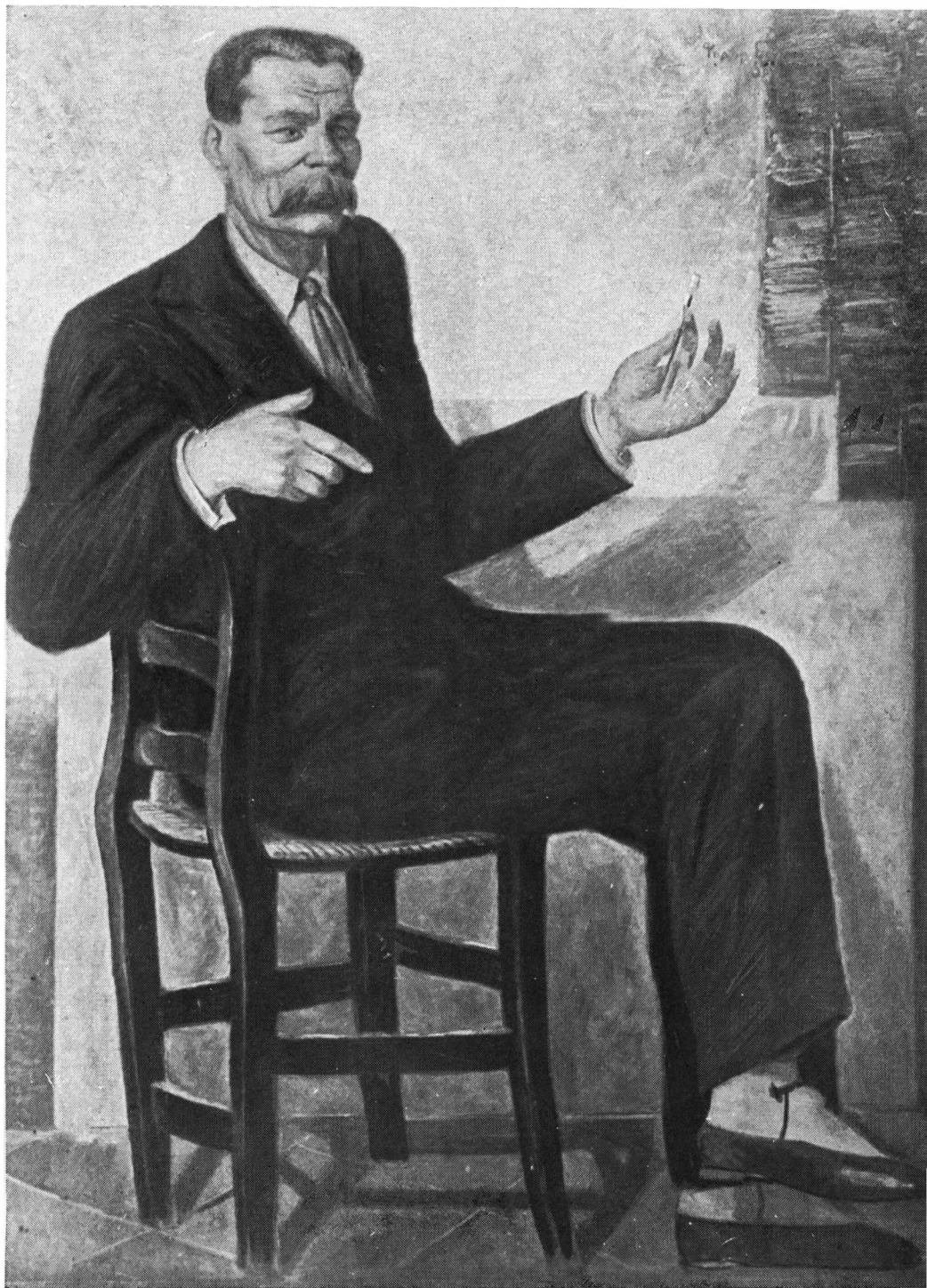
К Н И Г А

П Я Т А Я

М А И

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 1



Портрет работы худ. Ф. Богородского (1930 г.).

РЕДАКЦИЯ „НОВОГО МИРА“ ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕТ
АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО
ПРОЛЕТАРСКОГО ХУДОЖНИКА, РЕВОЛЮЦИОНЕРА,
БОРЦА ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр.</i>
1. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Бегство, повесть, окончание.	5
2. Э. БАГРИЦКИЙ. — Автобус, стихотворение.	26
3. Як. РЫКАЧЕВ. — Величие и падение Андрея Полозова, повесть без диалогов.	27
4. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение.	62
5. Н. УШАКОВ. — Два стихотворения.	78
6. Н. А. ВАЛЬДЕН. — В польском плену, записки.	80
7. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Сказочное имя, рассказ.	91
8. Дм. БОРИСОВ. — Пятиконечная, стихи.	103

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. К. ЗЕЛИНСКИЙ. — Столетние люди, очерк (с иллюстрациями).	104
10. Вас. ТУРОВ. — Летуны.	120
11. ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ. — Ингушетия, очерки (с иллюстрациями).	126

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

12. А. ДЕРМАН. — Проблема живой речи в художественной литературе.	144
13. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — О «Соти» Л. Леонова.	162

ИЗ ПРОШЛОГО:

14. Письма Н. П. Огарева. Вступительная статья, редакция и примечания Н. Мендельсона.	170
---	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

15. Е. ГНЕДИН. — Революция в Испании.	195
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — А. Гитович «Мы входим в Пишпек»	203
Борис АНИБАЛ. — Лев Савин «Юшка». Его же «Юшка в тылу».	203

Н. ВИЛЕНСКАЯ. — А. Дроздов «Три колена».	204
Я. БУЧИЛОВ. — Н. Колоколов «Повелитель».	204
Макс ЗИНГЕР. — Зинаида Рихтер «У белого пятна».	205
Н. КОНСТАНТИНОВ. — К. Соколов-Страхов «В горных долинах Афганистана».	205
Я. ФРИД. — Е. Ланн «Литературная мистификация».	206
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — С. Бонди «Новые страницы Пушкина»	207
Вс. МАЛЕЕВ. — Записные книжки Ал. Блока.	207

Бегство

Повесть

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

(Окончание¹)

VI

Накануне вечером, когда адмирал Рожественский находился уже на «Буйном», Баранов получил приказ разыскать флагманский корабль и снять с него штаб. Это означало, что нужно спасти остальных членов штаба, оставшихся на погибающем корабле. Но Баранов такой приказ понял по-другому, полагая, что с «Суворова» никого еще не сняли. Конечно «Бедовый» не нашел флагманского корабля и все крутился около легких крейсеров, стараясь держаться подалеже от поля сражения. И вдруг теперь, 15 мая утром, получилась такая загадочная телеграмма — снять адмирала! А главное — в ней ничего не говорилось, какого адмирала: Рожественского или Небогатова? А может быть, Фелькерзам? От такой неожиданности командир «Бедового» грустно крикнул. Что будет, если это окажется сам командующий? И на какое судно он захочет пересесть? Баранов забегал по мостику, засуетился, восклицая:

— Вот тебе раз! Вот так сюрприз! Хорошо было бы, если бы это оказался Небогатов или Фелькерзам. Ну, а как тот? О, нет, нет! Дай бог, чтобы это был другой адмирал, но только не Рожественский...

Крейсер «Дмитрий Донской» и миноносцы «Бедовый» и «Грозный» постепенно сближались с «Буйным».

В это время командир Коломейцев спустился в свою каюту и, обращаясь к лежащему на койке адмиралу, заговорил:

— Ваше превосходительство, разрешите доложить вам, что на вверенном мне миноносце машина повреждена, котлы засолены, уголь на исходе. При таких условиях я ни до какого нашего порта дойти не могу. А потому я решил предложить вам, не пожелаете ли вы перейти на «Донской».

Адмирал, слушая командира, отвел черные глаза в сторону, словно боялся встретиться с его взглядом, и тихо спросил:

— При нем ведь есть и миноносцы?

— Так точно, ваше превосходительство, — «Бедовый» и «Грозный», — отчеканил Коломейцев.

Адмирал что-то соображал и не сразу промолвил:

— Нет, я лучше перейду на «Бедовый», если конечно на нем все исправно и достаточно имеется угля.

— Есть.

Коломейцев вышел из каюты и поднялся на мостик.

С «Буйного», когда подошли к «Бедовому» совсем близко, спросили голосом:

— Сколько у вас имеется угля и какой можете развить ход?

На мостике «Бедового» появился вызванный инженер-механик Ильютювич. Это был невзрачный человек — низенький, коренастый, с большим носом, с темнорыжими усами, свисающими вниз, как две сосульки. Обыкновенно он быстро сходился с людьми, любил побалагурить, играя при этом легкомысленными глазами, но теперь он был мрачен и, разговаривая с ненавистным командиром, смотрел вниз, словно заинтересо-

¹) См. «Новый мир» кн. 4 с. г.

вался его начищенными ботинками. Баранов, посоветовавшись с ним, зычно крикнул на «Буйный»:

— Угля имею сорок девять тонн. Для экономического хода хватит его на двое суток. Могу дать и полный ход — двадцать пять узлов.

С «Буйного» снова спросили:

— Во сколько времени можете достигнуть Владивостока?

— В полтора суток, — ответил Баранов.

Такие же вопросы задавали и на «Грозный» и так же получили удовлетворительные ответы. Но штабные чины во главе с адмиралом почему-то все-таки решили пересесть на миноносец «Бедовый». Все четыре судна стояли с застопоренными машинами, покачиваясь на мертвой зыби. Крейсер «Донской» получил по семафору приказ — спустить шлюпки. Баркас и гребной катер моментально очутились на воде. Катер пристал к правому борту «Буйного» для снятия адмирала и его помощников. Но прошел целый час, прежде чем вынесли командующего наверх. Тем временем баркас, приставая к противоположному борту, занялся переправой на крейсер ослябской команды, сильно переполнявшей миноносец.

Баранов все время находился на мостике своего миноносца и, взволнованно приставлял к глазам бинокль. Вид у командира был такой растерянный, как будто он стоял на узенькой и тонкой дощечке, перекинутой через глубокий ров. В девять часов катер под взмахами весел начал приближаться к борту «Бедового». Теперь никаких сомнений не было: перевозили самого Рождественского, который лежал на носилках. Его трудно было бы узнать, но вместе с ним находились чины его штаба: флаг-капитан капитан 1 ранга Клапье-де-Колонг, флагманский штурман, полковник Филипповский — и тот и другой с повязками на голове; заведующий военно-морским отделом капитан 2 ранга Семенов, старший флаг-офицер лейтенант Кржижановский и другие. Баранов, сорвавшись с мостика, помчался к трапу с такой поспешностью, как будто за ним гнались с ножом. Лицо его то бледнело, то покрывалось красными пятнами, а губы, сисясь что-то сказать, судорожно

кривились. Он ясно отдавал себе отчет, — сколько раньше Рождественский ему ни покровительствовал, вчерашняя его проделка едва ли будет прощена. Ведь он так изменнически покинул своего командующего, не став его спасать, и считал его уже мертвым. А на самом деле адмирал оказался жив — он смотрит с носилок прямо на командира таким загадочным взглядом черных глаз, как будто хочет проникнуть в самую глубь его неверной души.

Гребцы пошабали, крючковые зацепились за трап. Мичман Гернет, управлявший катером, обратился к адмиралу:

— Ваше превосходительство, не будет ли каких приказаний на «Донской»?

На это Рождественский ответил твердо и решительно:

— Итти во Владивосток.

Выскочивший на палубу лейтенант Леонтьев сказал команде, притотовившейся принять носилки:

— Осторожнее, братцы, ведь это адмирал!

Баранов расправил свою атласную бороду на две половины и, набрав полную грудь воздуха, весь вытянулся. Правая рука его, поднятая к козырьку фуражки, вздрагивала, глаза налились животным страхом. Однако опасения его оказались напрасными. В другое время, при других условиях, несмотря на свою изнеможенность от ран, адмирал конечно разгромил бы такого командира, который не выполнил боевого приказа. Но в данный момент это не входило в его расчеты. Очутившись на палубе, Рождественский прямо с носилок протянул руку командиру и ласково сказал:

— Как нас раскатали!

Умиленный такой неожиданной милостью, Баранов начал целовать руки своего начальника, расстилаясь перед перед ним льстивым говором:

— Да, да, ваше превосходительство, раскатали. Но я до безумия рад, ваше превосходительство, что хоть вы остались живы...

Тут же стояли матросы, хмуро поглядывая на адмирала. Всего лишь сутки тому назад, если бы он прибыл на палубу миноносца, все пришли бы в со-

стояние того жуткого оцепенения, какое бывает при виде сумасшедшего, вооруженного топором. А теперь, после сражения, он, убежавший от остатков разбитой эскадры, сразу превратился в ничтожество. Его рассматривали с любопытством и в то же время с огорчением, словно удивляясь, как до сих пор они могли идти за таким бездарным вождем.

Адмирал поздоровался с командой, и на его приветствие вяло и разноречно, словно люди разучились отвечать высшему начальству, раздались голоса:

— Здравие желаем, ваше гитество.

Рождественского снесли на ют. Здесь сняли с носилок и усадили на парусиную койку. А когда начали спускать по узкому трапу вниз, Баранов закрычал на матросов, желавших оказать помощь:

— Не смей! Не смей прикасаться к его превосходительству! Я сам спущу его превосходительство!

Внизу, на палубе, адмирал встал на ноги и, поддерживаемый командиром, вошел в его каюту и улегся на койку.

С «Донского» немедленно был вызван младший врач Тржемеский для ухода за Рождественским.

«Бедовый» пошел на север, подняв сигнал: «Грозный» следовать за мной». Но командир этого миноносца, капитан 2 ранга Андржиевский не подчинился сигналу, считая Баранова младше себя. Сейчас же был поднят второй сигнал: «Грозный», что случилось?» Андржиевский ответил: «Ничего». Но все-таки дал ход вперед и, приблизившись к «Бедовому», спросил по семафору: «Какие и от кого имею приказания?» Ему по семафору же ответили: «Адмирал Рождественский на миноносце, ранен, большинство штаба также, идем во Владивосток, если хватит угля; в противном случае в Посьет; идите так, чтобы ваш дым не попадал на нас». Только после таких переговоров «Грозный» вступил в кильватер «Бедовому» и держался от него на почтительном расстоянии.

«Донской» и «Буйный» остались на месте. С миноносца продолжали перевозить ослабцев на крейсер. Но скоро пришлось отказаться от этой операции: на горизонте заметили подозрительные дымки. «Донской» поднял шлюпки, дал

ход вперед и, сопровождаемый «Буйным», направился к северу.

Два наших миноносца, ушедших вперед, едва были видны. За ними нельзя было поспеть.

С появлением штаба на «Бедовом» сейчас же был поставлен вопрос:

— Имеется ли на миноносце белый флаг?

Впоследствии так и не могли точно выяснить, кто первый произнес эту фразу. Командир Баранов приписывал ее флагманскому штурману, мичман О'Бриен-де-Ласси флаг-капитану, а сигнальщик Михайленко и вестовой Балахонцев — самому Рождественскому. Возможно, что все трое, занятые одной и той же мыслью, поставили один и тот же вопрос в разное время.

Баранов и полковник Филипповский встретились как два старых знакомых: ученик и учитель. Ведь первый когда-то брал у второго уроки по штурманскому делу. На мостике миноносца между ними произошел разговор относительно белого флага. Тут же находился мичман О'Бриен-де-Ласси, юноша лет двадцати, изящно сложенный, с девичьи-нежным лицом, с аристократическими манерами. Это был офицер, плохо знающий морское дело. Но он был богат и происходил, по его словам, от ирландского королевского рода.

Командир, услышав о белом флаге, сначала не понимал, в чем тут дело, но полковник Филипповский объяснил ему:

— Будучи еще на «Буйном», штаб решил в случае встречи с японцами сдать без боя, чтобы сохранить жизнь адмирала.

— Ах, вот как! — воскликнул Баранов и, нежно погладив обеими руками по атласной бороде, приятно заулыбался, как будто получил весть о повышении его в следующий чин.

Белого флага на миноносце не оказалось. Мичман О'Бриен-де-Ласси предложил заменить таковой салфеткой или простыней. Но командир Баранов отверг то и другое, авторитетно заявив:

— Лучше всего подойдет для этой цели скатерть.

О'Бриен-де-Ласси принял такое решение с легкостью беззаботного юноши и, молодо сияя голубыми глазами

из густых ресниц, сейчас же приказал сигнальщику Сибиреву:

— Сбегай в кают-компанию, возьми там белую скатерть и приготовь из нее парламентарский флаг.

— Неужели будем сдаваться, ваше благородие? — удивленно спросил сигнальщик.

Мичман улыбнулся пунцово-сочными губами.

— Адмирал приказал приготовить на всякий случай.

Вскоре слух о приготовлениях к сдаче миноносца проник в команду. Матросы волновались, спорили между собою: одни верили таким слухам, другие нет. Боцман Чудаков, стройный и порывистый парень с русыми усами, показывая крепкие кулаки, угрожал:

— Я морду разобью за подобные разговоры!

Ему посоветовали:

— Прочисти хорошенько уши и сходи на командирский мостик.

Некоторые из команды резонно ставили вопрос:

— Кому же будем сдаваться, если неприятеля совсем даже не видать?

И правда — на первый взгляд казалось, что все шло ладно, горизонт был чист и свободен. Наивные люди могли думать, что таким образом они достигнут конечной цели. Но они не знали, что наверху, на командирском мостике, были приняты все меры к тому, чтобы встретиться с японцами. Флагманский штурман, полковник Филипповский, провел по морской карте черту вблизи острова Дажелета, оставляя его справа. Таким курсом должны были идти оба миноносца. Мичман Демчинский высказал свое предположение:

— На этом острове может оказаться сигнальная станция. Нас заметят японцы и пошлют за нами погоню.

И робко добавил:

— Не уклониться ли нам больше в сторону от острова?

Полковник Филипповский недоволен нахмурил брови и возразил:

— Если идти иначе, то у нас нехватит угля. Поэтому я выбираю кратчайший путь.

Мичман Демчинский вынужден был согласиться:

— Да, этого обстоятельства я не принял во внимание.

Штабные чины и командир, посоветовавшись между собою, продолжали действовать в определенном направлении. Прежде всего призвали судового механика Ильютовича и, расспросив его, какой будет самый экономичный ход, приказали прекратить пары в двух котлах. А затем, вместо того, чтобы скорее удалиться из неприятельской зоны, удрать от грозящей опасности, в машину было отдано новое распоряжение — убавить ход до двенадцати узлов.

Видимо, адмиралу и его штабным чинам очень не хотелось попасть во Владивосток. Об этой скрытой мысли их догадывался исполняющий обязанности минного офицера лейтенант Вечеслов и очень волновался. Это был любимый командою начальник, передовой человек, талантливый начинающий беллетрист. Ни к одному офицеру командир не отпустился с такой ненавистью, как к Вечеслову за его человеческое отношение к матросам и частые беседы с ними на темы, стоящие вне военно-служебных интересов. Широкоплечий, чуть повыше среднего роста, с крупными чертами лица в здоровом загаре, он теперь бродил по миноносцу с таким видом, как будто потерял в своей жизни что-то самое драгоценное. Прислушиваясь к разговору штабных, он сам расспрашивал их, что заставило адмирала перейти на «Бедовый»? От них он узнал, что «Буйный» был не исправен и не имел угля. Но почему же они не избрали для себя миноносец «Грозный»? На последний вопрос ни Филипповский, ни Клапье-де-Колонг, ни другие не могли ответить откровенно. Вечеслов, встретившись с механиком Ильютовичем, намекнул ему о своих догадках:

— Меня удивляет одно обстоятельство. Наш командир изменил Роже-ственскому самым наглейшим образом. Он ни разу не подошел к флагманскому кораблю, переживавшему такое страшное бедствие. Об этом адмирал не мог не знать. И все-таки, как я слышал от штабных, он сам пожелал пересечь именно на «Бедовый». Что это значит?

Ильютович сумрачно ответил:

— А то значит, что Баранов для задуманной цели оказался самый подхо-

дящий командир. Но мы с вами видимому влипнем в нехорошую историю. И вся беда наша в том, что мы ничего не можем поделать.

Они увидели машиниста самостоятельного управления Попова, стоявшего около них, и прекратили разговор.

До обеда ничего не изменилось. Оба миноносца продолжали продвигаться вперед двенадцатиузловым ходом, держа курс норд-ост 23. Горизонт по-прежнему был чист. Японцы точно провалились—ни одного признака их близкого присутствия. Штабные чины даже понурили головы. Лейтенанты Кржижановский и Леонтьев от непривычного плавания на миноносце страдали морской болезнью. Остальные разошлись спать. Здоровье адмирала не вызывало никаких опасений: по сообщению доктора, температура у него была тридцать семь с половиной.

После полдня лейтенант Вечеслов вступил на вахту. До трех часов он стоял на мостике, понурился, пока сигнальщик не доложил ему, что за кормой показались дымки. Вахтенный начальник сейчас же распорядился доложить об этом командиру. На «Бедовом» все пришло в движение. Штабные чины и судовые офицеры спешили на мостик. Бинокли и подзорные трубы были направлены туда, откуда, как два небольших облака, приближались дымки, постепенно вырастая. Какую тайну скрывала даль? Пока никто не мог ее разгадать.

VII

«Дмитрий Донской» и «Буйный» шли вместе во Владивосток. Миноносец держался на левом траверзе своего попутчика в пяти кабельтовых. Потом стал отставать от крейсера. Машина на «Буйном», разладившись, грохотала всеми своими частями, пар начал падать. Машинная команда выбивалась из последних сил, чтобы держать сто тридцать оборотов вместо трехсот пятидесяти.

Командир Коломейцев, всегда вытянутый и стройный, теперь стоял на мостике, согнувшись, подавленный бременем безотрадных дум. За пережитые сутки без сна, в бесперывной напря-

женности точеное лицо его потеряло свежесть, осунулось, тонкий нос заострился. От всего видимого пространства, залитого солнечным блеском, от моря, плавно зыбившегося под ясно-полуденным небом, веяло тишиной и миром, но душа была в смятении. Проницательно-серые глаза, загораясь мрачным блеском, жадно впивались вперед, в уходящий крейсер. Что делать дальше? Остаться в море на одиноком миноносце, который превратился в инвалида,— это значит обречь себя и всех своих подчиненных на бесплодную жертву. Нет, надо принять решительные меры. Командир вызвал на мостик инженера-механика, поручика Даниленко, и, подавляя внутреннее волнение, заговорил сухо, тоном властного начальника:

— Думаете ли вы, поручик, что при таком состоянии механизмов, даже имея достаточно угля, мы можем дойти до Владивостока? Для ясности я поставлю иначе вопрос: стоит ли нам задерживать «Донского» для принятия угля, или это будет бессельная проволочка времени? Я прошу вас дать мне на это точный ответ.

Даниленко, неумытый, потный, с чуждым лицом, в засаленной куртке, посмотрел на командира с унылым утомлением.

— Сомневаюсь, господин капитан 2 ранга, чтобы машина без переборки движущихся частей выдержала. Что же касается котлов, то они уже начали сдавать. Один из них, № 4, пришлось вывезти, так как он сильно потек по швам парового коллектора.

Получив такой ответ, командир медленно распорядился созвать военный совет. На нем участвовали все офицеры—свои и ослябские. После недолгих обсуждений пришли к единогласному решению, сурово гласившему в своей заключительной части, что всем людям нужно переправиться на «Донской», а миноносец, чтобы он не достался неприятелю, следует пустить ко дну.

Минуты две спустя, хлестнул всех отрывистый выкрик командира:

— Поднять сигнал: «Терплю бедствие»!

Под грустные взоры офицеров и команды два флага «З. Б.», развертываясь на тонком фале, понеслись

вверх, к вершине фок-мачты. В этих цветных полотнищах, рвущих в синем воздухе, был приговор миноносцу, последний безмолвный призыв к удалившемуся спутнику. Все молчали. Командир нервно щипал русую бородку. Лицо его стало неподвижным и жестким.

«Донской» повернул обратно и, постепенно уменьшая ход, остановился. «Буйный» пристал к его борту. После коротких переговоров Колмейцева с капитаном 1 ранга Лебедевым началась переправа людей с миноносца на крейсер.

Это произошло в начале двенадцатого часа.

Миноносец опустел. На нем остались только три человека: командир Коломейцев, лейтенант Вурм и кондуктор Тюлькин. Они должны были приготовить его к взрыву. Крейсер спустил катер, чтобы потом взять этих людей обратно к себе на борт, и отошел на некоторое расстояние. Но взрыв не удался. Тогда, чтобы не терять времени, решили потопить миноносец снарядами.

Командир со своими помощниками перебрался на «Донской». Комендоры зарядили шестидюймовое орудие. Оба корабля стояли неподвижно, на расстоянии друг от друга не дальше, как на полтора кабельтовых (150 саженей). Раздался первый выстрел. Мимо! Второй и третий раз рывнула пушка. «Буйный» продолжал оставаться целым и невредимым.

Среди команды слышался говор:

— Эх, горе-комендоры!

— Ведь плевком можно достать, а из орудия не попадают!

— Да, словно кто заколдовал миноносец.

— Глаза, что ли, косые у комендоров?

Командир Лебедев, наблюдавший с мостика за стрельбой, чувствовал себя неловко, нервничал и наконец, когда промахнулись четвертый и пятый раз, сердито воскликнул:

— Безобразие! Позор! Какое-то проклятие висит над нашим флотом! Все это—результат того, что мы занимались не тем, чем нужно.

Старший офицер Блохин пояснил:

— Я неоднократно спорил с нашими специалистами, доказывал им, что они неправильно обучают свою команду...

Командир перебил его:

— Дело не в отдельных специалистах. Надо смотреть глубже. Вся организация службы в нашем флоте ни к чорту не годится.

Шестым и седьмым выстрелами задел миноносец и только восьмым попал основательно в его носовую часть. «Буйный» медленно стал погружаться носом, а потом вдруг стал на «попа», винтами кверху, и с поднятым кормовым и стеньговым флагами, быстро ушел в воду. Получилось впечатление, как будто он, не желая больше мучиться, нарочно нырнул ко дну.

После генерального сражения стрельба по миноносцу как-то сразу открыла многим глаза. Этот незначительный случай вскрывал всю сущность нашего отсталого флота, где люди занимались больше парадами, но только не боевой подготовкой. Белым днем мы не могли попасть с одного выстрела в предмет, находившийся на таком близком расстоянии и стоявший неподвижно. Таковы были артиллеристы из школы, созданной Рождественским, из школы, на которой этот адмирал сделал себе блестящую карьеру. Как же можно было ночью разбивать и топить японские миноносцы, развивавшие ход до двадцати пяти узлов, или наносить вред их крупным кораблям, проходившим мимо в сотню кабельтовых? Мы даром разбирали снаряды¹⁾.

«Дмитрий Донской», оставшись один, снова тронулся на север. Если бы он не провозился так долго с «Бедовым» и «Буйным», потратив на них за две остановки около пяти часов времени, то, может быть, ему и удалось бы ускользнуть от неприятеля. Но эта вынужденная задержка решила его участь по-иному.

Еще с утра на горизонте показались неприятельские миноносцы, которые од-

¹⁾ Вот что говорит старший офицер Блохин о случае с «Буйным» в своем секретном показании перед следственной комиссией: «Достоин замечания то обстоятельство, что в миноносце, который был неподвижен, в каких-нибудь тридцати саженях от неподвижного же крейсера, попали только по шестому выстрелу из современной 6-дюймовой пушки Кане, снабженной оптическим прицелом Перепекина (отдел IV, книга третья, вып. 4, стр. 425).

нако скоро скрылись. Надо было полагать, что они вызовут погоню за русским крейсером. Но «Донскому» ничего не оставалось, как продолжать свое плавание. Солнце снижалось с полуденной высоты. Давно на крейсере все пообедали и отдохнули. Кончалось и чаепитие. В судовой колокол пробили четыре склянки. Впереди, на два румба левее курса, открылся гористый и почти недоступный для судов остров Дажелета, от которого останется до Владивостока около четырехсот миль. Кругом ничего подозрительного не было. На корабле водворилась та умиротворенность, которую никому не хочется нарушать. Даже приказания, исходившие со стороны начальствующих лиц, отдавались тихим и ласковым голосом. Казалось, люди на время забыли о прежней своей розни и теперь представляли одну дружную семью, объединенную общим желанием — скорее пристать к родному берегу. Среди матросов затаенная мечта прорывалась в отдельных фразах:

— Если до ночи не встретимся с японцами, то можно будет сказать — остались живы и невредимы.

— Эх, только бы попасть на родину! Упаду на землю, обниму ее и расцелую, как мать родную!

А двумя часами позже у многих заняло сердце.

Справа заметили несколько дымков. Сейчас же мичман Вилькен полез на фор-стенгю, где была прикреплена бочка для наблюдателя. Неизвестные суда приближались. На «Донском» вся верхняя палуба заполнилась людьми. Офицеры с мостика нетерпеливо обращались к наблюдателю, поднимая лица вверх и спрашивая:

— Ну, как там, что видно?

— Похожи на наши корабли.

— Может быть, это отряд Энквиста?

— Ничего определенного нельзя сказать.

На дальнейшие вопросы продолжали еще некоторое время получать сбивчивые ответы, пока наконец не услышали с фор-стенги выкрик, тревожно-торопливый:

— Японские, японские суда!..

Эти слова произнес мичман Вилькен по-мальчишески визгливо, но они прозвучали на корабле жутким предгро-

зием, спугнув мечту о счастливом будущем. По всей палубе, качая головами, зашевелились люди, глухо загудел сдержанный говор. Некоторые матросы с недоумением переглядывались, как бы спрашивая одними глазами, чья судьба решится в первую очередь? Ослабшая команда, побывавшая уже в воде, зябко вздрагивала. Командир Лебедев, отойдя на крыло мостика, запрокинул голову и, длинно вытянув тощую шею, крикнул наблюдателю сильным, словно с перепоя, голосом:

— Мичман Вилькен! Неужели это японские суда? А вы в этом уверены?

— Да, да, уверен! Точно могу сказать: четыре крейсера и три миноносца.

По распоряжению командира изменили курс влево, но неприятельские суда уже заметили «Донского» и, повернув «все вдруг», погнались за ним. Скоро на левой раковине заметили еще два трехтрубных крейсера. Дали знать в машину, чтобы развивали самый большой ход. Машинная команда и механики, понимая всю серьезность положения, сами старались без всякого понукания. В топку подливали масло, усиливая этим горение и лучше удерживая пар на должной высоте. К сожалению, двойной котел № 5, испортившийся еще накануне вчерашнего боя, бездействовал. «Донской» лишь на короткое время мог увеличить ход, но скоро начал сдавать. Расстояние между ним и неприятельскими судами хоть медленно, но все уменьшалось. Неизбежность боя была для всех очевидна.

На мостике еще раз был созван совет. Нужно было торопиться, поэтому присутствовало на нем немного лиц: сам командир Лебедев, капитан 2 ранга Блохин, лейтенанты Старк, Гирс, Дурново и спасенный с «Осляби» флагманский штурман, подполковник Осипов. Был поставлен вопрос: как при данных условиях должен будет поступить «Донской»? Некоторые офицеры отвечали на это неопределенно:

— Едва ли мы можем причинить хоть какой-нибудь вред противнику, стоящему из шести кораблей.

— Придется сражаться, если не можем поступить иначе.

И угрюмо поглядывали на командира, ожидая от него спасения. Откровен-

нее всех был подполковник Осипов. Большая сивая борода его взлохматилась, на лбу, как длинные гусеницы, зашевелились шесть глубоких морщин. Он заметался по мостику, округляя голубые глаза и с жаром выкрикивая:

— Я полагаю — нам нельзя сражаться с такими превосходными силами противника. По своему безумию это было бы равносильно тому, как если бы мы вздумали зубами перегрызть якорный канат. В самом деле — на что нам надеяться? Сегодня, чтобы потопить свой миноносец, пришлось выпустить в него восемь снарядов на таком близком расстоянии. Разве это не показательный факт нашей беспомощности? Вчера все видели, как промили японцы нашу эскадру, которая находилась в гораздо лучших условиях. Неужели изношенный и хилый «Донской» может оказать врагу серьезное сопротивление? Нас утопят в каких-нибудь десять минут. Кто же имеет право взять на себя страшную ответственность за те восемьсот жизней, которые находятся на борту крейсера?..

Командир не дослушал его до конца и, подойдя к старшему офицеру, шепнул на ухо:

— По моему мнению, совет надо распустить.

Блохин сейчас же сурово распорядился:

— Прошу господ офицеров — лишним с мостика удалиться и приготовиться занять свои места, когда будет пробита боевая тревога.

Лебедев, приказав направить судно на Дажелет, сообщил другим о своем решении:

— Если исход неравного боя будет для нас роковым, то я разобью крейсер о прибрежные скалы.

VIII

«Бедовый» и «Грозный», не прибавляя хода, продолжали свой путь тем же курсом. Неизвестные суда, гнавшие за ними, шли гораздо стремительнее их. Справа впереди обрисовался остров Дажелета. На мостике «Бедового» офицеры, разговаривая, обменивались мнениями:

— Это догоняют нас какие-нибудь наши отставшие крейсера.

— Ну, да. Отбились вчера от эскадры и теперь торопятся.

— Никаких сомнений в этом нет. В пользу такого предположения говорит тот факт, что они идут с нами одним курсом.

Лейтенант Вечеслов упрямо заметил:

— А вдруг окажутся японские?

Но его сейчас же опровергнул полковник Филипповский:

— Японские попарно не ходят, а всегда вчетвером.

Лейтенант Вечеслов не унимался:

— Надо бы на всякий случай развести пары и в остальных двух котлах.

Но против этого возразил командир:

— Зачем же это делать раньше времени? Подождем, выясним, чьи эти суда. Если окажутся наши крейсера, тем лучше будет для нас. А развести пары мы всегда успеем.

К адмиралу спускались Клапье-де-Колонг и Баранов и о чем-то с ним беседовали.

За кормою определились одномачтовые корпуса двух судов. Немного погодя, можно было точно сказать, что гонятся миноносцы. Передний из них был двухтрубный, а задний — четырехтрубный.

С «Грозного» было передано по семафору: «Миноносцы неприятельские».

На «Бедовом» и на этот раз машина работала только под двумя котлами. Инженер-механик по своей инициативе увеличил ход.

Приближался ответственный момент. Чины штаба и командир миноносца забеспокоились. Как им замаскировать перед другими свое намерение? И началась какая-то нелепая игра. Вызвали на мостик инженера-механика Ильютювича и приказали ему:

— Разводите пары в остальных котлах.

Но через две минуты флаг-капитан Клапье-де-Колонг это распоряжение отменил.

Командир Баранов вызвал кочегарного старшину Воробьева и начал допрашивать его:

— Через сколько времени можно будет развести пары в остальных двух котлах?

— Минут через сорок, ваше высокоблагородие.

— Почему так долго? Ведь вода в них горячая?

— Никак нет. Успела остыть.

Командир придумал новый вопрос:

— А сколько у нас угля?

— Угля у нас еще много, ваше высокоблагородие. Хватит нам вполне.

— А ты сходи в угольные ямы и узнай. Да хорошенько сообрази. Потом доложишь мне. Слышишь?

— Есть, — ответил Воробьев и, озадаченный таким распоряжением командира, отправился в угольные ямы. На палубе, перед тем, как спуститься в люк, увидел машиниста Попова и, кивнув головою на мостик, забормотал:

— Они там навдсят гень на ясный день. Говорили бы прямо — не хотим, мол, больше сражаться. А мне эта война и подавно ненужна.

— Я уже давно заметил, как они поджимают хвосты, — промолвил Попов. — Но это будет номер если мы без боя сдадимся. А жнет вся Россия, когда узнает обо всем.

Тем временем, по распоряжению начальства, сигнальщики приготовили белый парламентарский флаг (скатерть) и флаг красного креста, приосторив их к фалам.

На мостике между командиром и штабными чинами шел разговор, торопливый, с оттенком растерянности.

— Наш «Бедовый» только госпитальное судно, — говорил Баранов, оглядывая всех с таким выражением на бордатом лице, как бы прося у них еще раз подтверждения этой нелепой мысли.

— Да, да, совершенно верно, — вторил ему полковник Филипповский, сутулясь и кивая головой, обмотанной бинтом. Он был спокойнее других, но почему-то часто срывал с толстого носа пенсне, наскоро протирал платочком стекла и опять приставлял их к темно-карим, немного на выкате глазам.

— Конечно на нем столько раненых, — соглашался флаг-капитан Клапье-де-Колонг, недовольно хмуря черные густые брови.

— А главное, — сам командующий эскадрой вышел из строя, — заявлял флагманский минер, лейтенант Леонтьев.

В их суждениях была явная ложь, но

они продолжали приводить всякие доказательства в пользу выдвинутого положения, словно хотели убедить и друг друга и самих себя в своей правоте. И никто на это не возразил, что согласно международного права госпитальное судно в противоположность боевым кораблям должно иметь особую окраску и другие отличительные знаки. Об этом заранее сообщают противнику. А в данном случае боевой миноносец считали за госпитальное судно только на основании того, что на нем находилось несколько человек раненых. С такой логикой можно было бы любой крейсер, любой броненосец поставить под защиту красного креста. На каких судах наших не было раненых?

А между тем неприятель не ждал. Пока у нас канителились, он, имея ход почти в два раза быстрее, чем «Бедовый», все приближался. Теперь уже вооруженным глазом можно было видеть, что гонятся японские миноносцы.

На мостик еще раз был вызван инженер-механик Ильютювич.

— Владимир Владимирович, во сколько времени будут готовы пары? — спросил командир.

— Через полчаса, — ответил Ильютювич.

Флаг-капитан Клапье-де-Колонг сказал:

— Разводите же скорее пары.

Ильютювич пошел было, но его снова окликнули:

— Нет, стойте.

Инженер-механик стал боком к начальству и, повернув к нему лишь голову, вдруг сбылчился. Бронзовое лицо его, черноглазое, с ястребиным носом, шевеля свисающими усами, вздулось и помрачнело. Он уставился на Клапье-де-Колонга угрожающим взглядом и, выдержав небольшую паузу, громко крикнул:

— Как, не надо?

— Хорошо, разводите, — чуть слышно пролепетал флаг-капитан.

На юте безучастно стояли флаг-офицер лейтенант Кржижановский, врач Тржемеский и волонтер Максимов. Потом из кают-компани вылез наверх капитан 2 ранга Семенов¹⁾ и, хромая

¹⁾ Автор книги «Расплата».

на правую ногу, заковывал по направлению к мостику. Этот маленький и круглый человек или, как его прозвали моряки, «ходячий пузырь», был самый ловкий и хитрый офицер во флоте. Из всякого пакостного дела он мог выйти сухим, как гусь из воды. Кают-компания на миноносце была так мала, а говорили в ней офицеры так много о подготавливаемой сдаче судна, что нельзя было их не услышать. Все это было ему известно. Но тогда он молчал. И разве не ему принадлежала идея, возникшая еще на «Буйном», превратить боевой корабль в госпитальное судно? А теперь, когда замыслы его коллег по штабу и самого адмирала осуществлялись на практике и когда у обеих мачт уже стояли сигнальщики с приготовленными флагами, он обращался к каждому встречному человеку и возмущенно кричал:

— Что такое? Почему не даем полного хода?

То же самое Семенов повторял, приблизившись к мостику. Таким образом его невиновность в сдаче в плен была обеспечена. Назад, к корме, он пополз на четвереньках, как бы совсем изнемогая, и скрылся в кают-компании¹⁾.

«Грозный» догнал «Бедового» и, зайдя на его правый траверз, спросил по семафору:

— Что будем делать?

— Сколько можете дать ходу? — в свою очередь спросил «Бедовый».

— Двадцать три узла.

— Идите во Владивосток.

— Почему уходить, а не принять бой?

На последний вопрос «Грозный» не дождался ответа.

Японские миноносцы приблизились на расстояние выстрела. «Грозный», пробив боевую тревогу, начал развивать полный ход. На «Бедовом» комендоры, не дожидаясь распоряжения начальства, сами разошлись по орудиям. Но сейчас же залилась дудка, а вслед за ней раздался голос боцмана Чудакова:

— Чехлы с орудий не снимать!

С мостика спустились на палубу штаб-

ные чины. Лейтенант Леонтьев, бегая от одной пушки к другой, начал кричать на комендоров:

— Не смей этого делать! Ни одного выстрела! Разве вы не понимаете, что мы спасаем жизнь адмирала?

— Как же это так, ваше благородие? Японцы потопят нас, как щенят.

— Не имеют права, — наш миноносец госпитальное судно.

Полковник Филипповский уговаривал матросов более ласково:

— Братцы, мы спасем адмирала, а он для России стоит дороже, чем миноносец.

Клапье-де-Колонг добавил:

— Миноносец — пустяк: можно новые построить, а вот адмирала такого не построить.

В это время хотели было поднять флаги, но флаг-капитан, спохватившись, послал лейтенанта Леонтьева доложить адмиралу. Сопровождаемый мичманом Цвет-Колядинским, Леонтьев побежал вниз и, скоро вернувшись, сообщил:

— Адмирал согласился.

Моментально взвились: на фок-мачте белый флаг (скатерть), на грот-мачте — флаг красного креста. Затем подняли сигнал: «Имею раненых».

«Грозный» уходил под полными парами. За ним погнался двухтрубный миноносец «Когеро». Между ними завязалась перестрелка. Другой японский миноносец «Сазанами», четырехтрубный, открыл огонь по «Бедовому». Это произошло в 3 часа 25 минут, по левой стороне острова Дажелета, в пяти-шести милях от него. Неприятельские снаряды падали возле миноносца, делая недолет или перелет. На мостике «Бедового» все всполошились. Мичман О'Бриен-де-Ласси побежал в кочегарку сжечь сигнальные книги, карты и секретные документы. Баранов приказал застопорить машину, поднять шары до места, а потом скомандовал:

— Кормовой флаг спустить!

Лейтенант Леонтьев и сигнальщик Тончук бросились на ют, и андреевский флаг, висевший на флагштоке, моментально исчез.

Баранов спрятался за котельные кожухи и, присев на корточки, закричал:

— Проклятие! Зачем они стреляют, косоглазые варвары?! Разве не видят наших флагов?

¹⁾ В своем показании перед следственной комиссией Семенов признается: «Я пополз обратно и, добравшись до дивана, лег на него в полном изнеможении».

Потом бросился к сигнальному флагу и начал давать сиренные гудки, как бы прося этим пощады у противника.

«Грозный», отбиваясь от «Когеро», уходил все дальше и дальше.

«Сазанами» наконец замолчал. Он приближался к «Бедовому» очень осторожно, а потом начал огибать его с криками:

— Банзай! Банзай!

Инженер-механик Ильютович, приказав в машине приготовить ручники у клинкетов холодильника, явился к флаг-капитану и сказал:

— Разрешите утопить миноносец. Через десять минут он будет на дне.

Клапье-де-Колонг ухватился за голову.

— Что вы говорите! Разве вы хотите утопить адмирала? Доктор сказал, что его нельзя трогать.

Спустя некоторое время, к «Бедовому» пристала японская шлюпка. В этот момент почти весь экипаж миноносца находился на верхней палубе. Командир Баранов, разгладив атласную бороду, стоял у трапа впереди всех, вытянувшись словно на смотру. Японский офицер, как потом узнали, командир миноносца «Сазанами», капитан-лейтенант Айба, поднявшись на палубу, вдруг схватил тесак из ножен. Первое впечатление было, что он, оголтевший от счастья, сейчас начнет рубить головы пленникам, поэтому многие вздрогнули, другие в ужасе раскрыли глаза. Но он пробежал мимо людей, направляясь к радиорубке, и прежде всего перерезал провода. А тем временем японские матросы кинулись на корму и подняли на флагштоке флаг восходящего солнца. После этого капитан-лейтенант Айба приказал всем собраться во фронт и объявил на английском языке:

— Я здесь командир!

Штабные офицеры начали ему объяснять, почему сдался «Бедовый». Здесь же находился и капитан 2 ранга Семенов. Ему почему-то сразу стало легче — он стоял прямо, приободрившись, и даже пытался разговаривать с противником на японском языке. Капитан-лейтенант Айба слушал и много раз переспрашивал наших офицеров. Каково же было его удивление, когда он узнал, что вместе с судовыми офицерами по-

пался к нему в плен сам командующий эскадрой, вице-адмирал, генерал-лейтенант Рождественский со своим штабом. Маленький и юркий, похожий на подростка, японский офицер осклабил редкие зубы и, радуясь, втянул в себя воздух с таким шумом, словно схлебнул с блюда горячий чай. На его желтом, аккуратно выбритом лице с черными раскосыми глазами появилось такое выражение, как будто ему представилось небывалое чудо. Он закивал головою и, задыхаясь, сказал:

— Я возьму адмирала с собою на миноносец «Сазанами».

Штабные офицеры начали уговаривать его:

— Мы просим вас оставить адмирала на «Бедовом». Он тяжело ранен. Он умрет, если вы его возьмете.

Согласились на том, что вместо адмирала на «Сазанами» переправятся четыре судовых офицера в качестве заложников.

— А где лежит ваш адмирал? — осведомился японский офицер.

— Он в командирской каюте. Но врач говорит, что его нельзя беспокоить.

— О, нет нет, я не буду беспокоить адмирала. Я только взгляну на него.

Японский офицер быстро посеменил к кормовому люку и спустился по трапу вниз. С волнением открыл указанную дверь. Адмирал, лежа на койке, устало посмотрел на незнакомое лицо, не выразив ни удивления, ни беспокойства. Молча встретились их взгляды. Дверь тихо закрылась, и от каюты на цыпочках удалились шаги.

Через несколько минут Рождественский, узнав от флаг-капитана, что четырех судовых офицеров берут на японский миноносец в качестве заложников, приказал призвать их к нему. Когда они пришли в каюту, он сидел на койке, свесив ноги, в одной ночной рубашке, поникший, с мертвенно-бледным лицом и обгорелой бородой. Забинтованная голова его медленно поднялась и слабо закачалась, черные глаза налились слезами. Скривив рот, он обрывающимся голосом произнес:

— Бедные, бедные вы мои...

Жестокий, бессердечный, никогда не знавший жалости к другим, адмирал вдруг заплакал. Это было так же неве-

роятно, как было бы невероятно увидеть плачущим матерого волка среди маленьких собачек, на которых раньше он наводил только ужас. Офицеры смотрели на своего начальника молча. Прощаясь с ними, он каждого из них расцеловал.

Вскоре японская шлюпка направилась к «Сазанам», увозя своего офицера и четырех наших заложников.

IX

Японские суда продолжали гнаться за «Донским». Теперь выяснилось, что первый удар должен будет обрушиться на него со стороны левых двух крейсеров, — они сближались с ним быстрее, чем правые. Смертельная угроза, повисшая над преследуемым кораблем, все усиливалась. Только тьма могла бы дать ему возможность избежать страшных бедствий, но пока она наступит — будет уже поздно. Прошлую ночь люди с нетерпением ждали желанного рассвета, а теперь враждебно косились на солнце, которое скатывалось к горизонту так медленно, словно оно находилось в союзе с японцами.

Командир Лебедев послал минного офицера в минный погреб, чтобы он на всякий случай приготовил корабль к взрыву.

Две сотни ослябской команды с их офицерами погнались в жилую палубу. Они знали, что может произойти при гибели населенного корабля, они, случайно уцелевшие, пережили ужас и на «Буйном», когда под огнем неприятеля спасали с флагманского броненосца адмирала с его штабом. За что, за чьи преступления их подвергают еще раз жесточайшим пыткам? Бледные и посеревшие, еле передвигая одеревяневшие, как у ревматиков, ноги и часто оглядываясь без надежды в застывших глазах, они спускались по трапам вниз, в отведенное им помещение, как в мертвецкую.

Старший офицер Блохин обошел своей неуклюже-тяжелой походкой палубы, отдавая последние распоряжения о приготовлении корабля к бою, и вернулся на мостик. В это время два крейсера слева — «Отова» и «Ниптака» приблизились кабельтовых на сорок и открыли огонь по «Донскому». Это бы-

ло в половине седьмого, как раз в тот момент, когда закатывалось солнце. Там, на далекой родине, оно теперь светило с полуденной высоты, разливая горячий и трепетный блеск на весеннюю землю, принося людям радость. А здесь, в этих чужих водах, — о скорее бы догорели его последние лучи, обливающие крейсер багровым светом! Командир Лебедев, не обращая внимания на стрельбу противника, привалился к поручням мостика, согнулся над ними и о чем-то задумался.

— Иван Николаевич, разрешите пробить боевую тревогу, — сумрачно глядя в согнутую спину своего начальника, промолвил старший офицер.

Командир не пошевелился и молчал, как будто ничего не слышал.

Блохин удивленно пожал широкими плечами, поправил флотскую фуражку на голове и еще раз обратился к нему, заговорив более громко и уже официальным тоном:

— Господин капитан 1 ранга, разрешите пробить боевую тревогу.

Командир повернулся на зов и выпрямился. Лицо у него было бледное, заплаканное. Слезы, застрявшие на усах и бороде, загорелись от заката, как рубины. Он пожал руку своему помощнику и с болью сказал:

— Если со мною что-нибудь случится, позаботьтесь о моих двух маленьких девочках...

Больше он ничего не сказал. На несколько минут, захваченный воспоминаниями о далекой семье, этот храбрый человек перестал быть военным командиром. Это был просто страдающий отец, оторванный от любимых детей и обреченный, как и тысячи других жизней, на жертву преступно затеянной войны.

По распоряжению старшего офицера, загомосил горнист, загремел барабанищик, подгоняя людей к местам боевого расписания. На всех трех мачтах взвились стеньговые флаги. «Донской» загремел орудиями левого борта. До острова Дажелет оставалось приблизительно миль двадцать.

Японцы скоро пристрелялись и начали накрывать цель. Раздались взрывы на верхней палубе, появились разрушения в надстройках. То в одном месте,

то в другом вспыхивали пожары, но с ними успешно справлялись.

«Донской», по распоряжению командира, часто менял курс в ту или другую сторону. Благодаря такому маневру, японцы сбивались с пристрелки, действие их огня уменьшалось. Но через некоторое время подоспели еще те четыре корабля, которые находились справа, и, несмотря на большое расстояние, тоже открыли по нашему крейсеру стрельбу. Как после узнали, это был отряд адмирала Уриу, состоявший из крейсеров «Нанива», «Такачиха», «Акаси» и «Цусима». Таким образом «Донской» очутился под перекрестным огнем. Положение его сразу ухудшилось, разрушение корабля пошло быстрее, число убитых и раненых увеличилось. Постепенно одна за другой, выходя из строя, замолкали пушки.

Никакая храбрость не могла уже увеличить шансы на успех и спасти крейсер от гибели. Единственный был выход, да и то слабый — это скорее достигнуть острова. Облитый заревом заката, Дажелет, надвигаясь, вырастал и ширился, как будто морское дно снова начало выпирать его из своих недр. До него было более десяти миль, но казалось, что он возвышается над поверхностью воды рядом, очаровывая людей своим величественным спокойствием, обещая им жизнь, избавление от мук. Да, но что произойдет с экипажем, когда корабль со всего разбега ударится о прибрежные скалы? На чью долю выпадет счастливый жребий в тот страшный миг треска и ужаса? Что ни случилось бы, но командир Лебедев был тверд в своем прежнем решении. Вместе с другими офицерами и матросами он стоял в боевой рубке, высокий, тощий, с блуждающими огоньками в сухих глазах, весь охваченный какой-то зловещей торжественностью, как человек, который сделал важное открытие. Он придумал великолепный маневр: прежде всего нужно попасть в теньевую полосу, далеко протянувшуюся от острова к востоку; там ночь наступит быстрее, чем в другом месте, и если он успеет добраться туда, то сразу же лишит японцев меткости стрельбы. А потом его судно круто повернет влево, к гранитным скалам, чтобы у подножия их по-

кончить расчеты с жизнью и разбитой развалиной погрузиться в пучину.

В боевой распродак вносила большой кавардак ослабшая команда, которую трудно было держать в повиновении. Неудавшаяся еще оправиться от вчерашней катастрофы, она была совершенно деморализована и представляла собою полусумасшедшую толпу. Первый же снаряд, попавший в офицерскую каюту с левого борта, вызвал в жилой палубе панику. Люди ахнули, шарахнулись от места взрыва в носовую часть судна. Вместо того, чтобы начать тушить возникший пожар, они с дикими воплями бросились к выходным трапам. Ослабцев начали загонять обратно, пуская в ход кулаки и обливая водой из шлангов пожарных помп. Но несколько человек из них все-таки прорвались на верхнюю палубу. Сначала они заматались по ней, как одержимые, а потом один за другим выбросились за борт, в море, вскипающее от взрывов снарядов, — выбросились на явную смерть.

Капитан 2 ранга Коломейцев и на чужом судне не оставался без дела. Он сам напросился помогать трюмно-пожарному дивизиону. Загорелись шестидюймовые патроны. Костер полыхал ярким пламенем, разбрасывая по сторонам латунные осколки. Унтер-офицер, стоявший при этом с пипкой от шланга, свалился мертвым. Тогда Коломейцев схватил пипку и сам залил огонь. Вообще бывший командир «Буйного» работал до тех пор, пока сам не получил осколка в бок на вылет. Не отставали от него и его матросы, заменяя выбывающих из строя людей.

Старший офицер находился на палубе, когда к нему подлетел один матрос и, захлебываясь словами, доложил:

— Ваше высокоблагородие! Вас командир просит.

Блохин немедленно поднялся на мостик и, заглянув в исковерканную и полуразрушенную рубку, на мгновение остолбенел. Вся палуба в ней блестела свежей кровью. Лейтенант Дурново, привалившись к стенке, неподвижно сидел, согнутый, словно о чем-то задумался, но у него вместе с фуражкой был снесен череп и жутко розовел застывающий мозг. Рулевой квартирмейстер Поляков свернулся калачиком у накто-

уза, словно сильно прозяб. Лейтенант Гирс валялся с распоротым животом. Над этими мертвецами, стиснув от боли зубы, возвышался один лишь командир Лебедев, едва удерживаясь за ручки штурвала. У него оказалась сквозная рана в бедре с переломом кости. Кроме того, все тело было исковеркано мелкими осколками. Он стоял на одной ноге и пытался удержать крейсер на курсе, сам не подозревая того, что рулевой привод разбит и что судно неуклонно катится вправо. Увидев старшего офицера, он удивленно поднял реющие брови и промолвил посиневшими губами:

— Сдаю командование.

— Я сейчас распоряжусь, чтобы перенесли вас, Иван Николаевич, в перевязочный пункт.

— Не надо. Я здесь останусь. Старайтесь скорее попасть в тень от острова. Судно не сдавайте. Лучше разбейте его...

Старший офицер уложил Лебедева в рубку, вместе с мертвецами, на палубу, смоченную человеческой кровью, и, повернувшись, приказал ординарцу вызвать доктора, а потом, не теряя ни минуты времени, спустился вниз. Управление кораблем, как и накануне, опять пришлось перенести на задний мостик, пользуясь для этого ручным штурвалом. Прежде чем судно поставили на прежний курс, оно описало большую циркуляцию. Это дало возможность правым четырем крейсерам сразу приблизиться к нему.

Потухала заря. Японцы, усиливая огонь, торопились засветло покончить с «Донским». Теперь стреляли по нем с 25 кабельтовых. Он отстреливался на оба борта. Но неприятельские снаряды разламывали его, рвали железо, портили приборы, дырявили корпус, калечили и уничтожали людей.

Блохин, командуя судном, стоял, нахлобчив фуражку, на заднем мостике, тяжелый и застывший, как монумент. Серые и немигающие глаза его отвердели, пристально вглядываясь вперед, в теньную полосу острова. Казалось, он собрал всю силу воли в один тугой узел, чтобы выдержать эти последние минуты, решающие судьбу. Рулевой, что-то крикнув, показал ему направо. Он по-

вернул голову и увидел, как японский крейсер «Нанива», накренившись, вышел из строя. Вскоре возник пожар и на крейсере «Отова», что шел слева. Старший офицер промолвил, словно отвечая на свои мысли:

— Н-да... Это сверх ожидания...

Около него появился младший боцман с тревожным сообщением:

— Ваше высокоблагородие! Ослябская команда сбесилась совсем. Офицеры ихние тоже. Бунтуют все. Никак не справиться с ними. Могут бед натворить.

Блохин, не глядя на него, распорядился:

— Усилить стражу над люками! Ни одного человека не выпускать из жилой палубы! Передай мичману Сенявскому и прапорщику Августовскому, что я приказываю им заняться этим делом!

— Есть!

В жилую палубу давно уже был послан священник Добровольский. На его обязанности лежало успокаивать людей. Широкий, чернобородый, с серебряным крестом на выпуклой груди, он сам пугливо озирался, видя вокруг себя не воображаемый, а реальный ад, населенный сумасшедшими существами и кровавыми призраками, шумливый от выкриков, стонов и орудийного грохота. Священник что-то бормотал о «христоролюбивом воинстве», но его никто не слушал. Вокруг лазарета, превращенного в операционный пункт, где работал старший врач Герцог с фельдшерами, росла толпа раненых. Одни из них стояли, ожидая помощи, другие лежали, корчась от боли. Своим убийственным видом, рваным и кровавым мясом, своими поломанными костями и ожогами, своими стонами и жалобами они только усиливали панику ослабцев. А тут еще разорвались от неприятельского огня снаряды в беседке, только что поднятой из носового погреба наверх, и двенадцать человек свалились в жилую палубу изуверченными трупами.

Одно дело быть под обстрелом, имея в руках оружие или находясь при механизмах, способствующих твоей обороне. Тут можно на время забыться, увлечься и, возбуждаясь, даже ринуться на какой-нибудь подвиг. Совсем в другом положении находилась ослабская

команда, безоружная, насильно загнанная в закрытое, но небронированное помещение. Что этим людям оставалось делать? Только ждать, чтобы повторилось вчерашнее потрясающе-жуткое событие. Но это было бы сверх их сил, и они, обезумевшие, с мутой в глазах, куда-то все порывались. На корабле рвало железо, полыхал огонь. Внизу, на маленькой площадке, ограниченной бортами и непроницаемыми переборками, отделенной от суши просторами моря, ослепцы то ложились на палубу, то вскакивали, метались взад и вперед, кружились, как слепые, и несуразно размахивали руками, словно кому-то угрожая. Кто-то плакал, кто-то проклинал... Один сигнальщик с пеной на губах бился в эпилепсии. Некоторые спрятались по углам и, дрожа, молча ждали провала в бездну. Часть матросов, возглавляемая подполковником Осиповым и другими офицерами, напирала на трап, стремилась выскочить через фор-люк, выкрикивая на разные голоса:

— Почему нас держат здесь, как арестантов?

— Нас нарочно хотят утопить!

— Надо белый флаг поднять!

С диким лицом, трясая сивой бородой, больше всех волновался подполковник Осипов и, обращаясь к мичману Сенявскому и прапорщику Августовскому, кричал:

— Я топиться второй раз не хочу! Я сам — штаб-офицер! Меня никто не смеет здесь задерживать!..

Но Сенявский и Августовский, стоявшие на страже у люка, были неумолимы. Им помогали удерживать толпу донские матросы.

Разорвался большой снаряд в жилой палубе и совершенно уничтожил кондукторскую кают-компанию. Против нее, в правом борту, открылся зияющий пролом в две квадратных сажени. Этим взрывом человек шесть из ослябской команды было убито и около десяти — ранено. Священник Добровольский стал на колени и закрыл руками лицо, словно хотел спрятаться от смерти. Но он сейчас же был смят под ноги ошалелой толпой. Бурный поток человеческих тел, колыхаясь, словно кто встряхивал судно, животным ревом направился к фор-

люку. Стоявшая около него стража была смыта в одно мгновение. Паникой заразились и донские матросы, находившиеся в бомбовых погребах, и тоже полезли наверх. Те, кто успел вырваться из жилой палубы, очумело, с искаженными лицами, бежали по судну, не зная, где искать спасения. Некоторые забрались на ростры. Прапорщик запаса Мамонтов спрятался в шкапчике, в котором обыкновенно заготавливались снаряды для первых выстрелов 47-миллиметровой кормовой пушки. На крейсере, освещенном заревом заката, все смешалось и закружилось воющей вьюгой.

Это был редкий случай, когда обе стороны казались правы: бунтующие и усмиряющие. Ослепцы не могли больше выдерживать нарастающего ужаса: напряжение человеческих нервов имеет свой предел. Но и командующий состав не мог допустить бунта во время сражения, да еще на корабле, который и без того изнемогал в неравном бою. Блохин, сойдя с мостика, немедленно мобилизовал офицеров, кондукторов и унтеров. Среди происходившего вокруг безумия он начал распоряжаться с тем страшным спокойствием, каким владеют смелые укротители зверей. И началось усмирение толпы под грохот своих пушек, под взрывы снарядов, в дыму и пламени разгорающихся пожаров. Били по лицу чем попало не только ослябских матросов, но и офицеров их. В них опять направили из шлангов сильные струи воды, в них стреляли из револьверов. Все это походило скорее на бред, на кошмарный сон, чем на действительность. К счастью для Блохина, из жилой палубы успела вырваться только часть людей, а остальные застряли в люках, забив их своими телами. Так или иначе, но порядок на крейсере был наведен¹⁾.

«Донской», весь избитый, с просачивающейся в трюмы водою, с креном в пять градусов, продолжал свой тяжкий путь. На нем мало осталось пушек, но

¹⁾ В своем секретном донесении в той же книге, на странице 431 старший офицер Блохин по поводу бунта скромно говорит: «Я должен был спуститься с мостика и, не брезгуя никакими средствами, заставил людей вернуться в погреба».

он упорно отбивался от японцев. Передняя труба на нем была вся издырявлена осколками, а задняя оказалась развороченной снизу доверху. Тяга упала, ход уменьшился, но крейсер, словно обеспокоенный своею собственной судьбой, продолжал двигаться вперед, унося на себе трупы, кровь и боль, отчаяние и надежды всех, кто топтал его палубы. Избавление было в том, что японцы не поняли его маневра и во время не перехватили ему дорогу, — он вошел в теньевую полосу. Сразу стало темно. Артиллерийский бой прекратился. С успехом отбились от минных атак, при чем сбили на одном истребителе дымовую трубу, и наступила молчаливая ночь.

«Донскому», которому удалось скрыться от врага, теперь не было надобности разбиваться о гранитные скалы. Он бросил якорь недалеко от Да-желета, с восточной стороны его. Немедленно спустили случайно уцелевшие шлюпки — баркас № 2 и шестерку — и приступили к высадке экипажа на берег. Прежде всего постарались избавиться от ослабевших, продолжавших вносить на судне смятение. С ними вместе отправили командира Лебедева¹⁾. Потом начали перевозить раненых, которых было более ста человек. Пользуясь носилками, койками и матрацами, их переносили на шлюпки в полной темноте. Они стонали и охали. К их боли присоединяла свою боль, никому ненужную, раненая свинья, давая о себе знать надрывным визгом откуда-то с палубы, окутанной мраком. Человек тридцать, воспользовавшись разбитым погребом, перепились. Они вели себя шумно и, никого не стесняясь, проклинали войну. Некоторых из них связали, другие, которым море теперь было нипочем, бросились за борт и, горланя, вплавь добирались до берега.

К рассвету на крейсере остались только убитые. Снова появились японские суда. Но «Дмитрий Донской», отведенный за полторы мили в море, покоился на глубоком дне, с открытыми кингстонами. Японцам достались в плен только люди.

¹⁾ Командир Лебедев умер в госпитале в Са-себо.

Автор.

Х

«Грозный», нанеся повреждения неприятельскому миноносцу, отбил от него и продолжал в одиночестве удирать на север. Самому ему тоже пришлось пострадать. Один снаряд попал в ватер-линию, сделал пробоину во второе командное помещение, разбил паровую трубу и убил строевого квартирмейстера Федорова. Пробоину немедленно заделали. Другим снарядом снесло прожектор. Два человека при этом заплатились жизнями: мичман Дофельт и подшкипер Рядов. Командир Андржеевский оказался раненым в обе руки, ноги и голову.

Ночью «Грозный» шел с закрытыми огнями. Больше никто уже не преследовал его. На второй день, 16 мая, далеко за полдень вышел весь уголь. Начали бросать в топки все деревянные вещи, разные поделки, паруса, собранную в ямах угольную пыль и лили смазочное масло, — жгли все, что только могло гореть. Таким образом, хоть с трудом, но к вечеру добрались до острова Аскольда и, сделав по беспроволочному телеграфу позывные в свой порт, бросили якорь. Утром 17 мая, когда из Владивостока доставили на миноносец уголь, он перешел в Золотой Рог.

Кроме «Грозного» во Владивосток прибыли еще два судна: миноносец «Бравый» и легкий разведочный крейсер, превращенный в таковой из бывшей яхты наместника Алексеева, с слабым боевым вооружением, но с шикарными офицерскими помещениями, с просторным винным погребом — «Алмаз». Вот все, что могло прорваться через мертвый охват японского флота. Из многочисленной эскадры в тридцать восемь вымпелов достигли конечной цели только три ничтожных корабля.

Все шансы на это имел и «Бедовый», но ни адмирал, ни чины его штаба почему-то не захотели попасть в отечественные воды. С того места, где он сдался, «Сазанами» взял его на буксир и повел в Японию, как водят на аркане животное. Так двигались весь вечер, держа направление в экзотическую страну. Наступила темная ночь.

Волнения на «Бедовом» улеглись. Людям нечего стало делать, все заботы

сразу отпали, — ведь они теперь были только пленниками. Матросы собирались в жилой палубе и мирно обсуждали недавнее событие. Больше всего интересовал всех вопрос:

— Почему это начальству так хотелось сдать в плен?

Толковали по-разному, пока не высказал свои соображения машинист самостоятельного управления Попов. Это был высокий парень, худой, с матовой бледностью на вытянутом лице, со спокойной осенней грустью в золотисто-карих глазах. Начитанный и по природе умный, всегда трезвый, он пользовался среди команды большим авторитетом. Все замолчали, когда услышали его глуховатый голос:

— Неужели, братишки, вы не догадываетесь, какая тут махинация произошла? Допустим, что «Бедовый» наш пришел бы во Владивосток. А дальше что? Собралось бы на наш миноносец все высшее начальство: и капитаны всех рангов, и адмиралы, и генералы. Какво смотреть им в глаза! И каждый из них начал бы обращаться к Рождественскому: «Ваше превосходительство, а где ваша эскадра»? А он и сам не знает где, потому что бросил ее и убежал с поля сражения. Пошло бы тут шушукание — вот он, скажут, каков национальный герой! Но главное еще не это. Какую телеграмму он должен был бы составить царю? «Ваше императорское величество, я со своим штабом благополучно прибыл на миноносце «Бедовый» во Владивосток, а где находятся остальные вверенные мне суда — пока о них ничего мне неизвестно». Рождественский — человек гордый и считал себя умнее всех на свете. Но японский адмирал Того взял да и размагнитил его. Удавиться можно от стыда. Вот он и решил: ко многим своим преступлениям прибавить еще одно — сдать в плен.

— Правильно речь подпущена, — крикнул кочегар Воробьев.

С предположениями машиниста согласились и другие матросы.

Попов добавил:

— И вот теперь нашего адмирала, чинов его штаба, судовых офицеров и нас грешных японцы везут в свое отечество, как поросят в клетке.

Кто-то со злобой сплюнул, кто-то сильно выругался.

Из судового командного состава остался на «Бедовом» только командир, дав честное слово японскому офицеру, что он не причинит миноносцу никакого вреда. Собрались все офицеры в кают-компани. У них шли свои разговоры:

— Слава богу, кончились наши мучения.

— Посмотрим, что представляет собою Япония.

Флаг-капитан впал в уныние:

— Так-то оно так, но что будет, когда вернемся в Россию.

— Мичман Демчинский тоже вздохнул:

— Да, предтоят нам большие неприятности.

Лейтенант Леонтьев, кокетничая красивыми зубами, возразил:

— Чепуха! Мы спасали жизнь командующего эскадрой. А потом — подумаешь, какое значение имеет для России потеря одного миноносца, когда вся наша эскадра разгромлена.

Его поддержал полковник Филипповский:

— Будучи на «Суворове», мы честно сражались. Мы делали все, что от нас зависело. А если нас обвинят, то вместе с нами должны будут сесть на скамью подсудимых и те, которые сейчас находятся в Петербурге под золотым шпицем Адмиралтейства. Зачем они послали такой сброд на войну?

Бодрее всех держался командир Баранов, горячо доказывая другим:

— Собственно говоря, миноносца я не сдавал. С того момента, как только на нем был поднят флаг Красного креста, он стал госпитальным судном. Но японцы поступили с ним неправильно — взяли и секвестровали его. О, если бы я не был связан присутствием раненого адмирала, я бы показал противнику, как со мною сталкиваться! Одного японского миноносца я потопил бы минами, а другого — артиллерией.

В кают-компанию вбежал матрос и, обращаясь к командиру, крикнул:

— Ваше высокоблагородие, буксир оборвался.

Командир, вытягивая шею, переспросил:

— А может быть, кто из матросов перерубил его?

— Никак нет, сам оборвался. И японский миноносец куда-то ушел. Совсем даже не видать его.

Люди, сидевшие за столом в кают-компании, застыли на месте, словно услышали не то, что сообщил им матрос, а нечто более страшное — трюмы, скажем, наполнились водой или вспыхнул пожар в бомбовых погребах. Но через минуту офицеры уже быстро выскакивали из-за стола и бросались к трапу, бежали по верхней палубе к мостику. Все были охвачены отчаянием: пленители ушли от пленников! Каждый предлагал свой совет:

— Надо прожекторы открыть!

— Нет, лучше ракеты пустить!

— Давайте скорее сиренные гудки!

Но переполох оказался лишним — в темноте увидели силуэт «Сазанами». Он приближался к «Бедовому», чтобы снова взять его на буксир. Офицеры могли опять спуститься в кают-компанию и спокойно разговаривать.

Этой ночью вследствие зыби буксир лопался еще несколько раз. Поэтому японцы сняли с «Бедового» часть команды и, переправив ее на свой миноносец, заменили ее своими матросами. Заложники были возвращены обратно. После этого русскому миноносцу предоставили итти собственными силами, приказав держаться в кильватер победителя.

Днем 16 мая встретились с японским крейсером «Акаси». Он взял «Бедового» на буксир и, сопровождаемый «Сазанами», пошел дальше.

Адмирал Рожественский продолжал лежать на койке в командирской каюте. Лицо его осунулось, потемнело, глаза ввалились, как у мертвеца. Целыми часами он ни с кем не разговаривал, пребывая в сурово-молчаливом одиночестве, словно погруженный в свои черные, как морская пучина, думы. Но иногда, дернувшись, он вдруг вскакивал и, свесив ноги с койки, начинал скрежетать зубами. В такие моменты вестовой Балахонцев, ухаживающий за ним вместе с доктором, пугался его. Растрепанный, оскаленный, с повязкой на голове, с остановившимся, как у безумца, взором, весь напряженный, слов-

но намеревался сделать прыжок, он действительно был страшен. Какие мысли возникали в его потрясенном мозгу? Быть может, ему представлялись страшные утопленники? Тысячи погибло их по его вине около острова Цусимы. А может быть, в памяти еще сохранилось то особое совещание, которое состоялось в Петергофском дворце 10 августа 1904 года под личным председательством самого царя. Да, именно тогда был сделан им величайший и непоправимый промах. Рожественский слишком верил в себя, признавая свой ум гениальным, но не дооценил способности своего противника. В совещании принимали участие высшие чины: два великих князя — Алексей Александрович и Александр Михайлович, управляющий морским министерством генерал-адъютант Авелан, военный министр генерал-адъютант Сахаров, министр иностранных дел граф Ламсдорф и командующий 2-й эскадрой, тогда еще контр-адмирал Рожественский. В числе других вопросов был поставлен вопрос: своевременно ли посылать 2-ю эскадру на Дальний Восток? Командующий высказался за немедленную отправку эскадры на войну. Но он встретил со стороны некоторых членов совещания веские возражения. Они доказывали, что после того, как первая эскадра 28 июля сделала неудачную попытку прорваться из Порт-Артура сквозь японскую блокаду, обстановка там сильно изменилась. Препятствием для Рожественского будет туда, крепость наша неминуемо должна пасть, а вместе с нею погибнут и все наши имеющиеся там корабли. Значит 2-я эскадра должна будет рассчитывать только на свои силы. А в таком составе она была слишком слаба, чтобы разбить противника и овладеть Японским морем. Да и где найдет командующий для нее базу? При таких условиях 2-я эскадра будет обречена на уничтожение. Целесообразнее было бы оставить ее на зиму в Балтийском море, заняться боевой ее подготовкой, усилить ее достраивающимися судами и, может быть, покупными и уже весной послать, как грозную силу, которая решит участь войны.

Но Рожественский, несмотря на такие возражения, упорно стоял на своем

— за немедленное отправление эскадры в дальневосточные воды. Он горячо и уверенно доказывал, что разобьет японцев. С ним согласился Авелан, а потом на его сторону склонился и царь. Русскому императору повидимому хотелось как можно скорее восторжествовать над микадой.

Несколько месяцев спустя, получились результаты особого совещания: над эскадрой совершилась египетская казнь, а тот, кому Россия вверила свою судьбу и на кого вся армия возлагала надежды, сам на миноносце «Бедовом» сдался в плен.

Как мог дойти до этого сам начальник эскадры, генерал адъютант, вице-адмирал Рожественский? Он был тщеславен, и это тщеславие, как вредный внутренний микроб, подготовило ему гибель, заставив его броситься в дальневосточную авантюру. Принадлежа уже к свите его величества, он хотел вознестись еще выше, мечтал увенчать себя лаврами победителя, а действительность свалила его в яму преступления, заклеяла именем позора. Что скажет теперь о нем царь, которого он так обесславил? Как начнут трепать его имя все газеты, которые заранее видели в нем национального героя? Какой ненавистью ответит ему вся страна и за бессмысленную гибель эскадры, и за напрасные жертвы тысячи людей?

Да, тут было о чем задуматься. Казалось бы, такому заносчивому и с таким болезненным самолюбием адмиралу ничего не оставалось другого, как разбить голову о железную переборку. Но он этого не сделал. Гордость и унижение уживались в нем вместе. Он валился на койку и, вздыхая, лежал на ней, мутный и притихший¹⁾.

¹⁾ Над Рожественским, когда он в 1906 году вернулся из плена в Россию, был суд. На суде он держал себя рыцарем, страстно защищал своих помощников, всю вину брал на себя и признавался:

«Прежде чем переименовать здесь все собранные против меня улики, я считаю долгом установить, что, очнувшись от обморока, в котором я был перегружен на «Буйный», я уже не впадал в беспамятство до сегодня. Свидетели, показывавшие, что я бредил, ошибались...»

И еще он сказал в заключительном слове: «Целым рядом свидетельских показаний неоспоримо установлено, что «Бедовый» сдан по-

Утром 17 мая прибыли в японский порт Сасебо.

Еще издали увидели там свои броненосцы: «Император Николай I», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин». На них развевались флаги восходящего солнца. Баранов, кивнув в их сторону головою, весело заявил:

— Стало-быть, не мы одни сдались.

В дальнейшем он был занят только своими чемоданами, набитыми казенным добром. Их было у него двенадцать штук, но этого количества ему не-

тому, что так приказал адмирал, который в ту пору несомненно был в полном сознании...»

Он был оправдан. Его не могли осудить: он слишком много знал о закулисной стороне нашего флота, знал, будучи начальником Главного морского штаба, о разных темных делах судостроения, в которых были замешаны и высочайшие особы. А ведь революция тогда не была еще подавлена окончательно. Кроме того, существовала Дума. Вот почему обвинительная речь прокурора, генерала Вогака, в отношении Рожественского превратилась в защитительную.

Клапье-де-Колонга, Филипповского, Леонтьева и Баранова приговорили к исключению из службы.

Остальные офицеры были оправданы.

Кстати, нужно еще упомянуть об исторической ошибке. Капитан 2-го ранга Семенов, вернувшись из плена, опубликовал в прогрессивной газете «Русь» свои записки «Расплата». Вскоре они вышли под тем же заглавием отдельной книгой. В этих записках он сетует на штабных чинов, говоря, что они все скрывали от него и что он находился на корабле почти как пассажир. Но тут Семенов, как обычно, схитрил, чтобы придать своей книге характер объективности. Конечно он знал обо всем больше, чем нужно, ибо адмирал считал его своим другом. В дальнейшем он обеляет и Рожественского, и штаб, и самого себя. Благодаря тому, что «Расплата» первоначально печаталась в «Руси», и все другие передовые газеты того времени отнесли к Рожественскому более или менее снисходительно, считая его чуть ли не своим человеком, тогда как консервативная пресса, наоборот, яро нападала на него. А на самом деле это был на редкость реакционный адмирал. Когда эскадра стояла у Мадагаскара, вот что он писал своей жене в письме от 20 февраля 1905 года, опубликованном впоследствии в журнале «Море» (1911 г. № 6, стр. 52):

«...А что за безобразия творятся у вас в Петербурге и в весях Европейской России. Миндальничанье во время войны до добра не доведет. Это именно пора, в которую следует держать все в кулаках и кулаки самые в полной готовности к действию, а у вас все головы потеряли и бобы разводят. Теперь именно надо войском все задушить и всем вольностям конец положить: запретить стачки самые благонамеренные и душить без милосердия главарей».

Автор.

хватило. Пришлось еще добавить четыре: два больших и два маленьких. Затем он захватил судовую кассу в шесть тысяч фунтов стерлингов. Из такой большой суммы он ничего не хотел дать не только матросам, но и офицерам. Клапье-де-Колонг, узнав об этом, вежливо сказал Баранову:

— Я предлагаю вам выдать офицерам по двадцать фунтов заимообразно. В России они вернут вам эти деньги.

Баранов вспылал и, хотя «Бедовый» находился под японским флагом, неожиданно отрезал:

— Здесь я командир! И никто не имеет права делать мне указаний. Я за все отвечаю.

Но потом почему-то раздумал и выдал каждому офицеру по двадцать фунтов.

Настроение у Баранова, подогретое жадностью наживы, было отличное. Синевой пламенели круглые глаза. Как всегда, также тщательно была расчесана атласная борода. Казалось — в ней нет ни одного лишнего волоса, как в хорошем художественном произведении не бывает лишних слов. Покидая свой миноносец, он похлопал ладонью по его трубе, словно вещей Олег своего коня, и ласково промолвил:

— Прощай, родной!

Японцы, когда-то наградив Баранова своим «орденом Восходящего Солнца 4-й степени», точно знали, что он оплатит им за это с благодарностью.

Вспомнил ли он в это время о своем сыне? Ведь тот, мичман Баранов, высокий, худощавый юноша, остался на погибающем корабле «Александр III» без надежды на спасение. При одной только мысли об этом должно было бы содрогнуться отцовское сердце.

Вернемся к 14 мая.

За «Суворовым» последующим мателотом был «Александр III». Флагманский корабль с самого начала боя подвергся таким повреждениям, что трудно было ему поправиться. Он вышел из строя. Эскадра, никем не управляемая, была предоставлена самой себе.

И вот тогда-то на смену «Суворову» явился броненосец «Александр III», с именем которого навсегда останутся

связанными наиболее жуткие воспоминания об ужасах Цусимы. Он стал во главе боевой колонны и повел ее дальше, после того как эскадра лишилась адмирала. На этот броненосец обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А он, приняв на себя всю тяжесть удара, тем самым в дневном артиллерийском бою спасал остальные наши суда ценою своей гибели. В безвыходной обстановке сражения он иногда даже проявлял инициативу, на какую только был способен, не раз прикрывал собою «Суворова» и пытался прорваться на север под хвостом неприятельской колонны. Однажды ему удалось воспользоваться туманом и временно вывести эскадру из-под огня. В продолжение нескольких часов он со сверхъестественным мужеством вел бой против подавляющих сил врага.

К вечеру это была уже не война, а бойня.

Броненосец «Александр III», как и другие корабли, не выдержал наконец неприятельского натиска. В шесть часов, сильно накренившись, он вышел из строя. Вид у него в это время был ужасный. С массой пробоин в бортах, с разрушенными верхними надстройками, он весь окутался черным дымом. Из проломов, из кучи разбитых частей вырывались фонтаны огня. Казалось, что огонь доберется до бомбовых погребов и кроют-камер и броненосец сейчас взлетит на воздух. Но он через некоторое время оправился и, слабо отстреливаясь, снова вступил в боевую колонну. То была последняя попытка оказать врагу сопротивление, предсмертный порыв не отстать от своих.

Что происходило во время боя на его мостиках, в боевой рубке, в башнях и в палубах? Кто же именно был тем фактическим командующим, который так талантливо маневрировал в железных тисках мертвой японской хватки? Был ли это командир корабля, капитан 1 ранга Бухвостов, его старший офицер Племянников или под конец последний уцелевший в строю младший из мичманов? А может быть, когда никого из офицеров не осталось, то корабль, а за ним и всю эскадру вел старший боцман или простой рулевой? Это навеки останется непроницаемой тайной для по-

следующих поколений моряков. Но поведение этого гордого корабля в самом ужасном морском бою, какой только знает история, у многих будет вызывать удивление.

Броненосец, вступив снова в строй, переместился уже в середину колонны, а свое почетное головное место уступил своему однотипному собрату — «Бородино». Здесь, на новом месте, «Александр III» продержался еще каких-нибудь двадцать-тридцать минут. Достаточно было ему подвергнуться еще нескольким ударам крупнокалиберных снарядов, чтобы окончательно лишиться жизненной энергии. На этот раз он выкатился влево. Очевидно у него испортился рулевой привод, руль остался положенным на борт. Вода, разливаясь внутри броненосца, хлынула в сторону крена, и сразу все было кончено.

С крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Владимир Мономах», следовавших за броненосцем, видели, как он повалился на бок, словно подрубленный дуб. Многие из его экипажа посыпались в море,

другие, по мере того как переворачивалось судно, ползли по его днищу к килю. Потом он сразу перевернулся и около двух минут продолжал плавать в таком положении. На его огромном днище, поросшем водорослями, словно зеленой бородой, прилипли люди. Полагая, что он еще долго будет так держаться на поверхности моря, на него полезли и те, которые уже барахтались в волнах. Издали казалось, что это плывет морское чудовище, распутив пряди водорослей и показывая рыжий хребет киля. Ползающие на нем люди были похожи на крабов.

Оставшиеся корабли, сражаясь с противником, шли дальше. Свободно гулял ветер, уносясь в новые края. Там, где был «Александр III», катились крупные волны, качая на своих хребтах всплывшие обломки дерева, немые признаки страшной драмы. И никто и никогда больше не расскажет, какие муки пережили люди на этом броненосце: из девятисот человек его экипажа не осталось в живых ни одного.

Автобус

Э. БАГРИЦКИЙ

В тучу, в мокрые потемки
Губы выкатил рожок,
С губ свисает на тесемке
Звука сдавленный кружок.
Оборвется, пропыленный,
И покатится, дрожа,
На Поклонную, с Поклонной,
Выше... выше... на Можайск.
Выше... Круглый и неловкий,
Он стремится наугад,
У случайной остановки
Покачнется — и назад.
Через лужи, через озимь,
Прорезиненный, живой,
Обрастающий навозом,
Бабочками и травой,
Он летит, грозы предтеча,
В деревенском блеске бус,
Он кусты и звезды мечет
В одичалый автобус...
Он хрипит неудержимо
(Захлебнулся сгоряча),
Он обдаст гремучим дымом
Вороненого грача...
Молния ударит мимо

Переплетом калача.
Матершинничает все,
Ввинчивается в пыль кусты...
...Я за приступ голосу:!
Я за взятие! А ты?
И выносит нас кривая,
Раскачнувшись широко...
Над шофером шаровая
Молния, как яблоко,
Все открыто и промыто,
Камни в звездах и росе,
Извиваясь, в тучу влито
Дыбом вставшее шоссе.
Над последним косогором
Никого... Лишь он один,
Тот аквариум, в котором
Люди, воздух и бензин.
И вызывал, как оратор,
В сорок лошадиных сил,
Входит равным радиатор
В сочетание светил.
За стеклом: орбиты, хорды.
И, пригнувшись, сед и сер,
Кривобокий, косомордый,
Давит молнию шофер.



Величие и падение Андрея Полозова

Повесть без диалогов

Як. РЫКАЧЕВ

1. У врат

Андрею Полозову двадцать четыре года. Он всего лишь на одиннадцатый лет старше революции. Но он презирает ее за молодость, за бедность, за бескорыстие, за узость ее взглядов, за прямолинейность. Правда, он не теряет надежды на ее исправление. Но пока-что он уважает ее только за непоколебимую твердость характера. Нет, даже не уважает, — он боится ее. Но — волков бояться, в лес не ходить. В глубине глубин своих Андрей Полозов расценивает революцию как отличную житейскую школу для молодого человека его лет, способностей и стремлений, как превосходную тренировку для ума и воли, которым во всю ширь суждено развернуться лишь в «иных объективных условиях». В сокровенных своих мечтах Андрей Полозов видит себя будущим литературным Наполеоном будущей Реставрации. Но все это — именно в глубине глубин: Андрей Полозов достаточно проникателен и практичен, чтобы понимать, каким ненадежным оружием явилось бы сознательное лицемерие и двоедушие в бесконечно сложной революционной обстановке. Он вполне удовлетворяется тем, что везде и всегда совершенно явственно — как спящая мать своего ребенка — ощущает около себя эту свою вторую и единственно достоверную личность. Андрей Полозов отнюдь не живет мечтами о гибели революции. Напротив, он желает ей долголетия и процветания, он готов

жить и процветать вместе с нею. Он согласен даже принять на свои молодые плечи часть несомой ею тяжелой ноши, разделить ее горести и тревоги. Он готов наконец в скорбной позе неутешного родственника, которого не вознаграждает в понесенной утрате даже оставленное ему богатое наследство, проводить ее до самой могилы. Он не согласен только умереть вместе с нею или за нее. Но и эту последнюю мысль он редко допускает до своего сознания: кто знает, как отразилась бы она на его поведении? Вдруг да и проскользнула бы в каком-нибудь слове или жесте!

С каким багажом вступает Андрей Полозов в столицу революции — в Москву? В чем полагает он главную свою силу, которая должна привести его к цели? Прежде всего Андрей Полозов — великий знаток людей. Почти с первого взгляда определяет он ту относительную житейскую ценность, какую может представить для него тот или иной человек. Разумеется, он может проникать и глубже, если в этом встретится надобность. Но тут уж его ум отходит на задний план, и в игру вступает его безошибочный и изощреннейший инстинкт самосохранения. Вообще же он не мастер — да и не любитель — праздно копаться в психологических тонкостях. Он почитает это эстетством и относится к этому занятию с некоторым презрением. Другим решающим козырем Андрея Полозова в борьбе за существование является его изумительная начиненность идеями.

Он может говорить и писать на любую тему и по любому поводу. При этом он обладает редкой для холодного и даже цинического в своей основе ума способностью зажигаться теми совершенно случайными идеями, которые в изобилии рождает его неглубокий, гибкий и, несмотря на молодость, весьма искушенный ум. В своем родном городе он считался едва ли не самым образованным человеком. Он писал статьи о Музее революции, о причинах ухода Толстого из Ясной Поляны, о детях-наркоманах, о переписке Герцена с Прудоном, о переливании крови, о русском сенсимонизме, о стратегическом ходе красных под Уфой, о позднем Бакунине и о раннем Марксе. Он уже в двадцать лет перерос уровень своего родного города, он был в нем какой-то великолепной ненужностью, каким-то роскошным экзотическим цветком, неведомым путем возросшим рядом с белой и розовой кашкой, с лютиками и колокольчиками. Это было неестественно и страшно. Местная газета, известия губисполкома, и два тощих местных журнала изо дня в день до пресыщения и отвращения об'едались утонченными культурными яствами, сдобренными никому неведомыми именами датского философа Киркегаарда, английского экономиста Веджвуда и португальского писателя Кэйроша. Молодой журналист Андрей Полозов представлялся всем таким же чудом и вызывал столь же сложное чувство, как, скажем, двухголовый теленок или виртуоз-математик Араго. Всем было ясно: этому человеку не место в провинции, в далекой от центра захолустной губернии! Большому кораблю — большое и плавание! Москва приставит его к настоящему и нужному делу! Горячее всех ратовали за его отъезд редакторы местной прессы. Он был для них подлинно стихийным бедствием. Не печатать его было нельзя, ибо при всей его эрудиции, остроте ума, яркости образов, странности тем, неожиданности сопоставлений он ни на йоту не погрешал против «идеологической выдержанности». Не то, чтобы он умел хитро и забегать подводных камней редакторской цензуры. Это было бы для него слишком мелко и достойно разве какого-нибудь беспринципного карьериста.

Нет, он говорил непосредственно от имени революции, он ставил вопросы резко и определенно, касался тем опасных и двусмысленных и всегда блистательно сводил концы с концами. Так и казалось: после сложного, трудного и бурного интеллектуального борения он смиренно слагает к подножию революции всю свою энциклопедическую образованность и вместе с собою приводит к покорности целую толпу бедных, заблудших философов, писателей и ученых. Редакторам всегда казалось, что цель могла бы быть достигнута средствами более простыми и что читателю вовсе не к чему присутствовать при всех перипетиях борьбы вооруженного до зубов марксистским методом Полозова с безвестным датским мистиком Киркегаардом или буржуазным экономистом Веджвудом. Но разве можно отказать такому блестящему и высокообразованному журналисту, видному комсомольцу, личному другу виднейших партийцев города? Да и странно было бы отказать: много ли у нас образованных людей, особенно в провинции, готовых отдать все свои силы и знания неблагодарной и хлопотливой работе журналиста? И вот, редакторы были рады отъезду Андрея Полозова в Москву: они так и не смогли проглотить это изысканное блюдо, и оно до последнего момента стояло у них поперек горла.

Андрей Полозов отлично сознавал, что его литературная работа в родном городе грешила излишним провинциализмом. Но он давно решил про себя, что в таком захолустье отнюдь не вредно переигрывать. На провинциалов, будь они хоть семи революционных пядей во лбу, этот прием действует без осечки. Ведь к нему прибегают даже столичные артисты-гастролеры, считающие необходимым подчеркивать наиболее тонкие места своей игры чуть ли не путем подмигиванья зрителю. Андрей Полозов никогда не был провинциалом. Он принадлежал к той особой породе способных молодых людей, которые — живи они хоть в глубине якутских тундр — воспринимают жизнь и мир с интеллектуальной и эмоциональной высоты «последнего слова» современности, изгото-

вляемого в культурных столицах мира. Стои́т им только сделать шаг из якутской тундры в Париж, Лондон, Берлин, — а в данном случае в Москву, — как они на другой же день с завидной легкостью начинают болтать с умнейшими и тончайшими людьми о самых сложных вопросах культуры, искусства, науки и политики.

Андрей Полозов прибыл в Москву с письмом, которым любовно снабдил его родной город. Это письмо должно было помочь ему сделать первые шаги к тому, чтобы занять свое место под литературным солнцем революционной столицы.

Андрей Полозов сходит с широких ступеней Александровского вокзала на площадь. Он молод, здоров, умен, он одет опрятно и со вкусом, хотя и очень скромно, у него отличный рост, у него сильный лоб, спокойный, серьезный взгляд. Он готов строить социализм, этот молодой человек. Он готов своим пером, талантливым, острым и патетическим, защищать интересы мировой социальной революции. Он готов отдать все свои силы на развитие новой, невиданной культуры, возникшей на востоке Европы. Он ничего — или почти ничего — не требует взамен: немного славы, немного житейских благ. Ей богу же революции выгодна эта сделка с молодым человеком! Ступайте, молодой человек, в редакции революционных газет и журналов, пред'явите ваше письмо и давайте работать вместе. С вами работать будет легко и приятно: вы все понимаете с полуслова и с полужеста. При бесконечной гибкости и податливости ума, которые конечно же объясняются вашей молодостью и завидной широтой ваших взглядов, вы всегда сохраняете должную меру самостоятельности и достоинства. Вы в одинаковой степени способны и к расширению, и к ограничению своей личности. Да что там говорить: вы в полном смысле слова способный молодой человек!

Андрей Полозов стоит перед триумфальной аркой. Он закидывает голову и глядит на мощную ее дугу. Там, под самой дугой, чудится ему, обитают души прошлого, носятся беспокойные призраки истории, вышедшие в тираж и навеки заключенные в непроницаемую

оболочку отработанного времени. Он вынимает блокнот и записывает: «непроницаемая оболочка отработанного времени». Пригодится.

В это же самое время его вторая, достоверная личность переживает иное. Она стоит под высокими, гулками сводами арки, как на пороге широких отверстий в мир чудесных врат, ведущих к славе и к счастью. Сложное чувство, не поддающееся расщеплению, владеет ею. Это какое-то даже не русское, а французское, парижское чувство. В самом деле — что русского в этой арке? Она говорит честолюбивому молодому человеку о мелком биржевом посреднике Бонапарте, выскочившем в императоры Наполеоны. О юном Растиньяке, получившем в обмен на свои быстро утраченные провинциальные иллюзии славу, деньги и женщин. Какой соблазнительный путь для молодого человека, в котором кипит и бурлит неизбывная, неистребимая сила жизни! Какое выгодное помещение капитала, состоящего из ума, способностей, знаний, энергии и здоровья! Ах, молодой человек, и подумай только, что эти врата ведут на скучную советскую Тверскую улицу, в скучнейшую жизнь столичного советского города, где для человека, как бы ни был он честолюбив и предприимчив, только и есть одна корысть: работать, не покладая рук, на пользу общую.

Но что это? В пустынную, утреннюю привокзальную площадь, словно в гигантскую серую чашу, стал вдруг медленно вползать густой, как патока, черный людской поток. Это шли массы. Над ними, широко раскинув крылья, мятежно, буйно и радостно метались гигантские красные крылья знамен. Журавлиный клин аэропланов, методически выстукивая свой напряженный и трепетный рабочий ритм, плыл над площадью, уверенно рассекая синюю гладь осеннего неба. Андрей Полозов прибыл в Москву в первый день октябрьских празднеств. Мгновенно, с неуловимой быстротой мысли, две личности Андрея Полозова сплелись в одну. Достоверная личность дала пафос, еще не остывший от честолюбивых мечтаний, но мгновенно обезличившийся и ставший годным для любого применения.

Советская личность дала идею. Искра приспособления пробежала между ними. Возникло пламя, подобное вольтовой дуге. Андрей Полозов зарядился революционным пафосом. Романтическая арка превратилась в обыкновенные каменные ворота, покрытые скверной, раскрашенной лепкой и созревшие для слома. Чудесные образы императора Наполеона и удачливого карьериста Растиньяка упорхнули из-под нее к чортовой матери. Андрей Полозов как бы произнес про себя грубоватым, советским басом: «Октябрь изгнал старую символику из умов. Не пора ли вымести на свалку ее каменные воплощения?»

По Тверской нога в ногу с манифестирующими массами шел уже вполне советский молодой человек.

2. Первый ход

Сложны, извилисты и прихотливы пути литературы, загадочны для ума поверхностного ее лики и обличья. Подрубленное под корень в социальной жизни живет и цветет в литературе и жадными руками тянется к будущему. К какому будущему? Похоже — к социалистическому. Вон проступают сквозь литературные туманы очертания гигантских индустриальных сооружений, вон ползут по весенним полям миллионы железных пахарей — тракторов. Но разве не такой же пейзаж создал бы в зените своего развития и российский капитализм? Разве воплощенный в образах энтузиазм перед невиданным строительным размахом социалистической индустрии не есть порою лишь завуалированный восторг перед некой отвлеченной человеческой энергией, столь свойственный буржуазной литературе? Молодой российский капитализм погиб без времени, в расцвете своих сил и упований. Как знать, в чьих головах бродят его неосуществленные надежды и в каких обличьях являются они миру! Российское феодальное дворянство могло бы еще добрых полстолетия наслаждаться всеми благами жизни на остатки наследственных своих капиталов. Как знать, в чьих головах бродят его неосуществленные надежды и в каких обличьях являются они миру! Рос-

сийская мелкая буржуазия... Да разве перечислишь всех обиженных и угнетенных Октябрьской революцией! Да разве переберешь все маски, в которые рядятся обиженные и угнетенные! Да разве укажешь всех тех, кто в новом, живом обличье живет и цветет на полях литературы!

Вот входит в хоровод литературных масок еще одна: вчерашний провинциал, сын учителя гимназии, ныне школы второй ступени, молодой строитель социализма Андрей Полозов. Вот вручает он в видимом товарищу свое письмо, которое принимают гладкие, отнюдь не мозолистые руки, — что Полозов незамедлительно отмечает про себя, — читают роговые очки. Полозов, отлично владеющий всеми своими пятью чувствами, готов и в роговых очках усмотреть некий признак. Перед ним человек пятидесяти лет, с морщинистым розовым лицом, с клочкастой, белой и пушистой, как липовый цвет, сединой на розовом черепе, похожий на Тютчева в преклонных годах.

Все эти признаки наводят Полозова на размышления. Но роль уже создана, и переделывать ее на ходу не приходится. Он кое-что слышал о видимом товарище, но сведения его были сбивчивы и неполны. Это заставило его создать для данного случая среднюю роль, без расчета на какой-либо определенный характер.

Полозов сейчас — образованный и талантливый, но чрезвычайно скромный юноша, истинное дитя Октября, для которого коллектив — начало и конец всего и которому даже и в голову не может прийти мысль о возможности использования им своих талантов для какой-либо иной цели, кроме как для пользы революции. Да откуда бы и взяться у него такой мысли? Ведь он даже не ощущает эти свои таланты, как лично ему принадлежащие. Это какие-то безличные, коллективные таланты: собрали его, Полозова, ребята в Москву послужить делу революции и дали ему в путь-дорогу самое лучшее и отборное из всего, что имели. Вот и стоит он, Полозов, рядовой провинциальный комсомолец, безличный носитель общей воли и общих талантов, перед видимым товарищем как бы

полномочным представителем ребят. Он даже чувствует их за своею спиною — этих славных, умных и талантливых ребят, которых никогда раньше не считал ни славными, ни умными, ни талантливыми. Они дышат ему в затылок теплым дыханием, они толкают его вперед, на авансцену советской истории, и как бы говорят видному товарищу: «Вот он, наш комсомолец Андрей Полозов, парень знающий и выдержанный, посылаем его вам в помощь и в дальнейшую выучку, просим любить его и жаловать!» Полозов с истинным восторгом ощущает себя сейчас рядовым членом коллектива, случайным хранителем его духовных богатств. Ясным, спокойным взором глядит он на видного товарища. Да и почему не быть ему ясным и спокойным? У него отличное социальное происхождение! У него комсомольский билет в кармане! Он прочел и усвоил все основные руководства по марксизму и ленинизму! У него острее чутье ко всяческому уклонам от генеральной линии партии! Из этих четырех элементов состоит сейчас Андрей Полозов. Он весь на плоскости. Никакого рельефа. Плакатный человек, раскрашенный в четыре цвета. Он ничего не скрывает. Да ему и негде скрывать: он весь доступен обозрению. Переверните плакат: чистый лист белой бумаги, сквозь которую смутно просвечивают все те же четыре цвета.

— Какой славный, отлично скроенный молодой человек! — думает видный товарищ. — Но что-то в нем не то... да, да, именно молодой человек...

Советский молодой человек!

Многострадальному будущему историку, которому наши современники, по горло занятые практическим строительством, столь охотно передоверяют функции осознания целого ряда попутных проблем, решение которых не вызывается непосредственной необходимостью, придется немало повозиться с этим сложнейшим и интереснейшим культурно-историческим типом. Во избежание кривотолков, отметим, что под этим термином, буде он встретится в дальнейшем нашем изложении, мы станем разумеать юношей, пришедших в

пролетарскую революцию извне, из других общественных классов. И в самом деле: кому придет в голову назвать молодым человеком юношу-пролетария? Разве только какому-нибудь старому льстецу из бывших людей. Этим мы отнюдь не хотим принизить или умалить звание советского молодого человека. Ни в какой мере! Разные бывают люди, и разные бывают молодые люди. Многие тысячи советских молодых людей, состоящие в комсомоле или вне комсомола, с глубокой верой и горячим энтузиазмом, не покладая рук, трудятся над построением социалистического общества: кто в хозяйственных организациях, кто в административных учреждениях, кто на заводах, кто в колхозах и в совхозах, кто в Красной армии, кто в театре, в литературе, в живописи, в науке.

Да, разные бывают молодые люди. Видный товарищ еще раз раздумчиво посмотрел на Полозова. Отличный рост, румяные щеки, ясные глаза, чуть жадный рот, свидетельствующий не то о хорошем аппетите, не то о больших аппетитах. Полозов не отвел, не опустил глаз. Он только напустил в них еще больше ясности. Теперь он был виден насквозь. Так по крайней мере казалось ему. Но видный товарищ вдруг уловил в его взгляде какую-то нужную ему муть — и больше не стал смотреть. Он погрузил перо в чернильницу и собрался писать записку в журнал «Революционный путь», чтобы Полозова приняли и пригнали и дали бы достойную его работу. Конечно он записку напишет, и Полозова пригнут. Но молодой человек ему не нравится, определенно не нравится! И вовсе он не славный, как ему вначале показалось. Ну, а вдруг — славный? Нельзя же в самом деле судить о человеке на основании случайно промелькнувшей в его глазах мути. Э, да не в мути здесь дело! Тогда в чем же? Быть может, в форме рта? В изгибе губ? Видный товарищ начинал раздражаться. — Муть ли, рот ли! — воскликнул он про себя, — но только этот Андрей Михайлович Полозов, прибывший из провинции с рекомендательным письмом, — классовый враг. Хитрый и пронырливый.

Вобравший в себя весь опыт всех классов, уничтоженных или только подавленных Октябрьской революцией. Представитель новой формации молодых людей, возникший только в самые последние годы, когда уцелевшие, хотя и побежденные враги несколько оправились, приспособились и нашли достаточно досуга и покоя, чтобы подвести некоторый итог накопившемуся опыту и привить его своему молодому поколению. Страшен он, этот опыт обреченных на гибель классов! Страшнее чумы и проказы! Вот стоит он передо мною — опытный молодой человек. Стройный, здоровый, с крепкой мускулатурой, с отличными зубами, с сильным подбородком, с хорошо развернутым лбом и фальшивыми глазами. Если бы не фальшивые глаза, его бы в бой за мировую революцию, за переделку мира, за новые формы социальной жизни! Такие плечи выдержат любую нагрузку, такой лоб справится с труднейшей задачей! Но разве за этим приехал он в Москву? Нет, у него иные цели: ему надо выколотить из революции славу и деньги, славу и деньги! Ему надо отвоевать у нее лакомый кусок, хитростью вернуть для себя хоть долю того, что революция силой отняла у его класса. Его главное оружие — ложь. Непрерывная и неустанная. Ложь изо дня в день, из часа в час. О, этот не раздираем сомнениями, в его юношеской груди не живут фаустовские «две души», непрерывно терзающие одна другую. Его две души пребывают в полном мире и согласии и находятся, верно, друг с другом в весьма хитрых и тонких взаимоотношениях. Разве такие вступают в комсомол? Это родители отдают их в комсомол, когда приходит время, как в старину отдавали в привилегированное учебное заведение, чтобы приобщить мальчика-парвеню к аристократическому кругу и обучить его хорошим манерам. Вот уж действительно пришло время для аристократизма наизнанку! Вот уж действительно поставили мы, большевики мир на голову! Передо мною, кажется, особо значительный экземпляр приспособленца, воспринявший опыт отцов в его наиболее концентрированном виде. Судя по этому восторженному рекоменда-

тельному письму, этот экземпляр собирается паразитировать на самых вершинах культуры... Что ж, он избрал благую долю: вершины обычно заволочены туманом и плохо видны нам, жителям долин...

— А впрочем, молодой человек, — воскликнул в заключение про себя видный товарищ, — это тебе не провинция!

После этого восклицания он приступил к писанию записки, в которой просил пригреть Полозова и дать ему соответственную работу. Нельзя же в конце концов судить о человеке на основании каких-то невесомых признаков. Пусть поплавает в советском море. Если молодой человек и в самом деле негодный, его рано или поздно выбросит на берег, а то и разобьет о подводную скалу...

Когда видный товарищ, уловив муть, отвел от Полозова глаза, тот ощутил вдруг какую-то неловкость и взволновался страшно. Быть может, Москве вовсе не нужны такие простакки? Быть может, видный товарищ презрел его за чрезмерную плакатность? Быть может, следовало, наоборот, показать ему некоторую психологическую сложность, блеснуть перед ним не четырьмя только, а всеми цветами радуги? Ведь недаром же он так похож на Тютчева и недаром носит он, пятидесятилетний человек, роговые очки. Похоже, что у него тонкий и скептический ум и что он ни в грош не ставит этих самых ребят. Какой досадный промах! Какая непростительная слепота! Ну как было не заметить сразу, что этот человек сделан из более тонкой материи, чем все эти средние партийцы, живущие и мыслящие по указке! Следовало с самого же начала тонко улыбнуться ему и дать понять, что он, Полозов, не хуже, мол, его понимает, что все в мире относительно. В конце концов такой жест его равно ни к чему не обязывал: если бы видный товарищ оказался непосвященным, он просто не понял бы его. Мало ли чему и как люди улыбаются.

Полозов уже было приготовился внутренне к этой тонкой улыбке, с твердым намерением изобразить ее на своем

лице, лишь только видный товарищ еще раз взглянет на него. Но его растерянный ум вдруг опять охватили сомнения: а что если это лишь другая крайность, столь же ошибочная, как и первая? Не будет ли правильнее всего дать понять видному товарищу, что он, Полозов, хотя и не настоящий комсомольский парень, но в то же время и не скептик, а более ценный и достойный представитель человеческого рода. Он — прозелит, с сознательным смирением принесший на алтарь революции всю свою сложность, два европейских языка, широкое и тонкое образование и хорошие манеры; он — вчерашний скептик, помимо воли увлеченный великим историческим движением. По всей вероятности видный товарищ принадлежит именно к этому типу партийцев. Иначе — будь он просто скептик — чего бы ему сидеть здесь, на этой неблагодарной, чисто партийной работе, не приносящей ни славы, ни денег и дающей разве только некоторое моральное удовлетворение. Человек, исповедующий относительность земного порядка вещей, приискал бы для себя местечко более теплое...

— Он несомненно обращенный скептик! — твердо решил Полозов.

В этом случае также требуется тонкая улыбка, но уж совершенно иначе окрашенная. Если в том случае нужна была улыбка чуть нагловатая (но именно чуть, дабы не впасть в дурной тон, что было бы ошибкой уж совершенно непростительной), то здесь — с легким налетом грусти и смирения.

На этой-то грустной улыбке Полозов и решил остановиться. Она уже всплывала из глубины на поверхность его лица, когда видный товарищ протянул ему записку и, взглянув на него, сказал несколько незначащих напутственных слов. Записка была уже написана, и улыбка, по крайней мере на этот раз, потеряла свою, как говорится, актуальность. Но разбег был уже взят, и Полозову пришлось строить ее под взглядом видного товарища. Он смутился. Улыбка, чуть тронув его губы, поползла куда-то в сторону, словно у паралитика, и нехорошо скривила ли-

цо. В ней не было ничего тонкого. Это была скверная, злая улыбка.

— Диагноз поставлен правильно! — сказал себе видный товарищ, перехватив полозовскую улыбку.

Полозов принял свою неудачу стоически, хотя чувство какого-то грубого раздражения против видного товарища еще добрый час не покидало его. Конечно улыбка не удалась. У видного товарища осталось о нем впечатление смутное и неопределенное. Но им, по всей вероятности, суждено еще не один раз встретиться. Полозов дал себе слово при первой же возможности исправить сделанную оплошность. Ведь в конце концов улыбнуться никогда не поздно.

3. Полозов начинает восхождение

Итак — за дело!

Стиль своей литературной работы Полозов определил для себя как привнесение тонкости в диктатуру. Его прельстила поза тонкого, культурного и остроумного царедворца при грубом и некультурном деспоте — пролетариате. Варьируясь от случая к случаю, эта высокопарная выдумка владеет Полозовым, уже давно, но четко сформулировалась она в его сознании — как привнесение тонкости в диктатуру — лишь по приезде в Москву. Это была счастливая и плодоносная формула. Она не только указывала Полозову стиль работы, которая должна была привести его к славе, но и давала ему приятное сознание, что он служит как бы связующим звеном между силой и культурой. Нельзя сказать, что он именно так мыслил себе распределение ролей между собой и эпохой. Эта формула служила для него лишь отличной творческой гипотезой. Таких гипотез припасено было у Полозова едва ли не на все случаи жизни. Он одарен был драгоценной для карьериста способностью создавать для себя временные убеждения, сообразно со своими минутными интересами. Этим способом он достигал возможности действовать в каждом отдельном случае с известной долей условной и искренности. Эти подсобные временные убеждения отлично ужи-

вались порой с прямо противоречившими им более длительными убеждениями. Так например трактовка пролетариата как деспота ничуть не мешала Полозову исповедывать — в такой же мере условную — веру в пролетариат как в творца социализма. Эти минутные временные убеждения имели узко утилитарное значение и зачастую совершенно исчезали из положовского сознания, лишь только проходила в них надобность. Они служили исключительно для целей вдохновения.

Вооруженный своей счастливой формулой, Полозов приступает к завоеванию Москвы. Он дебютирует в «Революционном пути» статьёй под смелым и загадочным названием «Советский пантеизм».

Что это за советский пантеизм?

Советская культурно-хозяйственная система представляет собою как бы некий космос, замкнутый в себе и подчиненный своим собственным законам. Советский человек, homo soveticus, — бессмертен. Член коллектива, творящего новую, невиданную жизнь, он не ведает страха смерти, физического уничтожения. Он переключает свою жизненную энергию в энергию турбин, в бег трансмиссий, в мощную поступь тракторов и комбайнов. Он включает свою интеллектуальную потенцию в общий, соборный интеллект, направленный на новое, марксистско-ленинское культурное освоение мира и жизни. И так могущественна эта сила приобщения к коллективу, так благодетельна она для личности, что человеку вдруг становятся совершенно чужды и безразличны все так называемые проклятые вопросы, над разрешением которых несколько тысячелетий бьются величайшие умы. Личность преобразается. Прокаленная в огне коллективного творчества, она сбрасывает с себя, словно слинявшую кожу, все те отвратительные болезни, которыми страждет человек буржуазного мира. Она не ведает страха перед жизнью и перед смертью, приверженности к собственности, одержимости бесчисленными предрассудками, неизбежно возникающими в собственническом обществе как орудия классовой защиты или нападения... В советской стране — свое небо, созданное руками советских

людей, своя земля, свой воздух. Советский человек отождествляет себя со своим миром, отвоеванным в жестокой борьбе у природы и истории. Советский космос — не фикция, а реальность, в которой живет, трудится и наслаждается человек, не знающий смерти, — ибо что может поделаться смерть с человеком, все жизненные силы которого без остатка отданы в вечное владение бессмертному коллективу? Да здравствует советский пантеизм!

Этим восклицанием заканчивалась статья. Написанная в форме острой и блестящей, с должной мерой иронии и пафоса, она была проиллюстрирована целым рядом житейских примеров, взятых автором будто бы из его личного опыта.

Вот интеллигент, который с отчаянием и горечью развивает перед автором мысль, что пролетариат воистину создает в стране не только новые формы экономики, но и подлинно новый мир. «Порою мне кажется, — говорит интеллигент, — что существует советская погода, советские облака, особый, советский колорит неба...» — «Да, да, — прерывает интеллигента автор, — это то самое небо, что вам с овчинку кажется!»

Вот умирающий рабочий, которому на строительстве оторвало обе ноги. «Что, товарищ, страшно умирать?» — «А что страшного? Вон, — жест в сторону строительства, — за меня теперь турбины побегают!»

Статья имела значительный успех и поставила Полозова в первый ряд сотрудников журнала. Редактор, прочитав рукопись, поднял на Полозова глаза с некоторым удивлением: «Вот тебе и провинция!» Во всей статье он нашел нужным вычеркнуть всего лишь одно слово: соборный, отзывавшее, по его мнению, церковностью и мистицизмом. Для Полозова это не было неожиданностью: он сознательно оставил в рукописи это слово, дабы не произвести впечатление уж чрезмерно гладкого писателя.

Следующая статья Полозова была посвящена вопросу о революции и буржуазной культуре. В этой статье он призывал молодежь не переоценивать значения буржуазной культуры, не подда-

ваться ее чарам, а холодно и здраво отсеивать все то, что противоречит взглядам, чувствам и целям пролетариата. Он бичевал представителей новой, пролетарской интеллигенции, прельщенных этой культурой и готовых поступиться чистотой своего мировоззрения за чечевичную похлебку буржуазного эстетизма и буржуазной псевдонаучной фразеологии.

«Таковы, — писал Полозов, — многие из них, первых интеллигентов нового класса. Вчерашние борцы, бесстрашные и беспощадные, сегодня они со стыдливым восхищением ошупывают мозолистыми руками свою экзотическую добычу: старую, хрупкую, источенную временем культуру. Под этими стыдливими прикосновениями культура начинает зазнаваться, она наглет, она напускает на себя невиданную чувствительность и хрупкость, она грозит распасться, если с нею не будут обращаться еще робче, еще стыдливее...»

Глубокий психологический анализ бюрократизма с острым сатирическим привкусом дан был Полозовым в статье, озаглавленной: «Бюрократизм как мировоззрение». Эта статья стала известна в широких кругах, далеко за пределами литературы, неоднократно цитировалась ораторами на разных собраниях и сделала имя Полозова широко известным.

Совершенно специфический интерес представляет последняя статья Полозова, написанная им для «Революционного пути». Интерес ее заключался не столько в ее форме, несколько тривиальной, и даже не в содержании; она любопытна главным образом с точки зрения психологии творчества. По крайней мере так именно квалифицировал ее видный товарищ, не без азарта следивший за литературной деятельностью Полозова.

Приводим начало этой статьи, дающее достаточно цельное о ней представление:

Техника приспособления

До сего времени техника приспособления не дождалась у нас сколько-нибудь систематической научной разработки и, если не считать отдельных замечаний, как бы вскользь и между прочим брошенных отдельными авто-

рами, главным образом беллетристами, находится в полном и, кстати сказать, совершенно незаслуженном пренебрежении у советской науки. От этого менее всего страдают сами приспособленцы: ведь практика приспособления целиком и полностью базируется на крепком фундаменте личного опыта, корни которого неразрывно сплетены с самыми мощными и глубокими человеческими инстинктами. Более того: им только на руку отсутствие научно разработанной теории приспособления. Не случайно же скрывают они результаты своего личного опыта, который в сущности мог бы быть положен в основу науки о приспособлении, даже от ближайших своих друзей. У них нет никаких организаций, никаких сообществ, никаких кружков, где мог бы быть налажен постоянный и систематический обмен опытом и производиться обучение молодежи. Каждый работает на свой страх и риск, каждый самым тщательным образом, как смертный грех, таит от всего мира приемы и методы своей работы. Это обстоятельство невольно наводит на следующую мысль: уж не является ли результатом сознательного научного вредительства со стороны наиболее энергичных и влиятельных приспособленцев отсутствие до сего времени в советской науке специальной дисциплины о технике приспособления? Это вопрос отнюдь не риторический — он стоит того, чтобы о нем подумать. Но так или иначе, наука о приспособлении должна быть создана. Ведь растет же и развивается, несмотря на вредительство, наше народное хозяйство! Единственное серьезное возражение, которое могло бы быть сделано против создания указанной науки, заключается в том, что приспособленцы, движимые естественным желанием сократить «опыты быстротекущей жизни», не преминут воспользоваться результатами научных изысканий. Но и это возражение достаточно поверхностно. Нельзя же в самом деле отказываться от достижений промышленной техники по той только причине, что они, принося огромную пользу обществу, одновременно ведут

к повышению техники воровского ремесла. В конечном счете развитие техники защиты побивает вора. Такой же результат мы, надо думать, будем иметь и здесь, тем более, что новая наука будет специально целеустремлена на «побитие» приспособленца.

Наиболее трудны будут, разумеется, первые шаги на пути к созданию новой науки. Главная роль на первых порах будет несомненно принадлежать интуиции и лишь позднее — опытному наблюдению. Ждать активной помощи со стороны приспособленцев было бы по меньшей мере наивно. Пассивная же помощь с их стороны будет состоять в том, в чем состоит помощь, оказываемая науке, скажем, морскими свинками: они будут предметом наблюдения и отчасти экспериментирования. Интуиция поможет нащупать живого, полноценного приспособленца в его естественно-бытовой среде — задача наиболее трудная — и затем уступит место наблюдению и эксперименту. Во избежание возможных разочарований следует с самого же начала учесть: наблюдатель-экспериментатор должен быть человеком весьма тонким и отнюдь не кабинетным ученым. Иначе все его усилия пропадут даром, и он рискует быть самым позорным образом одураченным. Ибо приспособление — вещь чрезвычайно сложная, и наибольший интерес с научной и общественной стороны представляют именно наиболее трудные случаи. Ведь невелика к примеру корысть посадить под микроскоп человечка, который на всех перекрестках кричит, что записался в партию с единственной целью устроить свое материальное благополучие...

Далее Полозов, после ряда остроумных и едких суждений о новой науке и ее методах, предлагает учредить специальный институт для изучения всех вопросов, связанных с техникой приспособления, и даже приводит с юмористическим педантизмом подробную схему его устройства.

Как сказано, эта статья была последней, написанной Полозовым для «Революционного пути». Ему нужна была

пресса с большим политическим резонансом. Низовой московский стаж был им пройден. После десятка статей, помещенных в «Революционном пути», через три месяца после приезда его в Москву перед Полозовым уже широко были открыты двери всех редакций.

К этому времени он уже успел густо и плотно обрасти словами. Это был уже не молодой человек Андрей Полозов, даже не комсомолец Андрей Полозов. Это был литератор Андрей Полозов. Он не навязывался на общественную работу, но и не отказывался от нее. Впрочем его не слишком и обременяли: нельзя же сажать ученого за мытье лабораторной посуды! Полозову стало жить легко и приятно. Упоенный своими первыми московскими успехами, он спокойно благодушествовал за крепким и надежным прикрытием печатного слова. Вам угодно знать, что представляет собой Андрей Полозов? Потрудитесь ознакомиться с его произведениями.

4. Из записок Андрея Полозова

Вот уже три месяца в Москве. Андрей Полозов — это звучит гордо! И все же — крутится колесо моей юности на холостом ходу. Ну и пусть себе. В конце концов все эти великие люди были изрядными декламаторами: «живите идеями своего века, старайтесь постичь великую душу современности». Где это искать ее, эту великую душу современности? Или обрести ее дано только истинному сыну своего времени, представителю победившего класса? Может быть, товарищ Сульков обрел ее, эту великую душу? Что-то не видно. Уж больно безотрадное лицо у товарища Сулькова, уж больно серые мысли. А его писания! Господи боже! И берутся же такие люди за литературу. А ведь кому бы, казалось, и быть выразителем «идей века», как не ему, молодому интеллигенту молодого класса? Но, быть может, Сульков — исключение? Быть может, все прочие сотрудники «Революционного пути» или «Красных будней» или «Заветов Октября» являются глашатаями новой эры? Ну кто бы к примеру? Ярцев, многоручный Сере-

жа Ярцев, играющий довольно утомительную для него и для окружающих роль неистового комсомольца? Но ведь у бедняги ничего нет за душой, кроме весьма проблематического темперамента,—таковым названием, на мой взгляд, совершенно несправедливо окрестили постоянно возбужденную нервную систему. Это ограниченный и фанатический приверженец коммунистического евангелия, почему-то полагающий, что общее место, произнесенное с надрывом и сопровождаемое богатой мимикой, обретает свежесть и глубину. Какие уж там «идеи века»! Проецируемый на страницы журнала, его большой темперамент, не укрощаемый спокойным размышлением и работой над формой, рождает уродливые тени: бессвязность изложения, путаницу мысли, выпренность весьма дурного тона. Круг его идей очень мал, но он вращает их с такой быстротой и столь беспорядочно, что легко может ввести в заблуждение человека неопытного. И вводит. Подумать только: вчерашний рабфаковец, человек, не переваривший верно как следует марксизма даже в его популярной, вульгаризованной форме, круглый невежда во всем, что выходит за пределы пооктябрьских словечек и понятий, он слывет чуть ли не эрудитом и во всяком случае сильным и талантливым журналистом, подающим большие надежды. И никто не замечает, что он захлебывается словами, как неопытный пловец водою, что задор опережает у него мысль, что ему отпущено слишком мало ума для обслуживания столь неистового темперамента. При чтении его статей я всегда испытываю неприятное чувство, словно мой собеседник, стремительно выбрасывая огромное количество слов, обдаёт меня целыми фонтанами слюны. Кто он — ловкач, хитрец, карьерист? Не думаю. Просто у него закружилась голова от бешеного скачка: из деревенских пастухов — в столичные журналисты. В этом головокружении он пребывает постоянно, и, кажется, оно довело его уже до туберкулеза. Такие «головокружительные» люди имеют успех, хотя и недолговечный. Впрочем за него, при его изумительном социальном происхождении, опасаться не приходится. Шутка ли ска-

зать: пастух! Что бы я натворил с эдаким социальным происхождением...

Кстати о марксизме.

Мои познания в этом предмете в сущности более чем скромны. Но я обладаю удивительной способностью ассимилировать чужие идеи и, даже не постигая их особенно глубоко, всегда брать в своих писаниях безукоризненно правильный тон. Взять хотя бы тот же пресловутый диалектический материализм. Что понимает в нем Сульков? Как есть ничего. Что понимает в нем Ярцев? Кое-что. Что понимает в нем Полозов? Чуть больше Ярцева. А может, и меньше? Может. Но Ярцев носит на себе этот диамат, как деревенский парень — городское платье, притом сшитое не по мерке. А Полозов — как парижский щеголь носит костюм, сшитый у лучшего портного.

Надо сказать, что я не злоупотребляю марксизмом. Я редко бью им читателя в лоб, я только делаю вид, что он играет у меня как бы роль основной пружины, глубоко скрытой, но определяющей весь ход моего рассуждения. Я предпочитаю плавание в водах, более мне знакомых. Но уж если я пускаю его в ход, то всегда к месту. Сам Маркс не смог бы заметить, что мои термины прикрывают... пустоту! Ну, не то чтобы абсолютную пустоту, но довольно-таки курые идейки. Например диамат для меня есть учение о том, что действительность надо воспринимать в противоречиях развития или там движения. И ничего более. Все прочее я, так сказать, лишь провижу. Но, повторяю, термин употреблен к месту. И не только к месту — он употреблен в его наиболее полном и точном значении. Стоит Марксу подставить в него это значение, и все будет в порядке. Он оставит чтение в полной уверенности, что Полозов постиг его мысль глубоко и основательно. Прочти же он Сулькова или Ярцева, он воскликнет, перефразируя Руссо: «Все прекрасно, когда выходит из рук творца, все портится, когда падает в руки невежды!»

В чем здесь секрет?

А в том, что я с моим огромным интеллектуальным опытом угадываю границы, контуры термина, постигаю безошибочно его единственный, неповтори-

мый запах, его музыкальный тон, его место в ряду других терминов. Так, человек с изощренным умом, даже не зная ни аза, может в течение долгого времени поддерживать разговор на самую сложную тему без того, чтобы собеседник заметил его невежество.

Эрудит: Не находите ли вы, что материализм Бюхнера и Молешотта покоится в сущности на метафизическом основании, притом весьма вульгарном и наивном.

Невежда: Отчасти. Но ведь в конечном счете все философские реки текут с горных вершин метафизики.

Эрудит: Ну, не совсем так. Возьмите к примеру диалектический материализм...

Невежда: Что ж, диалектический материализм лишь весьма условно может быть отнесен к области чистой философии. Это скорее некая специфическая философия наук, чем универсальная философская система.

Эрудит: Нет, почему же. Диалектический материализм охватывает все стороны человеческого мышления о мире и отнюдь небезосновательно претендует на философскую универсальность...

Невежда: В таком универсальном виде он, если хотите, течет с тех же горных вершин метафизики и не знает этого только потому, что ни в малейшей мере не интересуется своим божественным происхождением. Ведь это философское оружие класса, который вообще происхождению не придает никакого значения...

И так далее.

Разве можно было бы отличить здесь невежду от эрудита, если бы я предусмотрительно не распределил их ролей? Такая беседа может длиться бесконечно долго, прежде чем эрудит узнает истинную цену своему собеседнику. Произойдет это разоблачение не ранее того момента, когда случайно будут затронуты совершенно специфические, так сказать, интимные черты данного предмета, такие черты, которые присущи только этому предмету и никакому иному. Так, человек непредубежденный может в течение долгого времени общаться с безумцем, не замечая его болезни, пока высказанная тем какая-нибудь исключительно нелепая мысль не наведет его на подозре-

ния. А пока что — переставьте роли и предоставьте невежде защищать диалектический материализм, о котором он имеет лишь весьма смутное представление, от притязаний метафизики. Ей богу, он отлично справится и с этой задачей! В конце концов приведенный мною разговор могли бы отлично вести два эрудита... или двое невежд. И ведут. Я сам веду такие разговоры — правда предпочтительно в письменной форме.

К чему это я? Ах, да, по поводу Сулькова и Ярцева. Так вот; они этим искусством не владеют. Кишка тонка. Они знают только то, что знают, а знают они мало. У них нет свободных, играющих интеллектуальных сил. Нет такого веселого интеллектуального озорства. Туповатая серьезность прилежных и бездарных самоучек. И все-таки — крутится колесо моей юности на холостом ходу. Сколько шума, звона и треска в моих писаниях и разговорах, а душа моя, подлинное мое «я» остается где-то в стороне, ничем не тревожимое, никуда не стремящееся. Порой меня охватывает страшное раздражение против всех этих Сульковых и Ярцевых: чем живы они? Как это ухитряются они гореть и перерогать на холодном пламени давно выветрившейся революционной фразеологии? Ну, Ярцеву за его усердие воздают хоть славой и гонорамами. Пастуху лестно ходить в литературных вождях и всенародно цитировать Плеханова, а то и Дицгена (из вторых рук). За такое дело, и верно, жизни не пожалеешь, не то что пылу. Так, видимо, и рассуждает Ярцев: хоть день, да мой. Ну, а чего ради старается Сульков и иже с ним? Чего ради бьется он своим бараньим лбом в железные ворота культуры? Ни тебе славы, ни тебе гонорару. Или лавры Ярцева не дают ему спать? Впрочем работа у станка много тяжелее. Пошли такого Сулькова обратно на фабрику — волком взвоят!

В общем всякий устраивается на свой лад — как может и как умеет, а «великая душа» современности почилла, видимо, сном мертвых еще во времена моего отрочества, в 1919 — 1920 гг. под Перекопом, под Казанью, под Царицыном, под Варшавой. Но как бы там ни было, Сульковы и Ярцевы все же вкладываются в свое дело целиком, без остатка и

перегорают в нем до гла. А мне вот этого не дано — не то, что перегорать, а просто гореть. Я не горю, а декламирую. Вдохновенно, упойтельно, но декламирую. Основной, железный фонд моей юношеской энергии, какие-то главные рычаги моего существа остаются вне боя. Им грозит ржавчина, распад, разложение, если объективное положение вещей не претерпит каких-либо изменений. Ей богу, в роли советского литератора я начинаю чувствовать себя великовозрастным гимназистом, вынужденным сидеть в одном классе с притовишниками.

В работе находится в сущности какая-нибудь десятая часть моих духовных сил. Не более. Остальные девять десятых — под паром. Что ждет меня, если объективное положение вещей пребудет без изменений? Еще сорок лет прозябания, еще статьи, исполненные высокого пафоса, добрая тысяча статей, сорок томов перманентного восторга перед новой жизнью и новыми людьми и перманентного презрения к прежней жизни и к прежним людям...

Вчера мне редактор «Красных будней»:

— Ты бы нам, Полозов, что-нибудь о соцсоревновании, да о подлинном, живом, а не в общей форме!

Бывший при этом Будников, «литератор» из люмпен-пролетариев, как-то зло и подчеркнуто сказал, что где, мол, Полозову о таких простых вещах, у него стиль больно высокий. Разумеется, он не сказал «стиль», он вряд ли и знает это слово, но смысл его замечания был именно таков. Он меня вообще почему-то не любит. Как-то в его присутствии я читал ребятам новую свою статью, в которой несколько раз встречалось слово «бесконечность». На третьем или четвертом разе он нагло присвистнул и крикнул, хотя и не к месту, но не без некоторой остроты: «Бесконечность! Бесконечность! Довольно ждали три тысячи лет погоды у моря бесконечности!» — и вышел из комнаты. Ребята были сильно возмущены этой выходкой. Я недоуменно пожал плечами.

А о соцсоревновании напишу обязательно. Надо будет утереть им нос и по этой части: пусть знают, что нет та-

кой области, в которой они имели бы преимущество перед Полозовым, даже если это преимущество носит, так сказать, органический характер и обусловлено «социальным происхождением». Надо будет обязательно забраться на день-два на какой-нибудь завод, приглядеться, принюхаться, что это за соцсоревнование такое, да и писануть. Придется и здесь притянуть все за уши. Ну, да уж это дело для меня привычное. Возьму кусок жизни, простой и грубый, и сотворю из него легенду. А забавная это штука — творчество! Сядешь за стол с праздным умом и пустым сердцем, направишь себя по известному руслу, зацепишься за какую-нибудь идейку, эта идейка потянет за собой другую, та — третью, глядишь — под мощным ветром вдохновения зашумит, загудит и заволнуется густыми своими кронами целый лес идей, мгновенно возросший на совершенно, казалось, бесплодной и выжженной скепсисом почве...

Мог ли бы я, с моим «безличным» вдохновением, быть «певцом в стане контрреволюции»? Сомнительно. Ведь муза — то моя не совсем безлична. Что бы там ни было, я — сын революции. Мне было всего лишь одиннадцать лет, когда грянул Октябрь. Все годы сознательной моей жизни прошли под знаком Октября. С шестнадцати лет я — комсомолец. Правда, у меня немало расхождений с революцией. Не моя вина, если моя личность не подходит под общий ранжир и не может удовлетвориться истинами и эмоциями, рассчитанными на широкое потребление. Я никогда не сочувствовал той умильно-стадной комсомольской психологии, которая нашла себе наиболее выпуклое выражение в «Комсомолии» Безыменского. В конце концов самое существование — это взрастить в себе человека в самом широком и глубоком значении этого слова. Ведь и революции гораздо нужнее Полозов, чем все эти Сульковы, Ярцевы и Будниковы, вместе взятые.

Вне революции я себя как-то даже не мыслю. Революция — это мой рок, моя судьба, моя юность. Если бы я мог найти в ней применение всем моим силам, всей дремлющей во мне энергии!

Если бы она как-то изменилась, как-то удобнее повернулась ко мне, легла передо мною широкой и заманчивой дорогой в будущее! А сейчас она передо мною — замкнутым кругом. У нее для меня и для Сулькова одни и те же дары: немного славы, немного денег. Вполне возможно, что будет гораздо больше славы и гораздо больше денег. И все же в ее большой игре я значу не очень-то много. Если говорить начистоту, моя роль сводится всего лишь к тому, что я возвращаю ей чуть приукрашенными ее собственные идеи. Она принимает эти приукрашенные идеи со снисходительным одобрением и продолжает методически вырывать почву из-под девяти десятых моего существа...

5. Полозов рубит головы

Полозов мог теперь с полным основанием считать себя популярным московским литератором. Он мог притти в любую редакцию и с известным оттенком самоуверенности и самодовольства заявить редактору:

— Моя фамилия — Полозов...

Эти семь букв уже обрели в Москве звучание. Редактор в ответ на это звучащее слово просил присесть и делал приветливое лицо. Приветливость эта не носила общего характера и относилась именно к Полозову. На рассеянном лице редактора, только-что поднявшего голову от груды непрочитанных рукописей, явственно загорался свет сознания, и возникали даже какие-то живые ассоциации. Полозовскую рукопись он брал в руки как нечто хрупкое и драгоценное и тут же откладывал ее в сторонку от общей груды бумаг, как бы подчеркивая, что она требует особого внимания и особо бережного отношения.

И все же в душе Полозова, по мере того как он приглядывался к образу своей рождающейся славы, все росла и росла тревога. На лучезарной поверхности этого образа, еще невидимые невооруженному взгляду, проступали какие-то темные пятна. Они еще только-только намечались, они были еще невдомек ни одному из поклонников Полозовского таланта, но сам Полозов, с его обостреннейшим инстинктом самосохранения,

уже угадывал в этих неопределенных, эмбриональных чертах формы взрослой особи. Причину его тревоги можно было бы определить так: ему угрожала слава литератора с хорошо привешенным языком.

Эту нависшую над ним страшную угрозу Полозов провидел уже давно, но в Москве, в этом жестоком городе, где ежедневно возникает и гибнет больше репутаций, чем имеется жителей в его родном Зарянске, угроза эта становилась неотвратимой реальностью и могла завтра же погубить всю его так удачно начатую карьеру. Полозов отлично отладал себе отчет в причинах угрожавшей ему беды и даже нашел для нее четкую форму на языке своей рабочей гипотезы: деспоту скоро надоест выслушивать от хитроумного своего царедворца одни лишь острые шуточки и тонкие замечания, — ему потребуются более существенные доказательства верности и преданности. Полозов припомнил, в соответствии с этим ходом мысли, что Петр Первый, желая испытать преданность бояр и одновременно связать их с собою жестокой порукой, приказал им самолично рубить головы осужденным на казнь стрельцам.

Надо на всем ходу сделать крутой поворот! Он писал до сих пор настолько обще и беспредметно, точно боялся принять на себя ответственность за свои слова. Чего греха таить, так оно в сущности и было. В самом деле, разве пришлось бы ему в будущем держать ответ за свой «Советский пантеизм» или за ту же «Технику приспособления»? Слова, слова и слова. Всегда люди приспособлялись и всегда было уместно внести юмористическое предложение о создании института для изучения техники приспособления. «Советский пантеизм»! Ну, здесь им была взята настолько высокая нота, что ему всегда удалось бы истолковать эту статью, как произведение скрыто-сатирическое...

Надо сделать крутой поворот. Полозов знал силу неотвратимой проницательности класса, стоящего у власти, и ни на минуту не надеялся удержаться на прежней своей позиции. Если он до сих пор, смутно провидя

опасности своего литературного пути, не слишком торопился свернуть с него, то лишь потому, что знал, насколько медлительна и неповоротлива эта коллективная пронизательность по сравнению с его, Полозова, напряженным и гибким инстинктом самосохранения.

Но теперь время пришло. Исполняются все сроки. Пусть он первый увидел, что защитная окраска его начинает выцветать, — скоро это начнут замечать и другие. Пора изыскивать новые, более сложные способы мимикрии. Революция требует, чтобы он рубил своим литературным мечом головы ее врагов? Он принимает ее вызов и готов связать себя с нею этой жестокой порукой. Не легко ему это дастся. Ведь как никак, с этими врагами новой культуры и новой жизни он связан не менее крепкими узами, чем с революцией. Он всегда считал себя прежде всего русским интеллигентом. Он даже не знает твердо, что это собственно будет: литература или предательство. Но ничего — где-то в подсознании уже рождалась некая новая рабочая гипотеза, временное убеждение, с помощью которого Полозов твердо рассчитывал избежать назревавшей внутренней трегедии разлада между чувством и долгом.

Так пришел Полозов к новому своему литературному жанру.

Первая жертва этого нового жанра сама протягивала Полозову свою повинную голову. Он получил по почте пригласительный билет на очередное литературное собрание «Кружка ревнителей художественного слова». Об этом кружке он уже имел некоторое представление и решил, что это будет его первый стрелец.

Речь пойдет о советском литературно-политическом салоне.

Это было в самом начале нэпа. Быстрым темпом шел процесс кристаллизации однородных элементов. Люди снова начинали обрастать кругом знакомых, ходить друг к другу в гости. Возникали среды, четверги, пятницы, готовые к тому, чтобы путем сложения усилий превратиться в общество. Власть отходила в сторону, как бы уступая обществу доро-

гу. Казалось, реставрация стоит при дверях. Культура, хранимая под замками в музеях и интеллигентских квартирах, собиралась выползти на божий свет. То была пора больших упований. Свежий, молодой весенний ветер надувал паруса буржуазных кораблей. Безграничное историческое море, освещенное ярким солнцем, было спокойно и свободно для плавания. Российское дворянство мирно покоилось в великой братской могиле, уготованной ему Октябрем. Пролетариат, не смогший справиться с охватившей страну хозяйственной разрухой, готовился видимому передать власть в руки буржуазии. М. И. Сазонов понял, что час его пробил. У него были все данные для создания литературно-политического салона: некогда крупное либеральное состояние, нажитое отцом на книжном деле, прославленное имя в области знания, начисто дискредитированное революцией, неглубокий, но не лишенный некоторого адвокатского блеска ум, любительское пристрастие к литературе и искусству, сравнительная молодость, постоянно поддерживаемая на известной, почти неуываемой высоте огромным честолюбием и привычкой к западному щегольству, в прошлом — какая-то смутная история с карами, претерпенными им за какие-то смутные революционные подвиги, незримая оппозиция к советской власти, позволявшая ему ощущать себя вельможей в опале и внешне выражавшаяся в том, что он выговаривал знакомым коммунистам за безумный Октябрьский переворот, и наконец отмеченная высокой интеллигентской родовитостью жена — внучка знаменитого славянофила и дочь не менее знаменитого филолога.

В сущности ядро салона возникло уже давно, едва ли не на другой день после Октябрьского переворота. Люди побежденного класса, отброшенные от живой жизни, охотно укрывались в те времена под широкой сенью искусства. Здесь они обретали как бы право исторической экстерриториальности. Но вульгарное чувство обретенной безопасности не удовлетворяло их. Им хотелось слыть хранителями заветов, стражами священных скрижалей

культуры, угрожаемой новыми вандалами. Это высокое занятие имеет свои каноны. Образы прошлого всегда довлеют над сознанием современников, отвергнутых современностью. В настоящем ищут они черты прошлого и любят рядиться в одежды отошедших эпох. Идея повторности исторического процесса служит для них неиссякаемым источником радостей и надежд. Они создают себе предков. Лишенные лица, они напяливают на себя самые странные и причудливые маски, извлекаемые из бездонных сундуков истории. Следование прославленным историческим образцам дает пищу их тщеславию, обреченному современностью на голодную смерть. Для советских хранителей эти традиции имели еще особую европейскую прелесть. Воображение влекло их от бурного революционного моря 1793 г. к тихой гавани Директории, к тем чудесным годам, когда мирной, ленивой ржавчиной покрывался гильотинный нож, и в работу вступили — в соответствии с перегруппировкой социальных сил и изменением обекта террора — менее изысканные орудия уничтожения. Вчерашние хранители жаждали стать салоном Директории!

Приятно прогуливаться медленным шагом в обществе людей воспитанных, умных и тонких по живописному кладбищу Революции, разглядывая с мудрой улыбкой снисхождения величественные руины ее неосуществленных замыслов, мраморные надгробия ее трибунов, деревянные кресты ее безыменных героев и жертв. Как выигрывала Революция в воспоминании! Как прекрасен раздетый, разутый и голодный народ, защищавший границы Франции от вторжения неприятеля! Как прекрасен даже образ мертвого Марата, сраженного кинжалом Шарлотты Кордэ! А сама Шарлотта Кордэ! Какое величие духа и какая кротость сердца! А тысячи аристократов и аристократок, с презрительной улыбкой погибавших под ножом гильотины! А колоссальный Дантон, казненный Робеспьером! Да и сам поверженный, но оставшийся себе верным до конца Робеспьер, — разве столь уж грешно помянуть его теперь добрым словом?

Но путь советского хранителя неожиданно оказался исключительно сложным, тернистым, и — главное — ни на что не похожим. История упорно отказывалась повторяться. Октябрьская революция отказывалась отходить в область воспоминаний. Нэп не пожелал походить на Директорию. Литературно-политический салон не вытанцовывался. Высокое, но порядком надоевшее звание хранителей грозило стать пожизненным. Взятые в начале нэпа за образец новые предки, заимствованные из эпохи Директории, успели претерпеть в процессе приспособления к современности целый ряд существеннейших изменений, совершенно исказивших их подлинный исторический облик. Прельстительные образы парижских салонов пореволюционной эпохи...

— Так вот кого разыгрывают из себя в нашей революции эти ревнителю! — решил после часового пребывания в салоне Андрей Полозов, лишь с большим трудом откопавший из-под груды позднейших наслоений первоначальный замысел его учредителей. Но уж тут его мысль, получив направление, стремительно заработала, и он быстро охватил весь этот социально-бытовой комплекс, его неповторимый аромат, его прошлое, его настоящее и... будущее, которое прочно находилось теперь в его, Андрея Полозова, руках. Стрелец должен погибнуть — Андрей Полозов должен жить и продвигаться к славе и к счастью!

Да, салон успел к 1931 году изрядно деформироваться. Прежде всего Октябрьская революция получила в салоне полное признание. Салонная игра ума допускалась лишь в пределах идей, выдвинутых и канонизированных революцией. Но и этой возможностью редко кто пользовался: подлинные идеи революции, в их наиболее сложном и глубоком выражении, не были доступны ни самому М. И. Сазонову, ни прочим ревнителям, а несколько десятков усвоенных ими вульгарных положений по самой природе своей не могли дать никакой пищи и гре ума. Да и были ли они вообще способны к подобному занятию? Полозова сразу же неприятно резнуло плохое остроумие по-

сетителей салона, их дурной литературный вкус и дурные манеры, в которых проскальзывала какая-то подозрительная светскость и подчеркнутая вежливость, сознательно противопоставляемые революционному хамству, царящему за стенами салона, а отчасти и в его стенах, среди салонного молодняка, залетевшего сюда на огонек истинной культуры. Салонный молодняк рабоче-крестьянского происхождения вообще держали в салоне в черном теле. Но все же держали — это была дань, отдаваемая салоном современности. Ведь именно под молодняк получал салон субсидии от революционного правительства. Именно молодняком козырял М. И. Сазонов, когда надо было отстаивать излишки занимаемой кружком площади. Молодняк не понимал своего выгодного положения в салоне и позволял всячески третировать себя. Он считал это тем налогом, который ему приходится платить за приобщение к культуре.

Полозов чувствует себя сейчас в салоне грозным посланцем революции, исполненным гнева и сарказма, призванным разрушить этот Карфаген интеллигентствующих мешан.

— Что объединяет всех этих людей? — размышляет Полозов, пропуская мимо ушей скучнейший доклад, посвященный ритмике и метрике одного из поэтов салона, издавшего книжку под названием «Женщины и кони». — Во всяком случае, не литература.

Ну конечно же не литература!

Вокруг большого овального стола во главе с председателем восседают кадры салона — его основатели и руководители.

— Начнем с председателя, — размышляет Полозов, — он несомненно воображает себя чем-то в роде русского Бенжамен Констана, переживающего террор, чтобы развернуть во всю свои дремлющие под революционным спудом таланты. И верно: Бенжамен Констану в Октябрьской революции нечего было бы делать. Он находился бы в эмиграции и писал бы о нас вещи, которые в Европе казались бы умными, глубокими и злыми, но никак не влияли бы на ход нашей революции.

М. И. Сазонов бесконечно мельче и глупее Бенжамен Констана и не смог бы о нас писать ни умных, ни глубоких, ни злых вещей, но ему также нечего делать в нашей революции. Да он и не собирался что-либо делать в ней, он ставил свою ставку на буржуазную реставрацию и именно на ней строил свои честолюбивые расчеты. Реставрация не выгорела. Но М. И. Сазонову не хотелось итти в юрисконсульты или секретари. Его честолюбивый разбег, взятый еще в ранней юности, был слишком силен и стремителен, слишком горячо и непреодолимо было желание играть роль. Российский Бенжамен Констан склонил голову перед революцией. Он сдал одну позицию за другой. Легче всего ему было конечно отказаться от игры ума, тяжелее всего — от политических интриг, которые он считал неотъемлемой принадлежностью всякого салона. Три томительных года военного коммунизма, спасая от варваров-большевиков остатки интеллигентской культуры, мечтал он о предстоящей ему политической роли. Он полагал, что в его квартире будут решаться судьбы министерств, выдвигаться парламентские кандидатуры, обсуждаться в легкой, игривой и блестящей беседе важнейшие вопросы внешней и внутренней политики страны. Он собирался покровительствовать способным молодым провинциалам, приходящим в столицу за карьерой и славой. Создавать «имя» талантливым ученым, адвокатам, журналистам, писателям, художникам. Его суждения о людях, политических теориях, книгах и картинах, облеченные в чеканную форму афоризмов, должны были доставить ему славу непререкаемого арбитра в вопросах политики и искусства. Наконец его политические писания...

Вот эта женщина с мелким, пустяковым личиком и робкими глазами — супруга председателя. Она находится здесь на совершенно особом положении. Личность ее полностью исчерпывается говорением ничего незначащих любезных фраз, но посетители салона, совершенно изнемогающие от уважения к великой русской литературе, в каждом ее слове и жесте ухитряются видеть одновременно и широко одарен-

ную, безудержную натуру ее деда-славянофила и обузданный тонкий интеллект отца-филолога. Короче — она состоит при салоне в качестве идеала русской женщины и относится безоговорочно всеми к тем бесспорным культурным ценностям, которые в пику Октябрьской революции надлежит сохранить до лучших времен. Ее почти идиотическую любезность, не освещенную ни единым проблеском мысли, приписывают тончайшей конспирации, к какой вынуждены прибегать наиболее изысканные и хрупкие носители старой культуры, чтобы противостоять революционной непогоде.

Пойдем дальше. Вот этот бравый, черноволосый, краснощекий мужчина с гнилым ртом предназначал себя вероятно к роли парламентского трибуна, горячего и несдержанного на слово, яростного защитника угнетенных, но умеющего притом оценить доброе отношение со стороны влиятельных лиц. Он много потерял на том, что реставрация не выгорела: он кончил бы собственным домом и хорошо устроенным состоянием. Но он еще не утратил надежд: у него большой запас жизненных сил и бодрости. Иначе, что бы ему делать здесь, под сенью великой русской литературы, о существовании которой он, ей богу же, узнал впервые в салоне. Он твердо верит, что роль хранителя заветов войдет в его послужной список, который он в свое время представит куда следует. Неужто он пишет стихи? Нет, вероятно он просто представляет от лица будущего парламента при этом культурном оазисе.

Рядом с этим будущим депутатом я вижу небезызвестного литературного критика, знакомого мне по портретам, за советской карьерой которого я следил еще из Зарянска. Это бывший беспартийный кадет, затем, после февраля, — партийный меньшевик. Сейчас он не то что сочувствует, а не возражает против советской власти. Ему представляется, что в эпоху всеобщего одичания он выполняет некую важную и самоотверженную культурную миссию. В сущности — это одна из разновидностей хранитель-

ства, весьма активная и самоуверенная, чтобы не сказать наглая. Он убежден, что советская власть, лишь из ложного самолюбия относящаяся к нему с некоторым пренебрежением, втайне чрезвычайно дорожит им и боится его утратить: без него блеск эпохи сильно померкнет, и обнажится механизм диктатуры. Он отлично усвоил терминологию эпохи и охотно демонстрирует перед читателем и властью, во что превращается грубый марксистский метод в руках человека культурного и рафинированного. В глубине души он считает себя скептиком, который служит силе из презрения к людям и к миру. Его тайный скептицизм несколько умеряется тем, что при советской власти он в качестве меньшевика провел около полугода в тюрьме. Это окружает его в салоне ореолом политического мученичества и заставляет его ощущать себя как личность отчасти трагическую. К настоящему моменту все эти свойства сплелись в фигуру достаточно мизерную и, если не вредную, то и ненужную нашей революции.

Вот этот старик с багровым лицом и напряженным, выкаченным взглядом, в грязном, помятом воротничке, обтрепавшийся, обносившийся — некогда крупный писатель, ныне безнадежно заблудившийся в революции и обретший тут, в этом, с позволения сказать, салоне, единственное понятное для себя во всей нашей великой эпохе место. Стоит он на положении живого носителя традиций, литературного патриарха, кстати отметить, слегка презираемого. Так сказать, почтенный, но не вполне опрятный дедушка, нередко забывающий скидывать хлебные крошки со своей заслуженной бороды. М. И. Сазонова он весьма уважает и считает милым господином. «Только и свету в окне, — думает он, — что в этом культурном уголке». Это не просто слабоумие. Это живая иллюстрация того положения, что если боги хотят погубить класс, они отнимают у него разум.

А вот политический патриарх. Огромный, живописный старец с огненным взглядом, бородатый, волосатый, лобастый, трубногласый. Это бывший видный народоводец, правда, не из тех,

что убивали, а из тех, что украшали и импонировали. Но все же человек с именем историческим. В салоне полагают даже, что его боялся сам Александр III, а об одном из его тюремных побегов имеются здесь версии уже совершенно фантастические. Старик сейчас полностью живет на проценты со своего прошлого. Если это и лев, то без когтей и клыков. На что ему теперь такие огромные физические размеры? Он вызывает чувство, близкое к отвращению. Сходное чувство возникает вероятно при виде оскопленного красавца-атлета. Старик явно опустился, и в его поведении заметно проявление какой-то скверной и грыв, какое-то козыряние своей исторической внешностью. В салон его загнано тщеславие, нашедшее здесь для себя обильную пищу. Ведь только в узком кругу бывших людей и мог рассчитывать этот бывший герой испить полную чашу славы. Революция дала ему пенсию и забыла о нем. А старец обиделся и по всякому поводу говорит: «Вот если бы они тогда послушались меня!» Он пишет скверные стихи о любви и вечности и беззастенчиво давит на редакторов всею тяжестью своего прошлого авторитета. Иногда его печатают. Любит он еще хорошо поесть. Я его как-то встретил в общественной столовой, он устраивал скандал по поводу того, что ему дали недостаточную порцию. За внешностью своей он следит самым тщательным образом и, кажется, даже слегка подвигает бороду: он сознает, что во внешности, как у Самсона в волосах, вся его сила. Чего ждет этот от будущего парламента?

Вот это уж полная для меня неожиданность! Пролетарский поэт в кругу этих жалких масок, да еще на почетном месте, одесную российского Бенжамен Констана! Ай да Гаврилов, Саша Гаврилов! Никак не ожидал! И чем это только соблазнили они тебя, человека от станка? Ну нет, этого греха я им не прощу. Купайтесь себе в своем болоте, но не соблазняйте же малых сих! Это уж, так сказать, вредительство. Чем же они тебя все-таки взяли? Наверно прикинулись слабенькими, побежденными, но весьма культурны-

ми и любознательными. Уж больно понимало их, что это за пролетарская поэзия такая. «Не откажите, товарищ Гаврилов, почитайте нам свои стихи! Ведь вы некоторым образом столп этой самой поэзии!» И уговорили. Ишь, какой у тебя гордый вид, Гаврилов, словно революция назначила тебя комиссаром в этот самый салон! А ведь стыдно, ей богу, Гаврилов, стыдно! В твоей салонной судьбе есть нечто общее с судьбой старика-народовольца. Ты олицетворяешь собою поэтическое прошлое революции, твой голос заглушен сейчас голосами новой поэтической смены. Ты не захотел или не смог переучиваться и отстал. Но разуженное тщеславие твое не хочет мириться с таким ранним закатом. А тут вдруг подвернулись такие ярые поклонники твоего таланта, как эти ревнители. Ну как было не поддаться! Нет, Гаврилов, лучше быть погонщиком мулов в царстве живых, чем... комиссаром в царстве мертвых. Воистину этот салон — прибежище для всех обиженных и обойденных эпохой. Беги, Гаврилов, пока не поздно! Беги хоть обратно на завод, к станку, к машине! Тебе ли, старому комсомольцу, восседать в этом совете нечестивых!

Как видно, Полозов вполне вошел во вкус своего нового литературного жанра. Все это время, пока он делал наблюдения и заносил их в блок-нот, в его подсознании неустанно шел процесс оформления новой рабочей гипотезы, которая позволила бы ему с наибольшим блеском выполнить принятую им на себя задачу: разоблачить это мещанское литературное болото. Старая творческая гипотеза — о деспоте и царедворце — уже отслужила свое время и при новых обстоятельствах была совершенно бесполезна. Речь шла теперь уж не о тонкостях или остроумии, точнее — центр тяжести был теперь не в них. Речь шла о том, чтобы доказать свою преданность революции, принести на ее алтарь реальную жертву. Полозов знал твердо: не сегодня-завтра новая гипотеза явится и с успехом заместит старую. Он ждал ее прихода даже с некоторой скукой.

И вот, сидя сейчас в салоне и смакуя будущую свою статью о «Салоне мертвецов», Полозов почувствовал вдруг, что в душе его, словно в душе настоящего комсомольца, струится расплавленный революционный поток, нарастает яростный гнев против всех этих людей, отравляющих миазмами разложения горный воздух величайшей из эпох. Но в то же время странным образом это ощущение клопочущего в нем революционного потока рождало в нем какую-то еще дополнительную восторженность, уже чисто житейского порядка. Последнее время ему стало казаться, что этот поток, высушенный его скептическим умом, уже совершенно иссяк в нем и ему придется в дальнейшей довольствоваться одними только ходульными гипотезами, далеко не разрешавшими проблему условной искренности. Но нет — вот он, испепеляющий революционный гнев, он водит его карандашом, он заставляет играть и пенить его мысль, он подает ему в нужную минуту самые нужные слова и выражения! Полозов был счастлив. Он убедился, что еще долго будет способен к высшим формам приспособления.

«Салон мертвецов» вскоре появился в печати. Андрей Полозов весь этот день находился в великом смятении: его ужасал первый десяток жертв, принесенных им революции во славу его литературной карьеры. Но «страшен первый шаг и труден первый путь!» Новая рабочая гипотеза уже стояла у самого порога сознания. Трепещите, враги революции!

6. Полозов достигает зенита

Итак, деятельность Полозова получила новое направление. Его прежде отвлеченное умствование связалось приводным ремнем воли с живой жизнью. Каждое его очередное литературное выступление имело теперь совершенно определенную жизненную установку: оно разоблачало. Не в том, разумеется, смысле, что Полозов указывал пальцем на какого-нибудь там взяточника, рвача или вредителя. Нет, он пребывал

попрежнему на самых высотах культуры и делал свои разоблачения, так сказать, с высшей точки зрения. Эта высшая точка зрения и легла в основу его новой рабочей гипотезы. Эта гипотеза немало способствовала к умиротворению тайных мучений полозовской совести. Полозова ни в какой мере не удовлетворяла мораль эпохи: этически все то, что способствует торжеству пролетарской революции. Он даже как-то не постигал этой морали и не верил, чтобы кто-нибудь относился к ней серьезно. Она представлялась ему демагогическим, беспредметным, голым лозунгом и никак не смогла бы стать для него категорическим императивом. Правда, это не помешало бы ему в случае нужды написать патетическую и вполне вразумительную статью под высокопарным названием: «Этика и эпоха». Кажется, за ним даже числится такая или подобная статья. Но его самого не согревало это этическое солнце, зажженное им для других. Каждое новое разоблачение причиняло новые терзания его совести. Следует заметить, что слово совесть нужно понимать здесь в весьма условном смысле. Оно берется в его первоначальном, генетическом смысле, как обратная сторона страха перед возмездием. Ибо Полозову, человеку чрезвычайно честолюбивому, молодому и целеустремленному, само по себе предательство, как одно из средств для достижения цели, не было ни чуждо, ни противно: этически все то, что способствует торжеству Андрея Полозова. Но как бы там ни было, совесть терзала его, и новая рабочая гипотеза услужливо пришла ему на помощь. Сформулировал он ее примерно таким образом: объектами его разоблачений являются исключительно отмирающие формы жизни, неспособные к сложной мимикрии и потому обреченные на неизбежную гибель в суровой обстановке пролетарской диктатуры; он же, Полозов, имеет все основания надеяться, что дождется прихода иных «объективных условий» и сможет развернуть на пользу человечества все таящиеся в нем богатые возможности; почему бы и не подтолкнуть ему этих падающих людей,

если их гибель, все равно предрешенная, в высокой степени способствует поддержанию столь полезного человечеству вида, одним из наиболее блестящих представителей которого он, Полозов, является?

Эта гипотеза — уж чрезмерно контрреволюционная — так и осталась на самом пороге полозовского сознания, что отнюдь не мешало ей играть в полозовском душевном обиходе предназначенную ей роль.

Для характеристики совестливости Полозова не лишне будет указать, что понятие гибели в отношении этих отмирающих под ускоряющим воздействием его разоблачений жизненных форм имеет лишь метафорическое значение. Революционная власть естественно никак на полозовские разоблачения не реагировала. Это не дело власти. Новая культура сама должна найти в себе достаточно сил, чтобы нейтрализовать ядовитых паразитов, присосавшихся к ее здоровому организму. И новая культура находила эти силы. Через неделю-другую после появления очередной полозовской статьи паразиты втягивали свои присоски и бессильно отпадали от своей жертвы, не успев насосаться ее живой крови. Паразитарный период их жизни тем самым заканчивался. Революционное общественное мнение благодаря Полозову обогащалось знанием еще одной лишней формы приспособления к жизни с тем, чтобы запомнить ее навсегда. Таким образом Полозов отнюдь не приводил объекты своих разоблачений к гибели, даже не подводил их под какие-либо житейские кары, он просто пригвождал их к позорному столбу истории.

Взять к примеру тот же салон. Первым отхлынул от него молодой к, — на другой же день после появления полозовской статьи. Перестал навеваться и Гаврилов. Даже старый народоволец смущенно покашливал в телефон на настойчивые зовы М. И. Сазонова и сказывался больным: он начал прозревать, что запятнал свое несомненное революционное прошлое общением с людьми, уповающими на сомнительное контрреволюционное будущее.

Тайна существования салона,

тщательно оберегавшаяся, была раскрыта, и ему просто стало нечем и не для чего жить. Ведь нельзя же было делать вид, что ничего не произошло, что все члены его попрежнему безумно влюблены в великую русскую литературу и мечтают только о том, чтобы привить эту свою любовь тем новым людям, которых подняла из безвестности и приобрела к культуре великая революция. Кто им после полозовской статьи поверит, что они любят русскую литературу? Кто им поверит, что они считают Октябрьскую революцию великой? Кто поверит, что они тринадцать лет занимались хранительством культурных сокровищ, а не того интеллигентско-буржуазного тепла, без которого боялись замерзнуть на новых исторических высотах и которое должно было послужить им почетным входным билетом при обратном спуске в исторические долины восстановленного из пепла капитализма? Никто не поверит. М. И. Сазонов еще некоторое время крепился, а затем смиренно сдал в местные Роуни занимаемую кружком площадь. Эта площадь была принята соответствующим сотрудником со всеми полагающимися формальностями, без всякого душевного волнения или даже любопытства: ему и в голову не пришло, что под видом десятка квадратных метров жилой площади сдаются неосуществившиеся надежды на российскую Директорию.

Защитная окраска Полозова приобрела сразу же после этого первого его разоблачения изумительное сходство с окружавшей его комсомольско-партийной средой. Чудесное ощущение безопасности, достигавшее по временам силы экстаза, с лихвой вознаградило Полозова за те муки совести, которые, вопреки удачной его гипотезе, тонкой, но ядовитой струйкой протекали где-то в глубине его подсознания. Но он решил все же не успокаиваться на этом своем первом выступлении. Умудренный житейским опытом, он знал, что защитная окраска способна выцветать, — надо было постоянно поддерживать ее свежесть, подкрашивать блекнувшие цвета, а иной раз и перекрашивать их в соот-

ветствии с изменениями в окраске среды. Нередко тот, кто не живет общественной жизнью своего времени, а только приспосабливается к ней, с изумительной прозорливостью определяет для себя малейшие сдвиги, происходящие в окружающей его общественной среде. Полозов почти никогда не запаздывал менять окраску и почти никогда не менял ее раньше времени. Иногда лишь, все в тех же интересах приспособления, он позволял себе чуть заметный и вовсе не порочащий его репутацию правый или левый загиб. Кстати сказать, из соображений, ему одному ведомых, но, надо полагать, небезосновательных, из этих двух загибов он всегда предпочитал левый. То ли потому, что это было шикарнее и могло свидетельствовать о бьющей через край силе его революционного темперамента, то ли по какой другой причине, но только оступался он, — как сказано, вполне сознательно — почти всегда именно на левом загибе. Правый был у него не в чести. Эти его, хотя и чуть заметные, загибы не проходили незамеченными, да и скрывать их было вовсе не в интересах Полозова. Его ласково поругивали, он смиренно каялся, иногда лишь разрешая себе этакую молодую и задорную строптивость, которая куда лучше вводит в заблуждение, чем смирение и лицемерная покорность.

Объектом следующего своего разоблачения Полозов избрал литературное попутничество. В этой статье он дал себя увлечь тому непреходящему раздражению, какое всегда испытывал по отношению к левым попутчикам. Он относился к ним, как относится неудачник к своим преуспевающим соперникам. Ему казалось, что они совершенно несправедливо пользуются теми же — или даже большими — благами, что и он, комсомолец и революционный журналист. В самом деле: чем рискует такой, с позволения сказать, левый попутчик? Какой грех берет он на свою совесть? Никого-то он не разоблачает, никогда-то не говорит он того последнего, решительного слова, которое навсегда отрезало бы ему путь к отступлению. Полозов давно наблюдал за этой, как

он полагал, хитрой игрой и постоянно удивлялся недальновидности или мягкотелости коммунистической критики, которая не могла или не хотела поймать с полчиным этих ловких молодых людей, виртуозно лавировавших между Сциллой сегодняшней революции и Харибдой завтрашней реставрации.

На этой статье Полозов несколько сорвался: он слишком уж перегнул палку в левую сторону. И все же шум, поднявшийся вокруг статьи, принес ему столь большую известность, что вполне примирил его с теми то укоризненными, то гневными нападками, которые ему пришлось выслушать от своих собратьев по перу. Ошибку свою он исправит, а слава останется!

«Душа попутчика»

Попутчик говорит на языке революции, как иностранец, усвоивший фонетику чужого языка, но не постигший его глубочайшей внутренней сути. Иностранец многие годы живет в чужой стране, его произношение безупречно, его словоупотребление точно, он успел даже полюбить этот прекрасный, звучный, порою варварски выразительный язык, и все же он является для него лишь механическим средством общения, а не драгоценным сосудом, в котором осажден культурный отстой тысячелетий. Но стихия живого языка — это тот воздух, без которого не может жить и дышать человеческая психика. У иностранца есть свой родной язык — язык его страны, его класса. Каждое слово этого языка подобно клавишу, рождающему в душе иностранца глубокий и полноценный отзвук. Этот язык уже не механическое средство общения, — он имеет все три измерения и связан тончайшими нитями со всей эмоциональной и интеллектуальной жизнью иностранца. Вот на этот язык, единственно для него звучащий, бессознательно переводит иностранец чужие слова, подставляя в них иные, несвойственные им смыслы. Ему скоро начинает казаться, что он близок к постижению чужой культуры. И действительно. Ведя беседы по поводу самых сложных и трудных вопросов этой культуры, он научился с полу-

слова понимать своих собеседников, и у него нет никаких оснований полагать, что сам он остается непонятым. И его в самом деле понимают, даже удивляются его пронизательности, силе его постижения, только иной раз поражаются какому-нибудь странному оттенку мысли или грубому ляпсусу, неожиданному, как грамматическая ошибка в рукописи ученого лингвиста. Но вот иностранец возвращается домой и в поучение соотечественникам пишет книгу о стране, в которой прожил много лет, и которую, как ему кажется, добросовестно изучил. Книгу он пишет, естественно, на своем родном языке, — уже не плоскими, двухмерными словами чужого наречия. Книга попадает в ту страну, которой она посвящена, к тем людям, которые поразились некогда глубине постижения иностранцем чужой культуры. Магия слов кончилась. Со страниц книги колышет широкими своими ветвями бессмертная развесистая клюква.

Эта аналогия вскрывает в попутничестве — в левом попутничестве — лишь его наиболее общую черту: внешнее восприятие и принятие революции, соединенное с бессознательной подстановкой — с большим или меньшим приближением к истине — иных значений в ее «слова и дела». Фразеология попутчика при этом безупречна или почти безупречна. Он широко и умело пользуется революционным словарем. Нужно особо чуткое ухо, чтобы уловить в его речи акцент человека, говорящего на чужом, хотя и отлично усвоенном языке. И нужна большая острота самонаблюдения и самоанализа, чтобы осознать в себе самом эту неполноту слияния с революционным словом. Но у попутчика, как у всякого художника, есть еще свой родной язык — язык образов. На этот язык переводит он все свои впечатления, воспринятые от окружающего мира, от революционного быта и бытия. И гут только обнаруживается со всей ясностью, что язык революции для попутчика — всего лишь способ общения с современностью. Десяток страниц благополучного революционного словоупотребления, и вдруг пять «образных»

строк, как широко распахнутое на обе створки окно в подлинный, интимный, подсознательный мир попутчика! Разумеется, это абстракция: чередование образного и «декларативного» материала в конкретном литературном тексте не столь примитивно, но существо дела от этого не меняется. Правильную социально-психологическую характеристику попутчика можно дать, лишь основываясь на анализе образного материала его произведений. Это дело трудное и новое, но игра стоит свеч. Такой скрупулезный анализ может иной раз привести к выводам совершенно неожиданным и в то же время неопровержимым...»

И вот, путем этого скрупулезного, хотя и весьма пристрастного и недобросовестного анализа текстов ряда левых попутчиков Полозов пытается доказать их враждебность и во всяком случае чуждость пролетарской революции. Ему это отлично удается. Какой-нибудь случайный образ писателя он так ловко и остроумно повертывает лицом к своей предвзятой цели, что, до сих пор незамечный, он разом бросается читателю в глаза, словно металлический предмет, попавший под солнечный луч. Если у писателя сказано, что «жестокая сила отнимает у нас наш прежний человеческий мир», то эта фраза беззастенчиво вырывается Полозовым из контекста с тем, чтобы послужить непрекаемым доказательством контрреволюционной настроенности писателя. Полозову горя мало, что несколькими строками ниже писатель приветствует эту жестокую, но благодетельную силу, как приветствуют врача, не остановившегося перед применением жестокой, но целительной операции для спасения больного. Если у писателя «дерево скрипит под ветром, как новый протез на ходу», то этого вполне достаточно, чтобы объявить его упадочником, культивирующим болезненные образы и потому чуждым революции.

«Подобный образ никогда не возникнет в голове истинно революционного писателя. Он рожден умом, чья ненависть против капиталистического порядка вещей возникла лишь в результате мировой бойни, как естественная реакция против ее адových

ужасов. Эта ненависть только и держится воспоминаниями о «новых протезах», о газовых атаках, об истерзанных телах и обезображенных лицах. Эта интеллигентская ненависть лишена какой бы то ни было пролетарской классовой зарядки. Она жива до тех пор, пока живы воспоминания о мировой войне. Такой писатель воспринимает революцию как некое возмездие капиталистическому обществу за совершенные им грехи. В этом для него единственное «оправдание» революции и единственный смысл ее. Как категория самодовлеющая, творческая она им не мыслится. Но революция — реальность, с которой нельзя не считаться: горе тому, кто не посчитается с ней! И наш писатель уже сознательно культивирует в себе воспоминания об ужасах мировой войны, чтобы не утратить связи с этой реальностью, чтобы придать своему отношению к ней долю искренности. Этот мелкобуржуазный писатель осужден историей на то, чтобы ассоциировать скрипящее под ветром дерево с новым протезом, а не со свежим, бодрым скрипом дверей в доме строящегося социализма. Вот на какие мысли наводит нас этот с виду невинный образ левого попутчика!»

Несколько крупнейших левых попутчиков, чья испытанная верность революции и пролетариату ни в ком не вызвала сомнений, стали жертвами полозовского «анализа». Под конец Полозов пустил несколько примирительных нот и заключил свою статью патетическим восклицанием: «Старайтесь постичь великую душу современности, живите идеями своего времени, и подлинно художественные творения не замедлят явиться!»

Редактор получил за статью серьезную взбучку: ему был поставлен на вид не только левый загиб, но и явный привкус переверзевщины, имеющийся в аналогии между попутчиком и «иностранцем». Полозов отделался легким внушением, доставившим ему даже некоторое удовольствие, ибо внушение ~~делал~~ тот самый видный товарищ, ~~первое~~ свидание с которым было когда-то для Полозова столь неудачным. На

этот раз видный товарищ был очень мил и приветлив. Он пожурил Полозова за статью, предостерег от повторения в дальнейшем подобных загибов и предложил внимательно проработать в целях общей профилактики «Детскую болезнь левизны» и частной — резолюцию ЦК о художественной литературе. Вместе с тем в выражениях весьма лестных он воздал должное таланту Полозова, отозвался одобрительно о его сатире «Бюрократизм как мировоззрение» и почти восторженно — о «Салоне мертвецов». Но и на этот раз он остался для Полозова загадкой. Вот уж, кажется, все хорошо, Полозова пожурили, как настоящего его партийца, как своего, который чуть сбился с пути, а тут вдруг, когда пришло уже время прощаться, видный товарищ, как-то холодно прищурился, возьми да и скажи совершенно непонятную в подобных обстоятельствах фразу:

— Прощайте, молодой человек! Кстати, не припомните ли вы, в каком из последних своих романов Герберт Уэллс, обращаясь к лидеру консерваторов Болдуину, восклицает: «Мистер Болдуин, уберите вашу трубку, мы хотим видеть ваше лицо!»

Полозов припомнить не смог... Но назвать его молодым человеком! Но сказать ему эту странную и двусмысленную фразу! Что это — чудачество или проница...? Нет, нет, только не это... Не ясновидец же в конце концов видный товарищ! На этом Полозов и успокоился. С ним самим бывало так: привяжется иной раз какая-нибудь случайная фраза, и ничем не успокоишься, пока не вспомнишь, откуда она взялась...

За «Душой попутчика» последовало еще несколько разоблачительных статей, но от загибов Полозов теперь воздерживался. Почему-то, несмотря на приветливость видного товарища и на хвалебные отзывы о его творчестве, Полозову не захотелось больше встречаться с ним. Да и времена пришли другие: партия и комсомол сурово взыскивали со всяких загибщиков, и кокетничать с загибами становилось рискованным. Полозов потянул носом и перестроился: он осудил

в сердце своем не только уклоны и загибы, но и примиренчество к ним. Больше того: он осудил даже примиренчество к примиренчеству. Короче: он дошел на этом пути до самой крайней логической точки.

Слава Полозова достигла к этому времени зенита. В советской печати — включая сюда вместе и журналистику, и литературу — имелось, быть может, всего пять или шесть десятков имен, которые могли бы сравняться с Полозовым в отношении популярности.

Пять или шесть десятков!

Полозова это не удовлетворяло. Когда он раздумался как-то о своих советских путях, эта цифра вовсе не показалась ему столь уж незначительной. Вот уж скоро год, как он без устали разит своим литературным мечом головы врагов пролетарской революции. И что же? Он до сих пор стоит в одной почти шеренге с Ярцевым. А там, где-то далеко впереди, у самого солнца славы, озаренные его лучами, стоят несколько счастливцев, которых читает, знает и любит вся страна. Суждено ли Полозову с его умом, талантом, настойчивостью стать когда-либо таким счастливым? Встанет ли он когда-нибудь в один ряд с теми, чье слово весит на весах революции не меньше, чем любой производственный или воинский подвиг? Примут ли когда-либо его в свой круг те его собратья по перу, которые сумели стать настолько необходимыми и революционными, что она даже сочла возможным предоставить в их пользование машины?

Полозов пришел к непререкаемому выводу: не суждено, не встанет, не примут!

И не потому вовсе, что он менее талантлив, умен или работоспособен, чем они. И не потому вовсе, что ему препятствуют в том какие-либо объективные причины.

Это печальное озарение снизошло на Полозова совершенно случайно, хотя приход его и таил в себе несомненную внутреннюю закономерность. Было это в тот самый день, когда по прочтении какого-то восторженного отзыва о своем очередном разоблачении Полозову вдруг показалось на миг, что

путь его советской славы и в самом деле безграничен и приведет его в конце концов к осуществлению всех его честолюбивых мечтаний. Но это показалось ему только на один миг. Следующий же миг отдал его на растерзание отчаянию и безнадежности, Мысль, которая все время таилась и расцветала в его подсознании, созрела вдруг и всплыла на самую поверхность: он исчерпал до дна свою долю советской славы. Ему вдруг стало до очевидности ясно, что при его психологических данных, при его непримиримой, хотя и глубоко запрятанной враждебности к революции дальнейшее продвижение по пути славы ему заказано; что ему остается только удерживать те позиции, которые он уже успел отвоевать у революции.

Это горькое заключение делает честь уму и пронизательности Полозова, а в еще большей степени свидетельствует о необычайной тонкости и изощренности его инстинкта самосохранения. Сейчас он достиг как раз того предела популярности, который могла дать ему его среда профессиональных литераторов и профессиональных читателей. Чем сильнее возрастала его популярность даже в этой среде, тем реальнее становилась опасность разоблачения: чем большее число людей читало его писания, тем труднее становилось ему держаться на глиняных ногах условной искренности.

Полозов несомненно преувеличивал конкретную опасность, но, как известно, у страха глаза велики. Он был напуган своей возраставшей день ото дня славой. Он чувствовал себя азартным игроком, которому ежеминутно грозит опасность зарваться. Пора кончать игру. Но как? Раз навсегда отказаться от вышших форм приспособления? Пренебречь своей хотя и второсортной, но столь тяжело добытой славой? Итти в секретари или счетоводы?

Одно только знал Полозов совершенно твердо: ему, с его коротким дыханием приспособленца, никогда не добаться под неусыпным наблюдением миллионов спокойных, пристальных глаз до вершин совет-

ско́й сла́вы. Правда, он формулировал для себя эту мысль несколько иначе. Но разве дело в формулировке?

7. Андрей Полозов в тупике

В раме широко открытого окна — лондонская гавань, сплошь затянутая густой паутиной корабельных мачт, за гаванью — гладь широкой реки, уходящей в море, в океан, в мир, в таинственные владения Ост-Индской компании. У окна два молодых джентльмена с энергическими лицами считают на счетах прибыли и убытки. На переднем плане комнаты — иной, сказочный мир английского буржуазного семейного благополучия начала прошлого века. Юные, стройные, голубоглазые жены, исполненные чудесной стыдливой грации; дети с игрушечными, фарфоровыми лицами, похожие на больших кукол, и куклы, похожие на маленьких детей; изящные, хрупкие шелковые диванчики, причудливые, тонконогие столики, статуэтки, флакончики, книжечки, коврики, ткани, кружева, — целое царство вещей и вещей, среди которых, словно цветы на сказочном лугу, цветут в лучах восходящего исторического солнца буржуазии все эти прекрасные человеческие создания.

С любовным волнением разглядывает Полозов эту случайно приобретенную у букиниста цветную гравюру Сердженца со старомодной надписью: «Плоды честной торговли и промышленной деятельности». Какая глубина и чистота быта! Какая мощь стремлений и какая ясность цели! Тюки индийского хлопка, мешки бразильского кофе и штабели североамериканского леса как бы на глазах преобразуются в утонченнейшие плоды человеческой культуры. Здесь, в лоне этих прекрасных буржуазных семей начала девятнадцатого века, зарождается вся великая цивилизация нашего времени. Эти кукольные дети, выпестованные своими милыми матерями, вскормленные обильным хлебом своих трудолюбивых отцов, выйдут со временем на широкое жизненное поприще; одни отправятся колонизировать далекие страны, другие займутся изысканием новых железнодорожных путей, третьи скромно склонятся над контро-

кой, четвертые — над микроскопом, в поисках новых, дешевых красящих веществ для окраски тканей. Сотни, тысячи, миллионы таких семей из поколения в поколение, не покладая рук, будут трудиться над созданием того великолепного, стального мира, который современное человечество противопоставляет старому, рыхлому, хаотическому миру природы.

Полозов устал от второсортной советской славы, от пятиэтажных домов, высоте которых дивятся одни провинциальные комсомольцы, от булыжных мостовых, от бесплодной игры ума, от бескорыстия, навязанного ему эпохой, от необходимости порочить и клясть западную цивилизацию, к которой рвется его сердце, от людей, одержимых пятилетней и сделавших построение социализма единственной своей профессией. Социализм, освобождение человечества, прыжок из царства необходимости в царство свободы! Он ни во что не ставит этот социализм, с которым обращаются запросто, который трактуют с какой-то кощунственной деловитостью и который будто бы уже присутствует, как золото в руде, во всех скучных, постылых делах и днях революции... Его холодный ум не воспринимает никаких идей, выходящих за пределы его непосредственной, эгоистической заинтересованности, если они густо не сдобрены декламацией. Он не мыслит пути к социализму как будничной труд, как ежедневное, ежечасное отречение от мелких своих интересов, этот путь освещен для него тревожным пламенем полыхающих зданий, оглашен величественным грохотом падающих колонн, вымощен патетическими речами вождей. Таково вообще отношение Полозова к так называемому общественному благу: он охотно передоверяет устройство всяких общечеловеческих дел таким силам, которые находятся вне его собственной личности и за пределами того отрезка времени, на который прилась его собственная жизнь. Андрей Полозов вообще может отлично обойтись без социализма, хотя и не отрицает того, что социализм — штука хорошая.

И вот линия его жизни неожиданно совпала с линией созидающего в труде и муках социализма. Революция ста-

ла его роком, его неотвратимой судьбой. Он приветливо улыбается этой страшной судьбе, но лицо его помимо воли кривится злой улыбкой: несчастный поденщик социалистической стройки, лукавый раб нового хозяина страны — пролетариата, он втайне клянет каждое свое усилие, отданное а с т о я щ е м у. Но у него, сверстника революции, нет ни своего личного прошлого, ни своего будущего, ни своих личных надежд, ни своих воспоминаний. Он живет надеждами и воспоминаниями своего класса. Ему чудится, что это его предок склонился над счетами у окна, раскрытого в широкий, бескрайний мир личного преуспевания и личного счастья. Ему чудится, что это прекрасное, белокурое дитя, в изящной позе инфанта склонившееся к своей матери и охваченное живописными складками ее пышного шелкового платья, — он сам, мирно покоящийся в недрах своего родного класса. Этот призрачный мир полустлевшей гравюры кажется ему сейчас куда более реальным, чем тот действительный мир, в который привела его роковая случайность рождения и которому он расточает в своих писаниях вынужденные восторги. Всем сердцем, всем существом своим ощущает он сейчас сокрушительный творческий пафос эпохи, когда молодая буржуазия впервые выходила на арену истории в качестве класса-водителя. Злополучный потомок, загнанный в тупик неотвратимым ходом истории, отданный на растерзание чужому, в р а ж д е б н о м у к л а с с у, он горестно взывает к своим предкам о помощи и поддержке. Что ему социализм? Что ему пролетариат? Что ему прыжок из царства необходимости в царство свободы? Что ему пятилетка в четыре года? Он никогда не перегрызет, никогда не насытится этим камнем всеобщего благополучия, преподнесенным ему эпохой вместо хлеба личного преуспевания. Иметь такую энергию, с которой можно до рая добраться, и потратить ее на то, чтобы приобрести себе сомнительную славу революционного журналиста и деятельного комсомольца где-то на задворках культурного мира!

Бедный советский Бенжамен Кон-

стан... Я тоже хочу иметь квартиру из пяти комнат! Я тоже хочу игры ума, не знающей границ и канонов! Я тоже хочу кстати сказанным едким замечанием свергать министров и уничтожать репутации! Я хочу иметь столько денег и столько славы, чтобы ни одно желание мое не оставалось неосуществленным! Я хочу, чтобы все мои силы без остатка были в работе, независимо от того, текут они на мельницу социализма или поворачивают вспять ее колесо!

Полозов отложил гравюру. Его тянуло на весеннюю улицу, ему хотелось дышать грозой и ветром, его душил воздух его жалкой советской комнатенки. В нем грохотала эмоциональная буря, неистовствовали вытесненные мысли и желания. Он готов сейчас ринуться в жизнь — в и н у ю жизнь — как свежий, сверкающий, крепко слаженный автомобиль, только-что сбежавший с конвейера. Эй, посторонитесь все вы, стоящие на его пути: пионеры, комсомольцы и коммунисты, рабочие и работники, крестьяне и крестьянки страны Советов! Дайте дорогу Андрею Полозову! Уберите все то, что вы успели понастроить за тринадцать лет революции! Разружьте до основания все свои фабрики и заводы, дворцы культуры и избы-читальни! Разберите по камушкам Днепрострой и Тракторострой! Покиньте свои новые дома и вернитесь на чердаки и в подвалы! Забудьте грамоту, которой обучила вас революция, и политический разум, который она вдохнула в вас. Забудьте о годах гражданской войны, о пролитой крови, о голоде, о лишениях, о всех неисчислимых бедах, которые претерпевали вы, лишь бы не поддаться врагу, лишь бы устоять в великой драке за освобождение человечества от власти генералов и купцов! Да только поворачивайтесь быстрее — Андрею Полозову не терпится, его молодость на исходе, его мечты накалились до предела, они прожигают насквозь его тонкую советскую оболочку, они вот-вот доведут его до того, что он крикнет прямо в лицо вам: дайте мне квартиру из трех комнат с ванной и газовой плитой, дайте мне свободу печати, дайте мне славу и деньги, много славы и много денег, дайте мне челове-

ство и освободите меня от реальных рабочих и крестьян, дайте мне парламент и собственную газету, дайте мне красивых, бездельных женщин и пижаму — несколько отличных парижских пижам из тонкого шелка! Дайте мне — или...

Или — что?

Ничего...

Эмоциональная буря затихала. Полозов замедлил свой шаг по весенней советской Москве. Неразрешенность душевного порыва томила его. Над ним раскинулось сумеречное, зеленоватое, прозрачное небо, чуть отягченное легким, тонким полумесяцем, выразительным, как советский герб, лишившийся молота по вине нерадивого плотника. Легкий морозец подкрахмалил воздух. Кресты последних колоколен, еще не поваленных безбожной эпохой, торопились сиять, угодливо подставляя лунному свету все свои грани. Молчали колокола, до боли прикусив медные языки. В первых звездах, зажегшихся в небе, не было ничего таинственного: бог был упразднен, и в мире остались одни лишь законы. Новая эпоха царила яко на небесах, тако и на земле.

— Да здравствует советский пантеизм... — с горькой улыбкой пробормотал Полозов.

В этот весенний вечер он бы ничуть не поразился, увидев в раскинувшемся над ним гигантском советском небе медленно проплывущий среди раскаленных добела созвездий лунный серп в обнимку в невиданном лунным молотом. Эпоха подавляла его, подминала под себя, пригибала к земле. Он окончательно утратил веру в то, что революция может и справиться. Он впервые постиг с непререкаемой четкостью, что новая эпоха несет в себе если не всегда явное, то все же полное и безусловное отрицание эпохи отошедшей. Что тот воздух, которым он единственно мог еще дышать на советской земле, убывает с каждым днем, разрежается, уносится в верхние слои атмосферы, где уже нет жизни, а только одно выживание, с трудом поддерживающее себя хлебом и водой и обреченное на быструю гибель. Мир еще никогда не являл Полозову такой серьезности и суровости. Мир не шел

ни на какие компромиссы. Он требовал от Полозова полного отречения от всех его прежних привычек, мыслей и желаний, внушенных ему его растленной классовой средой. Взамен он предлагал ему место в ряду борцов за самое высокое и прекрасное дело, какое только есть на земле. В ответ на это предложение в душе Полозова не шевельнулась ни одна клеточка, ни одно сомнение не возмутило ровной глади его холодного ума. Собственную газету и свободу печати для ничем не стесняемой игры ума! Квартиру из пяти комнат с ванной и газовой плитой! Пижаму из тонкого шелка, парламент, славу и деньги! — хмуро бормотал он про себя, сторожко оглядываясь на прохожих.

После этого вечера для Полозова наступила тяжелая пора. Каждая новая статья стоила ему страшных усилий. Прежде чем приступить к писанию, ему приходилось принимать разные возбуждающие средства, в роде статистических цифр об успехах пятилетки, отзывов авторитетных иностранцев о советском строительстве, описаний ужасов мировой войны, патетических стихотворений современных поэтов, газетных сообщений о росте колхозного движения. Такая предварительная подготовка к творческому акту, при наличии известной способности к самовнушению, создавала Полозову вполне советское настроение и позволяла ему по-прежнему оставаться на высоте его славы. Но лишь только статья была написана, наступала тягчайшая реакция, и мучительное ощущение уязвимости охватывало его с непреоборимой силой. Только сидя за рабочим столом, мог он теперь чувствовать себя в полной безопасности. Все остальное время он был почти безоружен, и любой, самый неискрушенный комсомолец мог заставить его врасплох и разоблачить. Весь мощный аппарат лжи, прикрывавшей его непроницаемой защитной оболочкой, растрясся, развинтился и грозил ежеминутно обнажить перед всеми его подлинное классовое лицо. Революционный поток иссяк, видимо, навсегда. Рабочие гипотезы и временные убеждения утратили для него всякую убедительность. Они служили ему верой и правдой до

тех пор, пока он подвигался к цели. Теперь цель была достигнута. Он взял у революции столько славы и столько житейских благ, сколько она могла дать ему. Больше ему не полагалось. Он исчерпал свою долю до дна. В погоне за бóльшим он мог только растерять те блага, которые уже успел захватить.

«Какой дурак будет трудиться ради прекрасных глаз социализма! — записывал Полозов в своем дневнике. — Ломать себя, сгибать в кольцо свою личность, расточать лживые восторги — и все для того лишь, чтобы получить раз навсегда установленный паек славы и житейских благ. Благодарю покорно! Миллионы лет ждала моя душа, чтобы выйти погулять на божий свет, — как сказал покойный писатель Василий Васильевич Розанов, — а я буду еще стеснять ее всяческим рогатками и кормить социалистическими пайками. Нет уж — лучше смерть... или бегство. Там, за далью непогоды, есть волшебная страна!»

Полозов стал теперь уже прямо избегать ребят. Ему нестерпимо трудно стало поддерживать разговор с ними, всегда бодрый и приподнятый. Его до жгучей ненависти раздражали их манеры, их шутки, их словечки. Он ввязывался иной раз в спор, чтобы как-нибудь утолить свое раздражение и высказывал при этом такие еретические мысли, что ребята только руками разводили. В испуге от своей неосторожности он тотчас же спохватывался, хитрил, извивался, превращал разговор в шутку, но какой-то нехороший осадок у ребят все же оставался. Страх перед разоблачением гнал Полозова домой, усаживал за рабочий стол и заставлял его силой выжимать из себя гневные революционные фразы, насыщенные благородной ненавистью и злым сарказмом. Полозов продолжал разоблачать. При помощи какого-то странного и трудного психологического выверта он ухитрялся всю силу своей ненависти против советской современности обращать против ее врагов. Сложный и опасный человек Андрей Полозов!

8. Полозов стремится за рубеж

Кто из читателей Андрея Полозова может постичь, что творится у него на

душе? Кому из читателей дано понять, что под раскаленной лавой его революционного красноречия протекает грязный ручеек своекорыстия? Никто и никому. Но разве можно упрекнуть за это читателей в недостатке пронизательности? Едва ли. Андрей Полозов — дитя класса, который все свое бытие — ежедневно и ежечасно — строит на лжи и обмане. Именно на этой основе создались те необычайно сложные и в сложности своей враждебные даже внутри этого класса отношения между людьми, которые нашли столь выпуклое отражение в мировой литературе XIX и XX столетий. Постоянная конкурентная борьба представителей буржуазии между собою, с одной стороны, с другой — еще более беспощадная борьба всего класса в целом против наседающего пролетариата, мощному напору которого также противопоставлялась не столько сила, сколько ложь и обман, привели в результате к выработке отвратительного человеческого типа, вместе и тонкого и грубого, изощренного и элементарного, умеющего для удовлетворения низкой своекорысти виртуозно пользоваться всем своим интеллектуально-эмоциональным аппаратом, вплоть до самых сокровенных его изгибов. Пролетарская революция, зажавшая буржуазию в стальные тиски, закрывшая ей всякую возможность для выхода ее классовой энергии, довела черты этого типа до страшной выразительности. Пролетариат еще недостаточно искушен в отвратительных тонкостях ремесла буржуазного приспособленца. Он строил всегда — и строит сейчас — свое бытие на основе труда и классовой солидарности. Ему негде было изощрить чуткость к этим сложнейшим человеческим продуктам эпохи распада классового общества. Но он успешно учится этому трудному искусству и с каждым днем приближается к овладению им.

Андрей Полозов стремится за рубеж. Он считает, что революция пошла по неправильному пути. Он не желает больше потакать ее диким затеям. Он шел с нею в ногу до той поры, пока ему казалось, что ее торжество способствует ко благу человечества. Теперь он изверился в этом окончательно и беспово-

ропно. Именно так, с совершенной серьезностью определяет для себя Андрей Полозов свое новое умонастроение. Именно в этом усматривает он причину своего разочарования в революции. Без всякого зазрения обкрадывает он героев своих произведений, перекраивает для себя их кузую идеологию, над которой вчера еще так едко потешался и будет потешаться впредь, пока о бе но ги его не перескочат барьера, отделяющего советскую землю от земли капиталистической.

Андрей Полозов задумался над раскрытым чемоданом. Не то, чтобы он уже собирался в путь - дорогу. Он знал, что это делается не столь уж легко и требует от такого человека, как он, продуманной и тонкой стратегии. Просто ему захотелось помечтать. Чемодан был дешевый, рыночный, не то из фибры, не то из фанеры, обклеенный внутри розовыми обоями с серебряными корабликами. Обои пахли свежим клеем и свежей краской, молодым счастьем и молодыми надеждами, счастливым мещанским браком и безоблачным раем свадебного путешествия.

Не так-то просто слопать Андрея Полозова! Он поедет за рубеж, он расскажет там в словах гневных и горьких обо всем, что ему пришлось пережить и перечувствовать за тринадцать лет революции. Это будет удивительная, потрясающая повесть о юноше, который в окружении врагов, под пристальным наблюдением миллионов глаз, облачившись в личину лжи и лицемерия, отстаивал свою личность и самую свою жизнь против развращающего воздействия вульгарной революционной идеологии и растленного революционного быта. Эта повесть будет его первым дебютом и положит начало его зарубежной славе. Здесь - то уж ему не будут поставлены никакие пределы и не будет отмерена раз навсегда мера славы и влияния. Он найдет такие слова об этом советском аде, которые не находил никто и никогда. Мир впервые узнает всю правду об этой чудовищной революции, противопоставившей себя тысячелетней культуре человечества и бросившей вызов самым заветным его идеалам. Он вырос вместе с революцией — ему ли не знать все ее слабости и по-

роки! Эта книга станет его 18-м Брюмера. Если ему пока не удалось стать литературным Наполеоном Реставрации, — он станет литературным Наполеоном Эмиграции...

Но тут, в разгаре этих пламенных мечтаний, Полозова вдруг резнуло по сердцу воспоминание о сделанных им разоблачениях. В его памяти возникли образы людей, погубленных его острым и патетическим пером; идеи и представления, навеки скомпрометированные его беспощадной аргументацией и сокрушительной иронией. Они предстали перед ним с выразительной силой кровавых призраков, являющихся убийце в ночной час. Вот глядит на него с кротким, мучительным упреком российский Бенжамен Констан. Вот горячими, гневными глазами глядит на него будущий депутат будущего парламента. Вот устремил на него слезящийся взор поблекших старческих глаз заслуженный дореволюционный писатель. Вот попутчик, левый попутчик, столь несправедливо оклеветанный им — ведь в отношении его он оказался значительно левее самих большевиков! А вот и бюрократизм, славный российский бюрократизм, верный и неизменный пособник контрреволюции!

Полозову стало страшно. Он почувствовал себя загнанным в какой-то темный угол жизни, в какую-то безвыходную щель между революцией и контрреволюцией. Разве простят ему там его грехи? Бенжамен Констан, будущий депутат, престарелый писатель, а может, и сам левый попутчик явятся за рубеж и станут свидетельствовать против него. Оскорбленные и поруганные, они найдут слова более убедительные, чем он, и жесты более сильные и красноречивые. Слово обвинения всегда действует на людей сильнее, чем слово защиты. Его заклеймят кличкой предателя. Он будет скитаться по градам и весям Европы одинокий, бездомный, всеми презираемый. На него будут указывать пальцем: вот Иуда, предавший интересы своего класса за тридцать серебрянников советской славы и советского хлеба!

— Итак, — решил Полозов на исходе охватившего его отчаяния, — этот литературный жанр — повесть о

добродетельном буржуазном юноше, спасающемся от козней пролетарской революции — для данных обстоятельств не подходит. Здесь нужен иной жанр — пока янная речь блудного сына, возвратившегося после бурных скитаний в лоно своего родного класса.

Покаянная речь Андрея Полозова

Мне было одиннадцать лет, когда разразилась Октябрьская революция. Мне было семнадцать, когда я вступил в комсомол. Теперь я знаю, что жизненная энергия не безлична, что она имеет цвет и запах. Я знаю, что те, будто бы слепые, силы, которые формировали мою личность в лоно моей семьи и моего окружения, имели определенное направление. Я был как бы от самого рождения своего предназначен к тому, чтобы жить и творить в обществе, основанном на частной собственности и на свободной игре борющихся между собою сил. Я знаю это теперь, но не знал прежде. Когда под окнами моего отроческого бытия проходила красноармейская рота и гремел военный оркестр, мое сердце пронзала неумная жажда военной славы. Тяжелая поступь красноармейской конницы повергала меня в подлинный экстаз, какой, верно, испытывали некогда недозревшие до военной службы юноши наполеоновской эпохи при виде возвращавшейся из победных походов доблестной кавалерии. Но я понапрасну тратил свои душевные силы. Красная армия вовсе не за славой отправлялась в поход. Красная армия шла в поход, чтобы раз навсегда убить самую возможность подобной славы. Но тогда я еще не понимал этого и мысленно благословлял ее поход и в сердце своем шел за нею следом. Это было явное недоразумение, которое разъяснилось мне много лет спустя. Дело тут конечно не в одной Красной армии. Так воспринимал я всю советскую действительность. В пионерском отряде мне много говорили о Ленине, о борьбе классов, об империализме, — и мне доставляло удовольствие даже перед самим собой

делать вид, что я люблю Ленина, ненавижу империалистов и готов сражаться в одном ряду с пролетариатом. На самом-то деле я любил не Ленина, ненавидел не империалистов, — где-то в самой глубине души я любил и ненавидел все то, что любят и ненавидят дети моего родного класса. Моя «любовь» к Ленину и моя «ненависть» к империализму — это то психологическое явление, которое наука обозначает термином перенесения. Эти перенесенные чувства не могли, естественно, проникать особенно глубоко: в отличие от своих сверстников я как представитель другого класса обладал своего рода иммунитетом против внушавшихся нам разрушительных идей и концепций. Все это я также понял значительно позднее, а пока что силою вещей во мне формировалась некая призрачная советская личность. Призрачная, ибо она никак не была связана с основными движущими силами моего я. Советская действительность лишь навешивала свои ярлыки на мои подлинные, глубинные симпатии и представления. Советская действительность только давала мне слова, в которые я вкладывал свой собственный смысл, что отнюдь не мешало мне оперировать ими совершенно свободно и вразумительно. По сути дела я в Красной армии ценил доблесть, в империализме я «ненавидел» внешнего врага моей родины, в контрреволюции — внутреннего врага. Пребывание в пионерском отряде представлялось мне лишь невинным и веселым развлечением, вполне отвечавшим моим прирожденным потребностям в физической опрятности, в товариществе, в четком распределении времени, в разумном труде и в разумном отдыхе. Пионерский галстук я носил как форму — и как форму я его глубоко уважал и даже порицал своих товарищей за небрежное с ним обращение. Я почитал во жатого не столько за старшинство, сколько за то, что он сумел пробраться в первый ряд пионерской иерархии. Да и вообще, весь путь от октябренька до коммуниста и далее до вождя представлялся мне длин-

ной и трудной иерархической лестницей, до вершины которой на основе свободной конкуренции добиваются лишь наиболее ловкие, выдержанные и приспособленные. Советский мир простирался передо мною как обширное, бескрайнее поприще для житейской карьеры. Мне не надо разъяснять вам, что под житейской карьерой я разумею не одно лишь приобретение материальных ценностей, а понятие более высокое. Среди бессмертных образов, которые витали перед моим отроческим воображением, я могу назвать Вашингтона, Наполеона, Гарибальди, Сесия Родса, маршала Фоша... И вот, имея, как говорят в Советской России, в активе своего воображения великого и беспощадного колонизатора Сесия Родса, я в качестве пионера был всегда готов выступить с оружием в руках против его последователей и учеников. Странное это было состояние. Весь советский словесный материал, не оформленный в мировоззрение, ни даже в некоторую систему идей, с трудом сдерживал напор моей подлинной личности, которая чем дальше тем с большей силой стремилась найти для выражения себя свой собственный язык. Это было бессознательное стремление. Классовая сущность моя стремительно выпирала и готова была уже прорвать словесную паутину: мне не раз приходилось высказывать своим сверстникам мысли, заставлявшие их недоуменно пожимать плечами. Пионеры, у которых молоко на губах не обсохло, позволяли себе попрекать меня контрреволюцией, буржуазным происхождением и прочими смертными грехами. Это заставило меня настояжиться. Я стал понимать, что слова к чему-то обязывают, что они имеют какое-то житейское соответствие, что ненависть к империализму и любовь к Ленину могут быть настоящими и сильными чувствами, толкающими людей на поступки.

И вот, я — в комсомоле. Суровый, жестокий дух диктатуры пролетариата, чуть ощутимый в пионерской организации, здесь уже ца-

рит полновластно. Но и я уже не тот, что был раньше. Я знаю цену словам. Я прикрываюсь ими, как еж иглами. Я говорю на языке революции без малейшего акцента. Я ни на мгновение не теряю чувства меры и не выхожу из пределов установленного канона. Правда, иной раз я позволяю себе некоторую игривость, но и тут присутствует все тот же холодный и спокойный расчет. Да что говорить: все вы читали мои статьи и потому отлично знаете силу моей тогдашней непроницаемости. Разве могло притти вам на ум, что человек, пишущий такие статьи, принадлежит к вашему классу и предан вам душой и телом?

Как пришел я к этому? Об этом долго говорить. Скажу лишь, что те усилия, которые я потратил на то, чтобы стать вполне своим человеком в среде чуждого и враждебного мне класса, при других обстоятельствах давно привели бы меня на путь настоящей, блистательной карьеры.

Должен признаться: я имел наивность думать, что при моих выдающихся способностях, при той виртуозности, с какой я оперировал всем советским словесным материалом, я смогу сделать достойную меня карьеру и в этой чуждой мне среде. Я специально тренировал свой ум и свой характер в этом направлении. Ум мне удалось перевоспитать, переломить, но характер поддавался тренировке с большим трудом. Это и было главной причиной, побудившей меня избрать именно литературную карьеру и совершенно отказаться от всякой общественной деятельности или политической работы. В царстве слов я чувствовал себя уверенно и спокойно. В царстве жестов я быстро утрачивал правильную ориентировку. Словами я умел отлично маскировать свое отношение к революции, жесты изобличали его. В конце концов, я вероятно справился бы и с жестами, но чего ради было мне идти по линии наибольшего сопротивления?

Была еще одна причина, которая толкала меня на то, чтобы строить

карьеру при помощи одних лишь слов. Такая карьера не налагала на меня никакой ответственности перед грядущей реставрацией. Приди она, — думал я, — и вся словесная шелуха сползет с меня мгновенно и неудержимо! Юноши родного моего класса вместе со мною будут смеяться над тем, как ловко надувал я большевиков и как умело валял дурака!

Но я просчитался. Всякое человеческое действие имеет еще и свою собственную логику, помимо той, которую сообщает ей сознание. Инстинкт самосохранения, логика самозащиты увлекли меня дальше, чем я рассчитывал пойти. В тот миг, когда отвлеченная словесная игра перестала защищать меня, когда мне стало грозить разоблачение, я был поставлен в необходимость дать революции более ощутительные доказательства своей преданности. Надо сказать, что к этому времени моя советская личность уже не была столь прозрачной, как в начале, и успела обрести известную плотность. Это было необходимо. Строить жизнь на одном лишь голом расчете в мои годы невозможно. Я научился создавать себе некоторые временные иллюзии, которые и являлись как бы душой этой моей советской личности. Когда я впервые явился в Москву завоевывать себе место в жизни, я верил в основные заповеди коммунистического евангелия. Разумеется, это была условная вера. Даже не вера. Это был просто весьма распространенный психологический феномен, известный каждому из его повседневного душевного обихода. Человек с той или иной целью, с тем или иным более или менее длительным расчетом сознательно суживает свой кругозор, фиксирует внимание на известной точке, задерживает себя на какой-либо мысли или ощущении. Создается некая временная, портативная личность, специально приспособленная для боя и в достаточной мере прочная и эластичная. Такая искусственная личность может существовать, творить и бороться многие годы, совер-

шенно ничем не выделяясь из ряда, так сказать, естественных личностей. Вот в таком именно смысле и следует понимать механику того, что я назвал своей советской личностью, а равно и упомянутую мою веру в коммунизм. Должен прибавить еще, что подобная искусственная личность, при некоторой способности к самовнушению, может пустить довольно глубокие корни и в подсознание. Правда она и там останется как бы изолированной: создается нечто в роде искусственного подсознания. В применении к данному частному случаю — в отношении к моей советской личности — подобный психологический феномен, особенно в первые месяцы по прибытии моем в Москву, не раз имел место: за авангардом своего советского сознания я уверенно и спокойно ощущал тогда присутствие мощных резервов советского подсознания.

И все же: эта моя советская личность на всем своем протяжении, как погруженная в тьму подсознания, так и торчащая на свету, всегда ощущалась моим подлинным, классовым Я как инородное тело.

Все это я говорю для того, чтобы указать вам, живущим в совершенно иных социально-бытовых условиях, на те огромные психические издержки, которые в советских условиях волей-неволей должен нести человек, решившийся вступить на торный путь делания карьеры. Как видите, нелегка была моя доля, и прежде чем заклеить меня позором, прежде чем бросить в меня камень, остановитесь и подумайте: ведь ни разу, ни единого разу не шевельнулось в душе моей ни единого искреннего движения навстречу тому делу, которое творится сейчас на оставленной мною родине! Ни разу не позволил я себе увлечься их реконструкцией, индустриализацией, коллективизацией и бог еще знает чем! Эти слова до сих пор рождают во мне только чувства злости и раздражения. Знайте и помните: как бы ни были сложны и запутаны

мои отношения с четвертым словом, как бы далеко ни заходил я в своей подневольной и игре, какими бы непререкаемыми ни казались вам собранные против меня улики, какой бы горечью ни звучали жалобы моих жертв, как бы высоко ни превозносили меня в свое время общие наши враги, я никогда не позволяю себе выходить за пределы заветного круга приспособления. Каюсь, я очертил для себя слишком широкий круг. Но не судите меня строго. Я молод, а молодости свойственно увлекаться.

И затем — самое главное: разве не принес я, в конечном счете, своей работой в Советской России нашему делу больше пользы, чем вреда?

Я дискредитировал советскую революционную фразеологию. Я профанировал все советские революционные чувства: гнев, сарказм, насмешку, ненависть, любовь, умиление...

На этом месте Полозов вынужден был прервать свою покающую речь: почтальон принес ему повестку с приглашением явиться на другой день к видному товарищу для объяснений. Полозову было непонятно — для каких объяснений, но настроение его было испорчено, и покающая речь по крайней мере на этот раз продолжения не возымела...

9. Падение Андрея Полозова

Падение Полозова, как всякое падение, было стремительно и страшно. Мало того, оно было случайно и нелепо. Полозова погубила простая неосторожность. Жизнь не дала ему даже того утешения, на которое она, вообще говоря, в нашу эпоху широкого распространения социологических знаний достаточно щедра: сознания неотвратимой закономерности его гибели.

Полозов несомненно преувеличивал, полагая, что исчерпал до дна свою долю советской славы. При его бесспорной одаренности и остроте ума он и с коротким дыханием приспособленца мог добраться если и не

до самых вершин советской славы, то все же до высот изрядных. Надо думать, что непосредственно на литературном поприще его еще не скоро ждала катастрофа разоблачения, и что лавровому венку советской славы суждено было еще многие годы увенчивать его чело. Да и вообще заниматься предсказаниями в этой области, где все зависит от случая, — дело совершенно бесплодное.

Полозов погиб в самом расцвете своей литературной карьеры, еще далеко не исчерпав всех возможностей столь отлично усвоенной им техники приспособления. Только излишней мнительностью, развивающейся у людей, живущих под гнетом постоянной опасности разоблачения, можно объяснить сделанный им поспешный вывод о необходимости кончать игру. Ведь он и на этот раз правильно нащупал опасность, угрожавшую ему на новом, разоблачительном этапе его литературной деятельности. Опасность эта состояла в чрезмерном резонансе, который грозило обрести его слово. Фальшивый звук получал слишком гулкое эхо. Нащупав опасность, Полозову следовало снова поразмыслить над своей советской судьбой, как-то перестроиться, вступить в какие-то новые отношения с эпохой. У нас нет никаких оснований полагать, что Полозов, справившись со своим минутным испугом, не поступил бы именно так. Наоборот, мы почти убеждены, что он, за отсутствием более подходящей для него пищи, еще долгое время продолжал бы питаться скромными яствами со стола советской славы. Ибо кто возьмет на себя указать предел победоносному шествию молодого, энергичного и талантливого приспособленца?

Но Полозова, как сказано, погубила неосторожность.

Вместе с рукописью своей новой статьи «Новые люди новой эпохи», посвященной социалистическому соревнованию, он по недосмотру передал редактору несколько листов своих заветных «Записок». Прочитав статью и заветные листки, недоумевающий редактор направил весь материал видному

товарищу. Судьба Полозова была решена.

«Эпоху творит вот эта мозолистая рука, лежащая на рычаге машины! — читал видный товарищ. — История покорно просовывает свою голову в ярмо, приуготовленное ей самым передовым и прогрессивным классом современного человечества. Обузданная стихия впрягается в колесницу человеческого счастья. Вперед — к новому, социалистическому обществу, к новой жизни, к новой этике! Вот он, прообраз нового быта: буржуазной конкуренции пришло на смену пролетарское соревнование, ожесточенной борьбе за место под солнцем — не менее ожесточенная, но лишенная всяческой корысти борьба за социализм, за бесклассовое общество, за свободный труд, за нового человека. Я брожу по гигантским корпусам завода — и сердце мое преисполняется гордостью и восторгом при виде...»

Видный товарищ не дочитал, при виде чего сердце Полозова преисполняется гордостью и восторгом, ибо взгляд его упал на сакраментальный полозовский листок, густо очерченный красным карандашом редактора. При чтении этого листка губы видного товарища сами собою сложились в гримасу, выражавшую высшую степень отвращения:

«А о соцсоревновании напишу обязательно. Надо будет утереть им нос и по этой части: пусть знают, что нет такой области, в которой они имели бы преимущество перед Полозовым, даже если это преимущество носит, так сказать, органический характер и обусловлено «социальным происхождением». Надо будет обязательно забраться на день-два на какой-нибудь завод, приглядеться, принюхать, что это за соцсоревнование такое — да и писануть.

Видный товарищ к статье «Новые люди новой эпохи» уже не возвращался, но зато внимательно проштудировал все полозовские листки. На следующий день он вызвал Полозова к себе и голосом, полным таинственности, каким говорят с людьми, которым собираются поручить весьма ответственное и секретное дело, спросил его, согласен ли он послужить делу социализма. Польщенный доверием, Полозов вы-

разил как бы даже восторженное согласие. Тогда видный товарищ отчетливо и громко прочитал ему следующую цитату из его «Записок»:

«Какой дурак будет трудиться ради прекрасных глаз социализма! Ломать себя, сгибать в кольцо свою личность, расточать лживые восторги — и все для того лишь, чтобы получать раз навсегда установленный паек славы и житейских благ. Благодарю покорно! Миллионы лет ждала моя душа, чтобы выйти погулять на божий свет, — как сказал покойный писатель Василий Васильевич Розанов, — а я еще буду стеснять ее всяческими рогатками и кормить социалистическими пайками. Нет уж — лучшая смерть... или бегство... Там, за далью непогоды, есть волшебная страна!..»

Полозов с большой и неприятной страстностью отрицал какую бы то ни было свою причастность к предъявленным ему лисгочкам.

— Ей богу, — уверял он, — я сам поражаюсь, как могли эти листки попасть в мою рукопись. Хотя нет, стойте! — будто бы спохватывался он. — Уж не оставил ли их прежний жилец моей комнаты?.. Или, может, в редакции кто-нибудь?..

Видный товарищ молчал, изнемогая от отвращения.

Полозов продолжал отрицать свое авторство даже после того, как экспертиза удостоверила, что листки написаны его рукой.

— Ей богу, — уверял он, — я сам поражаюсь...

10. Авторская сентенция

Полозов стал жертвой собственной неосторожности. Но автор отнюдь не считает такой конец повествования органичным. Более того: у него даже нет уверенности, что органичный конец мог бы вообще увенчать обрисованную им ситуацию. Поэтому — то, несмотря на некоторую формальную новизну своего произведения, автор, увлекаемый естественной человеческой склонностью, нашел нужным соблюсти одну старую литературную традицию, весьма трудно искоренимую: у него не было иного способа наказать порок.

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

24

Гости давно уехали. Невыспавшаяся Нинет Барбош принесла крепкого кофе в неубранную столовую со следами ночного безобразия, открыла жалюзи. Утро было сырое. Под горой, за деревьями, поднимались ленивые дымки Севра. Неохотно чирикали воробьи. Густая роса лежала на измятой траве, с липовых листьев медленно капала с листа на лист.

Хаджет Лаше в свободно опущенных кавалерийских штанах и в туфлях стоял у окна, почесывая волосатую грудь. За ночь у него отросла сизая щетина, лицо помято, но усталости он не чувствовал, — раздутые ноздри его с наслаждением втягивали запахи серенького утра, глаза блестели настороженно. Не присаживаясь, отхлебывал черный кофе, возвращаясь к окну, тихо прищелкивал языком.

Когда Александр Левант, в пижаме и в туфлях, принес сверху портфель и, присев у стола, сжал виски, — «Фу чорт, как трещит голова», — Хаджет Лаше сказал с оттенком изысканной меланхолии:

— Только во Франции может так восхитительно пахнуть утро. Всюду человек приносит за собой отвратительные запахи, но здесь даже дым из каминов пахнет сладким воспоминанием.

— Зависит от пищи, ничего особенного, — с неохотой ответил Левант.

— Мне сорок семь лет, как жалко, как

жалко... (Хаджет задвигал бровями, морщил лоб и казалось, его лицо с мясистым носом и жирными скулами — маска, и вот вот он сдерет ее)... Все чаще думаю — а не надо ли было всем пренебречь, все страсти принести на алтарь... Ах! (Вернулся к окну). Как ничтожны, мелки, банальны все эти писателишки с мировыми именами... Хотя бы один из них дал мне ощущение вот такого утра... Прислушайся, — женщины открывают ставни, метут пороги жилищ... Какой древний запах очага, масла, овощей... А чириканье нахохлившихся пичужек... А шорох капель... Ведь это мировой оркестр.

Левант взглянул на его несоразмерно плотный, широкий загривок, хотел было сказать, что «будет уж ломаться, не перед кем», но промолчал.

— Бывают минуты, Александр, когда я чувствую, что мог бы, мог бы... Жаль и больно такой аппарат (коснулся пальцем лба) отдавать грязной работе... (Левант опять изумленно взглянул на егодвигающуюся маску)... Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях, воспоминаниях, ставших плотью души... Ты меня понял? Нет?... Есть воспоминания, живущие не связано с нами, отдельно, как пепел страстей, тень событий. Разбуженные, они в лучшем случае вызывают у нас улыбку меланхолии. Но есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу... Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков... Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках, —

¹) См. «Новый мир» кн.кн. 1, 2, 3 и 4 с.

рождается чудо искусства... Впечатление от него значительно ярче, чем даже то, что послужило материалом для его создания... Ты понимаешь меня? Я ношу в себе силы для такого искусства, Александр... Сорок семь лет! Право, брошу-ка все наши авантюры, поселюсь в Париже, в уединении, в мансарде, под небом, возьмусь за перо.

— Ты что это серьезно? — с тревогой спросил Левант.

— А хотя бы и серьезно.

— То-то, а то я уж...

Левант, усмехнувшись, налил себе коньяку. Каждый раз этот человек-дьявол дурачил его, как маленького... Интересно, какой ход он делает сейчас этим разговором. Левант не верил, разумеется, ни одному его слову, но замыслов его до конца понять никогда не мог. Одно можно было предположить, что он боится, как бы Левант не почувствовал в чем-то над ним превосходства, и заранее уходит в лазейку... «Эге, — подумал Левант, — да не плохи ли его дела в Стокгольме? То-то он так быстро прикатил по телеграфному вызову».

— Ну что ж, — сказал, — сорвем куртаж с Монташева и Чермоева, сотняжки две тысяч нам перепадет, марай себе на здоровье бумагу, мансарду тебе подыщу... Мне тоже надоели наши-то авантюры, тревог много, ночи не спишь, а где они, эти миллионы? Я тоже, пожалуй, от дел отойду, право, ей-богу.

Хаджет Лаше рассмеялся, подошел к столу и похлопал Леванта ладонью по шее так, что у того отдалось в ушах:

— Не старайся, Александр, меня не перехитришь. Мои дела далеко не плохи, далеко не так плохи. Видишь ли, в жизни нужно делать время от времени крутые повороты, — руль направо, руль налево, но всегда вперед... А, кроме того, только то делать — к чему влечет страсть...

Он отомкнул ключиком замок портфеля и осторожно вынул пачку писем и фотографий. Освободил от грязной посуды место на столе, присел:

— Теперь слушай внимательно... Завтра ты выедешь в Лондон с Нальмовым. Я с вами не поеду, — на это есть причины. Я навел о нем справки, в военном министерстве и в Интелиженс

Сервис сведения благоприятны. Сегодня же закажешь ему приличные визитные карточки. Он одет? Нужны визитка и фрак.

— Достанем...

— Будет лучше, если вы встретитесь с самим Детердингом, но можно взять в оборот и секретаря. Разговаривать конечно должен Нальмов. Пусть начнет с борьбы за Петроград — это ключ ко всей России. Колчак и Деникин отрывают большевиков от угля, хлеба, нефти, моря и так далее, но смертельный удар им наносит генерал Юденич. Понятно? Затем вы начинаете козырять мной... Я — ближайший друг, советник и помощник генерала Юденича. Это герой и военный гений... (Левант изумленно заморгал). Я организовал в Стокгольме политический центр из европейских дипломатов и журналистов для моральной поддержки северо-западной армии. Наш центр связан с Парижем... Нальмов может показать невзначай вот эти фотографии.

Надев роговое пенсне, Хаджет Лаше отобрал из пачки два снимка. На одном действительно были сняты спускающиеся с какой-то лестницы (видимо к автомобилю) Хаджет Лаше, в черкеске, при кинжале, улыбающийся на ходу, и на шаг позади низенький, плотный, с висячими усами, хмуро скосившийся из-под огромного козырька фуражки генерал Юденич. На другой фотографии — Хаджет Лаше (широко улыбающийся) у подъезда гостиницы, среди каких-то разноплеменных молодых людей в мягких шляпах и дорожных пальто, — все они также смеялись чему-то перед объективом.

— Достоверные фотографии? — спросил Левант.

— Идиот, они же были напечатаны в журнале. Затем — четыре письма генерала Юденича ко мне. Это, как ты и сам понимаешь, липа, но первоклассная, — отдам на любую экспертизу... Работа моего нового помощника, концертмейстера Маринского театра Анжелины. Теперь впрочем его фамилия Эттингер. Бежал из Петрограда по льду, на буере, под обстрелом. Я подобрал его в Гельсингфорсе, — у него даже не было скрипки, ходил по кафе и показывал фокусы, между прочим разувал ногу,

захватывал ею каким-то образом карандаш и писал справа налево любой автограф, копировал мгновенно... Клад, а не человек.

— У тебя широкие планы?

— Как всегда... (Хаджет самонадеянно усмехнулся). Если бы мне на этот раз по-настоящему повезло... Ого! с моими планами... Я пасынок счастья, Александр, я его беру... Обидно, кому-нибудь болвану и бездельнику Монташеву везет, — принц... Мы же вот сидим, ломаем голову как его обогатить. А попадись он мне.. Да, друг мой, деньги — живые существа, от рождения нужно быть вымазанным каким-то медом... А впрочем — я слишком артист. Меня больше увлекает сама игра, чем ее результаты. Я бы с Монташевым не поменялся.

— Ну уж это ты заливай кому-нибудь другому.

— Друг мой, — со спокойной ясностью сказал Хаджет Лаше, — ты настолько сложившийся тип бандита, притом мелкого и унылого, тебе непонятны взрывы фантазии. Ладно, к делу. Очень важно: первое, что подумает Детердинг после ваших объяснений, это — что вы дешевые авантюристы, какие являются к нему сотнями. Налымов должен блестяще опровергнуть малейшее подозрение. (Он вынул из портфеля еще два письма и пачку газет — стокгольмское «Эхо России»). Вот письмо в редакцию, — полномочия для сбора денег на издание «Эхо России», — отчаянный вопль о помощи ко всей культурной Европе, подписи двух великих князей и, как видишь, еще около сотни: сенаторы, графы, бароны, фрейлины и прочие. Убедительно, как выстрел в лоб, и безопасно, — здесь одни покойники... Теперь понятно, почему вы, не имея никакого касательства к нефти, хлопчете о продаже нефтяных земель: вы договорились с Монташевым и Чермоевым о куртаже в пользу «Эхо России». Затем вы ничего не знаете о предполагаемом походе четырнадцати держав на Россию, это — тайная карта самого Детердинга, не обнаруживайте ее, говорите только о победе Юденича, — это арифметика. Ты понял меня? Следующий деликатный пункт: Детердинг несомненно подумает: «Эге, если эти парни так

верят в белых, зачем торопятся с продажей». Вы должны его слегка испугать. Вот письмо к Юденичу от петроградской группы нефтяников, они ссылаются на тайные переговоры с представителем «Стандарт ойл», но американцы предлагают слишком невыгодные условия.

Левант внимательно прочел письма, сделал пометки в записной книжке:

— Кажется, все в порядке. Вечером возьму Налымова в оборот. Теперь — какие твои распоряжения насчет дач?

— Ликвидировать. Через неделю девки и Налымов должны выехать в Стокгольм.

— Налымов нужен здесь.

— Он будет прилетать аэропланом.

— Хотя бы приблизительно можешь ты посвятить меня в стокгольмские планы, Хаджет? Ты как будто не доверяешь.

— Там, где дело соприкасается с Интелиженс Сервис и с Сюртэ, нужно захлопнуть рот плотно.

— Значит я остаюсь в Париже?

— В Стокгольме мне нужны только аристократы, люди порядочные, со звонкими фамилиями. Жулья и бандитов и там довольно.

— Ну, ладно... Я когда-нибудь обижусь, Хаджет... Теперь объясни — почему ты так мало придаешь значения нефтяному делу?.. По-моему, это...

— Двух таких дураков, как Чермоев и Монташев, тебе вряд ли еще придется подколоть. Афера случайная. Нефтяники сами узнают дорогу к Детердингу.

— Да, ты прав конечно... Кажется, все выяснили. Идем, заснем на часок.

Наверху, у запертой двери в комнату Веры Юрьевны, Хаджет остановился, подманил пальцем Леванта, и вся ухмыляющаяся, зубастая маска его заходила ходуном.

— Эта длинная, красивая женщина, как ее... Вера...

— Ну да, Хаджет, это та самая, константинопольская.

— Вот память, подумай. Ну конечно княгиня... Очень хорошо, очень кстати.

Ламанш был безоблачен, все же небольшой пароход качало подводной

зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в голубоватой мгле, под низким солнцем, виднелись обрывы, дымы, очертания острых крыш, мачт, парусов, — Англия...

Левант и Налымов, разговаривая вполголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе. Василий Алексеевич был трезв, одет элегантно, в петлице серого костюма краснела розетка Легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден не липовый (пожалован Налымову в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса). От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодущие. Положил руку на колени Василия Алексеевича:

— Вот что значит — аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явились к Фукецу, — смотрю, жулик или собиратель окурков. Знаете, жалко, мы с вами раньше не встречались.

— Если б встретились в Петрограде, велел бы лакею вывести вас вон, — ответил Налымов, щурясь на закатное солнце, — а встретились на фронте — наверно велел бы вас повесить...

Левант покосился на него, — громко, искренне рассмеялся. Закурили сигары. Мимо кресел прошли румяный старик с прямыми, пушистыми усами, в шотландском пледе на плечах, и длинный англичанин, державший за шнурок помятую и слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил (по-английски):

— Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят истинных масштабов. Историческая наука вводит поправку в оценку современников. Потребности минуты вырастают у них чуть ли не в мировые задачи, — весь хаос вожделения, нищеты и голода, мщенья, неутоленных физиологических потребностей они обрушивают на задачи подлинного исторического развития.

— Так, так, — коротко кивая шляпой, подтверждал англичанин, и острый, приподнятый нос его глядел за английский берег, в туманную даль.

— Революция создает контрреволюцию, обе силы вступают в борьбу. Оставим на время моральную оценку

того и другого явления. Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела страдания и лишений. Революция опрокидывает причину, — в этом ее задача. Но никогда и нигде революция сама как таковая не была творящей силой. Мирабо, Дантон, Робеспьер опрокидывали. Но цивилизацию девятнадцатого века построила глубоко враждебная революция, хотя ею же порожденная буржуазия.

— Так, так, — кивала шляпа англичанина.

— Революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда обветшавший социальный строй не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению. Контрреволюция возникает как амплитуда той же волны, двигающейся по кривой синусоиды. Оставим и тут моральную оценку в стороне. В контрреволюции группируются таким образом силы, полярные анархии, мщенью, неудовлетворенности и так далее, группируется все не биологическое, все духовное, — весь порядок, все интеллектуальные силы, государственная идея и так далее.

— Так, так...

— Но если контрреволюция — только амплитуда революции, нижний отрезок синусоиды, — там — хочу, здесь — не позволяю, там — возьму, здесь — не даю, — такая контрреволюция так же порочна, биологична, как и верхняя часть волны, она неминуемо тот же хаос. Эту картину вы как раз и наблюдали у Деникина.

— Так...

— Я утверждаю, это неизбежное, но временное явление. Мы же предпослали контрреволюции скопление государственного мыслящих элементов. Мы должны, мы не можем не верить в творческую силу разума, верховного добра и вечно-го стремления человека к устройству высших форм, то-есть цивилизации.

— Так, так.

— Может и должен наступить момент, когда силы разума овладеют биологией контрреволюции, тогда они превратят ее в творческую силу. По закону движения волны кривая контрреволюции взлетает наверх. Кривая революции падает вниз, где анархические начала

неизбежно и разрушают ее. И так, как же мой вывод? контрреволюция, или белое движение Деникина, Колчака и Юденича, — на стадии биологии, оно должно быть наконец подкреплено творческим, государственно историческим разумом. Откуда взять его? Мистер Вильям, вы приехали с юга России морально разбитым человеком. Вы видели растление и ужас, грязь, погромы, бесовственную спекуляцию, пьяную злобу и только. Вы, любящий и знающий Россию, были потрясены, — куда же подевался русский гений, породивший Петра Великого, Пушкина, Достоевского, Льва Толстого. Вы видели одни лишь разнузданные орды гуннов.

— Так, так, так, — торопливо закивала шляпа.

— Мистер Вильям, откуда нам взять организующую волю, высшую моральную силу? Каким реактивом вызвать к жизни это? Спасение, мистер Вильям, как и всегда было в России, — в тех же варягах. Мы должны призвать варягов на белую сторону, и когда они окуют нас суровыми латами порядка, — у нас проснутся дремлющие силы духа. А варяги, как известно, народ мореплавательный, отсюда — делайте мозаичное. Да, революция и мне дала несколько хороших уроков. Помню — когда стотысячная толпа бесновалась внизу, на площади, и я говорил им о том, что первая воля революции — открыть Черное море, утвердить русское знамя в Дарданеллах и на Софии, в меня полетели камни, матросы с прижнутыми штыками бросились к дверям Марининского дворца, — тогда сломалась моя вера в исторический разум масс, не желавших понять моего нетерпения, тогда я понял неизбежность русской трагедии.

Он говорил звонким, молодым голосом. Ветер (от движения судна) трепал его пушистые усы. Налымов, не сводя глаз, с тяжелой незаистью глядел на старика. Над водой низко пролетел гидроплан, серебряная гондола блеснула закатным солнцем. Дымы близкого порта, не разнородные ветром, затягивали закат. Старик и англичанин, смеясь о чем-то уже повседневном, пошли по палубе. Левант спросил Налымов:

— Кто этот говорун?

— Чорт его знает, — проворчал Налымов, — лицо его где-то видел. Сволочь, интеллигент.

— А верно — знакомое лицо. Не профессор ли Милюков?

— Всем им пулю в затылок.

На пристани не оказалось ни насильщиков, ни такси. Англичанин в измятой шляпе объяснил кучке пассажиров, что все будет устроено, пускай не волнуются, и ушел с кем-то объясняться. Те, у кого был легкий багаж, отправились пешком на вокзал. Англичанин не появлялся, ничто не устраивалось. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи чемоданы, приобретенные для представительства.

На вокзале тоже не было носильщиков. Бормоча левантийские проклятья, Левант ввалился наконец в бархатное купе: — Видели что-нибудь подобное, это — Англия! С ума они сошли.

Затем вагон начало толкать взад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции, у него дрожали губы. Левант в бешенстве высунулся в окошко:

— Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, чорт вас возьми. (Начальник что-то извинительно пробормотал). Одним словом, потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно...

— Да сядьте вы, левантинец, — с досадой сказал Налымов.

Наконец тронулись. Полетели кирпичные дома, парки, огороженные зеленые поля, ручьи, островерхние церковки, фермы, опять поля с вековыми дубами.

Сидели молча, курили. Левант с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова.

— Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Ой-ой-ой, вас посадить губернатором в военное время где-нибудь в Малой Азии, ой-ой что бы вы натворили. Между нами, вешать вам приходилось? (У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа). Большой артист, честное слово. Я в вас не ошибся. Уверен, мы вотрем кое-что Детердингу.

Только послушайте, Налымов, ни капли спиртного, клянись мне.

За окном все чаще пронеслись группы фонарных огней, шире разбегались фонари по нескончаемым путям. Поезд, как в тоннель, ворвался в линии освещенных окон, — загрохотали виадук, сверху, снизу, пересекая путь, понеслись поезда, трамваи, и паровозный дым лизнул стеклянные своды вокзала, — Лондон.

Вылезли из купе. На перроне была явная тревога и недоумение, — ни одного носильщика. Несколько пассажиров растерянно стояли у багажного вагона, откуда два каких-то элегантных молодых человека вышвыривали без бережливости чемоданы и кофр форы. Красная от волнения дама, в митенках, с парусиновым зонтом и дрожащей собачонкой, пытаясь приостановить какую-то неловкость, торопливо шла позади безукоризненного джентльмена, — торжественно улыбаясь, он нес ее вещи: клетку для птицы, потрепанный сундук, картонку, свертки...

— Прошу, джентльмены, ваш багаж.

Перед Левантом остановился, поправляя монокль, другой, не менее безукоризненный джентльмен. По вечернему времени он был в шелковом цилиндре, в свежих перчатках, воротник черного пальто поднят, прикрывая фрачный галстук, поверх пальто зеленый фартук багажного носильщика.

— Ваши чемоданы, джентльмены. — С британским упрямством поджав рот, выпятив атласно выбритый подбородок, поднял багаж и зашагал (с британской решительностью) к выходу на площадь. Там, выгнув изящный свисток, пронзительно свистнул. Мощно, бесшумно, бархатно подкатил длинный, из красного дерева, отделанный серебром открытый Ройлс-Ройс. На руле сидел третий джентльмен, в пушистой кепке, в монокле, — поднятый воротник прикрывал фрачный галстук.

— Джентльмены, ваш адрес.

У Леванта вылезли глаза, при всей наглости он не мог ничего ответить. Носильщик сказал шоферу:

— Сэр Артур, джентльмены не понимают по-английски (Левант прошептал: «Господи помилуй, на руле ни-

как — лорд, честное слово). Налымов вежливо — носильщику:

— Сэр, не можете ли вы объяснить, что все это значит?

— В Лондоне забастовка, сэр, — учтиво ответил джентльмен-носильщик, — забастовала часть транспорта: носильщики, шоферы и трамвайные служащие. Вы хорошо сделали, что приехали сегодня. По нашим сведениям, завтра остановятся поезда. Мы — штрейкбрехеры, иными словами нас вызвали на борьбу, — мы боремся. Я член «Жокей-клуба», весь «Жокей-клуб» работает носильщиками. Лорд Стэнли (кивнул подбородком на шофера) — член клуба «Пасифик». Весь «Пасифик» обслуживает автотранспорт. Кондукторами и вагоновожатыми члены королевского клуба «Британия». Все ясно, сэр. За перенос багажа один шиллинг и шесть пенсов, сэр.

— Ах, вот как, — сказал Левант и полез в шикарную машину, — алло, шофер, в Савой-Отэлл...

Заняли в бельэтаже два соединенных салоном номера со сплошными зеркальными стенами (десять фунтов за сутки). Побрились, переоделись в вечернее платье. Ужинали в огромной, как площадь, колонной зале, торжественно, молча и невкусно. Вернулись к себе в салон, покурили, помолчали, разделись. В восемь утра Левант (в пижаме) уже висел на телефоне. В половине девятого в кровать подавался первый завтрак, но вместо этого осторожно постучался управляющий гостиницы и, сохраняя бодрость, сообщил, что прислуга забастовала, джентльменам придется спуститься в ресторан и удовольствоваться холодной говядиной и кофе; есть вероятность, что на сегодняшний вечер Лондон очутится в темноте, но вряд ли до этого дойдет, — городские электростанции заняты почтенным спортивным клубом «Мяч и парус» и отрядами полиции. Хуже с подвозом естного, никаких запасов нехватит на семь миллионов ртов... «Да, джентльмены, тяжело сознавать: наш рабочий, чистокровный англичанин, — пусть из низов общества, но англичанин же, бог мой, — на поводу у шайки московских разбойников». Директор посоветовал передвигаться по

городу пешком: трамваи, обслуживаемые клубом «Британия», часто направляются не по тем стрелкам, были случаи нападения бездельников на вагоновожатых, — приходилось отстреливаться, страдали вагонные стекла и пассажиры. Передвижение на автомобилях также сопряжено с риском получить камень в голову... «А в общем джентльмены поступят так, как им заблагорассудится и простят мое вторжение в их частную жизнь».

Пошли пешком по кривым старым улицам. Валили потоки пешеходов. Размеры города чувствовались в деловой озабоченности движения, в однообразии одежд, в грандиозности магазинных витрин. Полицейские, в синих суконных шлемах, как идеи высшей закономерности (принявшие человеческий вид) с отеческой строгостью возвышались на перекрестках.

В управлении Ройяль Дейтч Шэлл (золотые буквы на гранитной доске в гранитном под'езде) сообщили: Детердинг никогда здесь не бывает, и если джентльменам нужно видеть первого секретаря мистера Детердинга, то мистер Ховард может принять их у себя дома. Левант сделался меньше ростом, когда на полшага позади Налымова отпечатывал третью милю по указанному адресу. Дом мистера Ховарда (двухэтажный, незаметный, в стиле императрицы Виктории) был повидимому более важным местом, чем управление, — на потемневшей дубовой двери, под старинным молотком — серебряная дощечка: «Ройяль Дейтч Шэлл». Левант взглянул на Василия Алексеевича, надул щеки, выпустил воздух. («Держите себя прилично» — сказал Налымов). Левант стукнул молотком, и дверь тотчас открылась, будто за ней все время дожидался седоватый человек в ливрее. Левант совсем оробел. В вестибюле — драгоценные ковры, коллекция индусских богов, раскрашенные идолы с Соломоновых островов, из'еденная червями резная мебель Триченко. Когда лакей ушел с визитной карточкой, Налымов — сквозь зубы:

— Здесь нужно вам заткнуть рот прочно. Ваша парижская деятельность — просто провинциальное жульничество. Попасть в этот дом труднее, чем в Бу-

кингемский дворец. Как я и предполагал, вы и близко не бывали около Детердинга. Предлагаю вам молчать, глазами не шарить, лучше всего глядите на ботинки, не курить без приглашения и обращаться ко мне «господин полковник».

— Так, так, так, будьте покойны, — прошептал Левант.

Неслышно вернулся лакей: «Мистер Ховард просит». Вошли в полутемный кабинет, где горел камин. Мистер Ховард, небольшого роста, худой, изящный, с седыми висками, предложил кресло у огня. Визитная карточка Налымова лежала на сигарном столике.

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеть вас в ставке главного командующего под Ипром, — сказал Налымов, — это было в сочельник, за ужином, когда граф Игнатъев, я и...

— Как же, как же, — с дружеской улыбкой сказал мистер Ховард. Но так как перед ним сидел русский (то есть человек, у которого в доме тяжелое горе), улыбку он сменил на сдержанную грусть и, легким вздохом окончив сочувственную часть беседы, с ожиданием стал глядеть на губы Налымова. Василий Алексеевич деловито и сухо, по-военному, начал излагать положение дел под Петроградом: наступление северной армии отложено до сентября из-за недостатка продовольствия и вооружения, но — что еще важнее — нехватает высокой моральной атмосферы. Нужно широко развить белую идею. Леванта он представил как одного из редакторов «Эхо России». Он говорил точно по плану Хаджета Лаше. Мистер Ховард слушал с удовлетворением. Серьезно поглядев на свои ногти, сказал:

— Мне кажется, мистер Детердинг должен заинтересоваться вашей беседой. К сожалению, нелепые события этих дней нарушили его душевное равновесие, и я право не знаю... В Англию мы запрещаем ввозить собак, дабы не портить породы, тем более досадно, что правительство слишком добродушно смотрит на некоторые вещи и спохватывается, когда глупость уже сделана, — в Англию ввезены хуже, чем континентальные дворняжки, — московские идеи, и не поручусь, что не только идеи, но и их живые носители.

Он обернулся, приподнял брови, прислушался к шагам. Толкнув дверь, вошел низенький человек в просторном серебристом автомобильном пальто, порванном и залащанном. Казалось, что он только-что кого-то держал за глотку бульдожьими скулами, — весь бритый жирный низ лица с прямым ртом выпятился, когда, сдергивая перчатку, он вопросительно взглянул светлыми точками на посторонних. Снизу вверх дернул, вместо поклона, плотно посаженной головой. Секретарь, мягко поднявшись, сказал ему:

— Мы только-что беседовали по вопросу, близкому стокгольмскому предложению.

Медленно сняв перчатки, вошедший человек вдруг устался на грязное пальто, торопливо расстегнул, бросил его на пол. Стал у камина, — коротконогий, с маленькими ступнями и добродушным животом, никак не связанным с верхней частью тела, будто голова его была приставлена совсем от другого человека. Огонь камина осветил слежавшиеся от пота стальные волосы, сухие виски и мелкий нос с чутыстыми ноздрями. Секретарь представил:

— Полковник Наулёмов и мистер Лайвэнт.

Налымов с достоинством поклонился, у Леванта вспотели ноги. В ответ человек у камина показал белые, мелкие зубы, как улыбающаяся лиса, — но на очень короткое время. Он глядел на ковер не менее чем минуты две... Сказал, откусывая у слов хвосты:

— Они разбили и подожгли мой автомобиль. От Трафальгар-сквера я шел пешком. Я бы очень хотел видеть в таком же положении мистера Ллойд-Джорджа.

Затем, утопив затылок в прямых плечах, коротконого и быстро пошел к двери. Обернулся и — Налымову:

— Хорошо. Завтра я вас жду в десять утра.

— Мистер Детердинг ждет вас точно в десять утра, — повторил секретарь Налымову и Леванту.

26

— Я не прошу денег и не посылаю счетов, дорогой друг, я работаю ради идеи...

— С удовольствием хочу подтвердить, что в нас это вызывает чувство глубочайшего удовлетворения.

— Прекрасно... Но вы представляете, сколько стоит организация дела? Дорогой друг, я не считаю сантимты.

— О, разумеется...

— Буду откровенным... Небольшая сумма, переданная мне генералом Жаненом перед его отъездом в Сибирь, полностью ушла по назначению. Люди, идущие рисковать жизнью, часто весьма требовательны, — посылая агента в Москву, я не торгуюсь.

— Ну, о чем же может быть речь...

— Отвлекаясь от прямого долга совести, я принужден пополнять мою кассу... Так, сегодня два моих агента выехали в Лондон, чтобы предложить Детердингу вполне порядочную комбинацию...

— Я не сомневаюсь...

— Не в том дело... Детердин — осторожен, — прежде чем решить, он неведет справки в известном вам учреждении, оно запросит вас... Так вот, я бы хотел рассчитывать на положительный отзыв...

— Я полагаю, вы можете рассчитывать... Какова сумма куртажа?

— Тысяч сто каких-нибудь...

— О, пугаяки...

— Мерси... Дорогой друг, это не все...

— Пожалуйста...

— За сведения, которые получает Сюртэ от меня...

— Может быть, мы не будем называть вещи их именами...

— За сведения, доставляемые мной, я бы хотел одного: чувствовать себя совершенно свободным в поступках...

— Я вас понимаю, дорогой друг, но бывают поступки...

— О!.. Господин полковник! Мое прошлое! Мои заслуги!

Хаджет Лаше, потрясенный недоверием, слегка отодвинулся от полковника Пети и глядел на хорошенькую девочку с тонкими, как у новорожденного жеребенка, голыми ножками, — она бежала за обручем. Хаджет Лаше и полковник Пети сидели на скамейке в Люксембургском саду. Мирно падал лист за листом с желтеющих каштанов.

Со сдержанной горечью Хаджет Лаше сказал:

— Сотрудничество возможно только при обоюдном доверии. Взгляды стокгольмской полиции могут не сходиться с моими взглядами на иные поступки, но с Парижем у меня не должно быть недоразумений. У нас общая цель, — зачем же навязывать мне моральный жернов на шею. Или вы не доверяете? Тогда — разойдемся.

— Дорогой мой друг, вы приводите меня в отчаяние...

— Нет, дорогой полковник. Я только хочу сказать: борьба есть борьба. В Париже вам достаточно показать визитную карточку, в джунглях нужна разрывная пуля. Не забывайте, мы имеем дело с большевиками. Это — люди, переступившие мораль, люди по ту сторону добра, поджигатели цивилизации. Чумные бактерии ведь также живые существа, однако мы не связываем себя моральными предпосылками, когда боремся с чумой. Одни законы для цивилизованных, другие для канибалов.

— Вы тысячу раз правы, — сказал полковник Пети, осторожно касаясь темных усиков. — Но общественное мнение, мой дорогой... Право же можно притти в отчаяние, до чего многие не понимают политической азбуки.

— Но я не предлагаю поймать Троцкого и посадить его среди бела дня на кол на Королевской площади. Есть оттенки более тонкие... Общественное мнение! Счастливые, гуманные сны доброгo буржуа в ночном колпаке! Удивляюсь, как этот пережиток переполз через поля войны. (Пети, уже не трогая усов, с удовольствием улыбался красивым ртом). И это в то время, когда огромный процент населения освобождает себя от всех задерживающих импульсов. Варвары, спрятавшие меч под одеждой, смешались с толпой. Гунны на тротуарах Парижа! А здесь все еще говорят о гуманизме, об общественном мнении. Спасение Европы — в суровой диктатуре, в терроре... Парламентаризм, — простите, дорогой друг, за парадокс, — парламентаризм сейчас преступен, как секта самоубийц.

Пети рассмеялся. Блестя продолговатыми глазами, похлопывал стэком по кожаной гетре. (Он был в костюме для

верховой езды). Хаджет Лаше поглаживал короткой лодонью лоб, будто охлаждая его пылание. Хаджет Лаше был мыслителем и не скрывал этого. Он еще долго развивал тему о здоровом перерождении европейского культурного общества: мораль — условна, а свобода не что иное, как чувство безопасности. Диктатуру наиболее передовой верхушки буржуазного общества в конце концов воспримут как величайшую свободу. Если диктатура будет связана с промышленным подъемом, то и пролетариат, во всяком случае наиболее рассудительная часть его, примирится с господствующими идеями. Остальных заставят примириться.

Пети наслаждался беседой:

— Мой дорогой Хаджет Лаше, уверен, — у нас не возникнет принципиальных разногласий. Вы всегда можете чувствовать за спиной дружескую руку. Если только...

Хаджет Лаше пожал плечами и сухо:

— Я всегда был осторожен.

27

Парижане, как известно, беспечны. Сегодня на бульварах и торговых артериях было обычное оживление. Солнце изламывало жаркие лучи на радиаторах машин, на медных штангах полосатых маркиз, прикрывающих витрины, ослепительно отражалось в ручьях вдоль асфальтовых тротуаров. Облетали каштаны. На теневой стороне двигался человеческий муравейник, — светлые платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, веселый говор, встречи, деловая суета и созерцательное безделье...

С утра в город с окраин спускались рабочие, — на знаменах и кумачевых полосах они написали: «Мы поддерживаем английских товарищей». Это было лаконично и неожиданно. Телефонограммы (в префектуры полиции) с забастовавших на этот день фабрик и заводов сообщали, что рабочие не выставили никаких экономических требований. Это было уже тревожно. И хотя рабочие шли разрозненными колоннами, против них послали драгун. Произошли короткие схватки холодным оружием и камнями. Колонны были рас-

сеяны, но в середине дня появились новые.

Волновались только в министерстве внутренних дел. На бульварах было беспечно. Около трех часов Володя Лисовский отпустил такси и пошел пешком по направлению бульвара Брюн, тянувшегося вдоль старинных укреплений. Около ворот Мон-Руж он увидел первых драгун, — в синих плащах, в медно сверкающих касках с красными конскими хвостами, драгуны ехали шагом, попарно, на рослых караковых лошадях. «Не повернуть ли» — подумалось. Для лояльности закурил сигару, независимо помахивая тросточкой, Лисовский вышел на бульвар, — кирпичные грязные дома, пыльная мостовая, чахлые деревья, вытоптанная трава на лысых пригорках. Пустынно. Горячий ветер подхватил пыль и понес вместе с бумажками. Впечатление небогатое. Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка, шагах в десяти — окровавленный платок, подальше — большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь, в Харькове — эка штука лужа крови, но здесь — ого!

Он дошел до парка Мон-Сури. На истоптанных лужайках, на дорожках, пересеченных корнями, на искусственных холмиках со скамьями вокруг фонарных столбов, в оврагах, на озере — ни души. Побродив, направился к выходу на авеню Мон-Сури и здесь под платаном, на скамейке увидел двух пролетариев. Один — красивый парень, с сильной шеей, в разорванной до пупа рубашке и с кровавой царапиной на груди. Другой — бородатый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе. Оба курили, при виде Лисовского замолчали. Он сел рядом:

— Что здесь произошло, чорт возьми? — сказал нарочно грубовато. — Брожу целый час, куда делось население? На бульваре — лужи крови. А мне в пять часов сдавать хронику в газету. О-ла-ла!..

— Двое убитых, человек тридцать ранено, можете это сообщить в вашей почтенной газете, — неохотно ответил красивый парень.

— Подробности, подробности, старина, — Лисовский с нарочной торопливостью схватился за записную книжку.

Парень пожал плечом. Человек со спутанной черной бородой сказал, направляя на тощем носу пенсне:

— Вполне законное любопытство узнать, из-за чего убивают граждан на парижской мостовой. Молодой человек, они убиты драгунами.

— Во время демонстрации?

— Вы угадали, в то время, когда французы вышли на улицу заявить некоторой части населения по ту сторону Ламанша о братских чувствах... Я не сомневаюсь, что вы изучали историю Франции, молодой человек. Когда у французов появляется некоторой запас идей, они всегда выходят на улицу — бросить идеи, подобно почтовым голубям, в пространство. Так было и сегодня. К сожалению в нашей прекрасной Франции есть французы, а есть не французы. Народоведение распределяло народы и расы по корням языков, строению черепа и окраске волос. Молодой человек, этот невероятный вздор выдуман немцами, когда им нужно было доказать, будто во всех мировых событиях, начиная с разгрома Вавилонской империи, участвовали индо-германцы, — после франко-прусской войны они готовились проглотить добрую половину света. Но все движется, все меняется, молодой человек, и не только наука о расах, но даже такие прочные понятия — Франция, французы, — начинают казаться нам миражами... Чорт возьми, мне это ничего не говорит, Жюль, ты понимаешь что-нибудь в этой путанице, — французы! (Вздернув бороду, изпод низа пенсне взглянул на хмурого парня)... Новая школа народоведения (увы, пока мы еще не имеем иной академии, кроме парка Мон-Сури) рассматривает национальный тип по его профессиональному занятию. А язык, — ну, что же: случайность рождения, как хотите... Пестрота языков — это старое тряпье, которое мы с отвращением донашиваем. Размеры черепных костей! Жюль, скажи, ты очень озабочен — круглый у тебя череп, длинный или вытянутый? Насколько я понимаю, это не отражается на количестве расплавлен-

ной бронзы, выливаемой тобой в формы для автомобильных моторов. Возьмем частный случай, что такое француз? (Захватил бороду, покусал)... Тот, кто на земле, не принадлежащей ему, на предприятии, не принадлежащем ему, создает напряжением мускулов и ума ценности, также не принадлежащие ему. Строит материальную и духовную культуру на клочке земли, называемой Францией, и умирает, как и родился, нищим. Вы скажете: о-ла-ла!.. Это же — вьючное животное, круглый болван. Новая школа отвечает, — посмотрим, кто в конце концов окажется болваном. Тот, кто не строит культуры, а лишь ею пользуется (во всевозможных формах эксплуатации труда), тот нами рассматривается как пришлец, чужой, завоеватель (вне зависимости от формы черепа, языка и окраски волос). Мы относим его к расе «Б» (национальные разновидности трудящихся — французы, немцы, англичане и так далее, иными словами профессиональные разновидности — металлисты, текстильщики, пишевики и так далее объединяются нами в расу «А», где они постепенно утрачат некоторые исторические пережитки). Раса «Б» — космополитична. Когда-то у нее были национальные корни, но в июне месяце 1919 года порвались окончательно и навсегда. В ней обнаруживаются чрезвычайные силы внутреннего сцепления, — с непостижимой быстротой раса «Б» превращается в монолит. Она воинственна и стремится к установлению единой мировой империи. Сегодняшний инцидент — лишь мелкая разведывательная операция, так как раса «Б» переходит в наступление. Вот, молодой человек, некоторые данные, возьмите этот материал для вашей заметки.

Двумя пальцами он опять поправил пенсне. Мрачный парень раскрыл рот и вдруг так захохотал, что затряслась скамейка. Володя Лисовский понял, — одурачили. Кашлянул, встал, вежливо приподнял шляпу и пошел к выходу из парка.

Сегодняшний материал ни к чорту не годился для Бурцева... Но для будущей книги! Он даже споткнулся, — так захватило воображение... Книгу назвать «А и Б»... Ориентация? Пасифизм, свя-

щенный пасифизм, счастье — во что бы то ни стало! Деритесь, а победим мы. С невидящими глазами, шепча про себя и размахивая тростью, он шел по авеню Мон-Сури, будущая книга неслась перед ним, горячий ветер перелисгывал ее невероятные страницы. Так он почти дошел до вокзала Со. Он не слышал ни криков, ни топота ног и остановился только, когда его толкнули справа, слева, сбили шляпу, — толпа демонстрантов стремительно бежала от площади Данфер Рошро. Врезаясь в толпу, позади скакали драгуны, нагибаясь с седел, наотмашь били прямыми, блестящими палашами, сверкали гривастые шлемы, конские вспененные морды задирались над головами. Все это мелькнуло отчетливо, как в фотоаппарате. Лисовский побежал, прикрывая голову руками. Многие из толпы, заскочив на тротуар, хватали круглые, чугунные решетки под чахлыми деревьями, разбивали о мостовую, швыряли осколками в скачущих драгун... (У одного слетела медная каска, закинулось лицо, залитое кровью). Вдруг брызнула боль из глаз, — хлестнули по черепу плашмя палашом; Лисовский тяжело упал грудью о камни и потерял сознание.

Его потащили подмышки, подняли. Моргая, увидел по бокам два усатых, недружелюбных лица, синие кепи. «Влип, — полиция!» Попытался что-то объяснить, только мотнулась голова — так пхнули в спину. Повели. Только теперь начал болеть мозг, жгло солнце, ломило глаза. Свернули за угол, — желтый, штукатуренный дом: «Префектура полиции». Обшарпанная дверь, полутемный коридор, ступеньки вниз. Чей-то сдавленный вопль, голый каземат, четыре здоровых сержанта оскалились от бешенства, бьют башмаками корчащегося на каменном полу человечка. Лисовского толкнули на койку. Он сейчас же лег ничком на маслянистое, с круглыми дырочками железо. Полицейские ушли, дверь с грохотом захлопнулась, человечек на полу торопливо стонал.

Мальчик лет пятнадцати поднял лохматую голову (рядом на койке) и негромко Лисовскому:

— Тебя взяли на демонстрации?

— Да нет же. Я случайно...

— Э, старина, все равно за тебя не дам и двух су. Чего бы ты там ни врал, грязные коровы пустят тебя в табак.

— Я не понимаю... (Со страха Лисовский заморгал). Какие коровы?

Блестящими глазами мальчик указал на избитого человека (товарищи положили его на железную койку, — со всхлипываниями втягивал воздух сквозь зубы). Подальше еще кто-то стонал. Мальчик с любопытством прислушивался:

— У этого кофейник вдребезги, — проговорил быстрым шопотом, — а ты, старина, не ломайся. Может быть, у тебя в эту минуту нет настроения иметь дело с копытами (кивнул на избитого), я тебя понимаю, но не знаю, как пускают человека в табак, — ври другому. (Расширив глаза). Ты видел, у них на подошвах гвозди с гранеными шляпками. По правде тебе сказать, я бы с удовольствием удрал отсюда. Они пускают в табак уже пятого парня, покуда я здесь. Одного, понимаешь, приволокли да сбили с ног, чтобы топтать, а он как вскочит да сержанту в сопатку, да другому в сопатку... Я уж и глядеть не стал, что дальше было.

Мальчик бодрился и шутил, но худенькое лицо его мелко подергивалось. Лисовский опять лег ничком на скрещенные руки. Загрохотала дверь, вошли двое мрачных в кепи с серебряными гадунами:

— Ты, встань! — схватили за воротник, Лисовский торопливо сел. — Кто такой? Документы!

Один держал за воротник, другой обшаривал. Лисовского выручила бывалость в переделках. С величайшей готовностью (даже со смешком) объяснил курьезное недоразумение. Отобрав все, что у него было, «коровы», ворча, ушли. От прохождения «через табак» Лисовского спасла корреспондентская карточка. Под вечер его выпустили, даже извинились и в отеческой форме предложили подальше держаться от рабочих окраин, вернули документы и записную книжку, но пачка долларов, перехваченная тоненькой резинкой, исчезла: повидимому (как заявили ему официально) похищенная рабочей сво-

лостью, когда он без чувств валялся на мостовой.

28

Налымов и Левант вернулись из Лондона, переговоры с Детердингом прошли успешно. Левант поспешил обрадовать Чермоева и Монташева, и начались долгие, бестолковые переговоры. Чермоев заломил дикую цену за нефтяные участки. Монташев с утра (в мрачной неврастении) решал продавать все, хоть задаром, вечером (в оптимистической неврастении) кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает, — одна скаковая конюшня обойдется дороже. Левант проявил величайшее знание человеческого сердца. Монташева он взял на испуг, — тайно собрал все его счета (гостиница, портные, рестораны) и через нотариуса предъявил к срочной уплате. Монташев потерял голову и пошел на все. С азиатом Чермоевым было несравненно тяжелее, но и его Левант взял в конце концов семейным измором: распалил сумасшедшее воображение у Анис-ханум и Тамары-ханум, — показал в Булонском лесу будущий особняк, возил на автомобильную выставку, на приемы в великим портным (где перед татарками проходили, как сновидения, длинные, потрясающей красоты женщины в невероятных платьях ценою в две, три, пять тысяч франков), возил даже к мировому королю жемчугов — Розенфельду, любезно открывшему стальные шкапы с сокровищами Шехеразады. Словом домашняя жизнь Чермоева стала невыносимой, он понял, что так хочет аллах и пошел на условия Детердинга.

На даче в Севре ждали только телеграммы от Хаджета Лаше, чтобы выехать в Стокгольм. Дамам было выдано по пять тысяч франков на тряпки. На дачу притаскивались вороха полосатых картонок. За ужином болтали о покупках, о модах, о ценах. Налымов говорил: «Девочки, точно к свадьбе готовимся». На минуту становилось жутко, — понимали, что в Стокгольм везут не для невинных развлечений. В одну из плаксивых минут Лили заговорила о каком-то родственнике, белом офицере: постараться хорошенько, можно его разыскать, написать письмо... Он когда-то

был влюблен в Лили, такой милый, чистый юноша. Конечно, прискачет в Париж, вырвет ее из этого ужаса... Она бы поехала с ним на гражданскую войну сестрой милосердия, потом бы купили домик на берегу моря в тихом Таганроге, жили бы грустно, невинно, завели бы козу, кур. (Ручьи слез по глупому лицу)...

Вера Юрьевна с отвращением:

— Мало того — дура ты, пошлячка, милая моя.

— Врешь, врешь, меня еще можно любить, — Лили пускала пузыри распухшими губами. — Не старая шкура, как ты...

— Это и есть, милая моя, пошлость... Домик в Таганроге, любовь и коза, перенец в колыбели... Кто тебя любить-то будет? Родственничек, прожженный спиртом и сифилисом?.. Э, милая моя, руки-то от крови не отмоешь...

— Врешь, врешь, он студент, юрист... Блондин с проборчиком... Такой милый, застенчивый...

— Вот именно... У тебя законченная психология проститутки, должна заметить с большим огорчением.

Мадам Мари сказала:

— Да, Лилька, надо тебе подтянутьсь... Любовь вычеркни из словаря... Другое дело, что мы бесхарактерные дуры, ничего не предпринимаем для будущего... Но я, девочки, страшно верю в Стокгольм... Во-первых, буду там в кафешантане... Ну уж тогда держись, — на все пушусь, вплоть до кражи бумажников.

— Правильно, — твердо сказала Вера, — уважаю.

— Задача — текущий счет в американских долларах не меньше десяти тысяч и чистый паспорт... Девочки, мы еще поживем.

Дамы и Нальимов приехали в Париж (за последними покупками) с девятичасовым поездом. На площади вокзала Сен-Лазар стояли трамваи, набитые народом. Машины медленно продвигались сквозь густые толпы пешеходов. В городе что-то случилось. Мальчишки-газетчики с отчаянными криками на бегу размахивали экстренным выпуском. Над городской жаркой мглой невысоко плыли светлосерые аэропланы. Оказалось

(на даче в Севре совсем забыли об этом): сегодня в одиннадцать часов должна состояться близ Нью-Йорка в присутствии двенадцати тысяч зрителей встреча двух мировых боксеров — Карпантье (Франция) и Демпси (Северная Америка). Пресса придавала этому матчу более чем спортивное значение. Французская нация дралась за мировое первенство. Перед отъездом (в прошлом месяце) красавец, чистокровный француз Карпантье был принят президентом республики. Пуанкаре сказал ему: «...Итак, мужайтесь, мой друг. Удар, который вы нанесете вашему противнику, отзовется в сердце каждого француза. Нация вручает вам свою честь и свою славу».

Весь месяц газеты были заняты описаниями тренировки Карпантье перед встречей, каждая минута его жизни стала достоянием широких народных масс. Специально посланные в Нью-Йорк корреспонденты от больших газет сообщали (по радио и трансатлантическому кабелю) о мельчайших отклонениях его здоровья, о его ежедневном меню, утонченных вкусах, остроумии, оптимизме, веселости, о его галстуках, костюмах, шляпах и прочее. Корреспонденты не замалчивали силы и ловкости Демпси, что еще сильнее возбуждало ожидание.

Великий день настал. Не менее двух миллионов людей двигалось по большим бульварам к центру, где над редакцией «Матэн» издали виднелся большой экран, на нем — схематическое изображение двух голов — Карпантье и Демпси. Каждый удар передается через океан по радио, и на очертаниях голов посредством электрической сигнализации место, где нанесен удар, отмечается кружком. Аэропланы, парящие над городом, также принимают радиосообщения о наносимых ударах и выкидывают ослепительно светящиеся шары — белый, если удар нанесен в лицо Карпантье, красный — в лицо Демпси. Такая же сигнализация шаров установлена наверху Эйфелевой башни. Приз победителю — три миллиона долларов, побежденному — миллион. Если переводить на франки, шестьдесят миллионов франков за пять минут битвы по морде, — не у одного

только маломощного буржуа мутилось в голове... Энтузиазм был всеобщим...

К одиннадцати часам Нальмов с дамами (не пожалевшими обуви и боков) добрались до пятиэтажного уродливого здания «Матэн». Над мостовой из шляп и шапок возвышались плечи и каски драгун. Селка часов подошла к одиннадцати. По толпе пронеслось сдержанно: «А-а». Эйфелева башня сигнализировала. Кружащиеся над городом аэропланы выпустили облачка черного дыма. Разорвалась петарда на крыше «Матэн». По экрану (с очертаниями двух голов) побежали кинонадписи: «...Бойцы вскочили на арену»... «Командор боя появляется на арене»... «Командор свистит»... «Двенадцать тысяч американцев затаили дыхание»... «Карпантье изящным жестом сбрасывает халат»... «Демпси поступает так же, лицо его хмуро»... «Карпантье оживлен, он смеется»... (О, французы всегда смеются в минуту опасности)... «Бойцы подходят друг к другу, пожимают руки в боевых перчатках, отскакивают в позиции»... «Два колосса замерли в классических позах». (Париж затаил дыхание)... «Резкий свисток командора»... «Карпантье кидается первым»... (Вера Юрьевна впиалась ногтями в руку Нальмова).

Надписи прерываются. События разворачиваются с бешеной быстротой. На экране от слов переходят к сигнализации. Глаза трехсот тысяч парижан устремлены на два силуэта... Странно, на физиономии Демпси пока ни одного кружочка! Видимо бойцы только еще изучают друг друга. Пустая минута первого раунда тянется невыносимо. И вдруг за секунду до конца у Карпантье посредине лба выскакивает черный кружок. Триста тысяч пар глаз смущенно перемаргивают.

Минута перерыва. (Бойцов разводят в противоположные углы квадратной арены, окруженной канатами, сажают на стулья, массируют мускулы, омахивают полотенцами, если пущена кровь, брызжут в лицо квасцами). Над взволнованной толпой поднимаются дымки закуриваемых папирос. Второй раунд. Надпись: «...Карпантье с холодным бешенством кидается на противника»... Секунда ожидания. Подземным гулом

бьется сердце толпы. И сейчас же на экране левый глаз Карпантье закрывается кружком, второй кружок выскакивает на правой скуле, третий на левой, четвертый на подбородке... Перерыв. Французы хмуро отводят глаза от экрана. С хвостов парящих аэропланов срываются запоздавшие ослепительно белые шары.

Зрочки у Веры Юрьевны расширены: — Я загадала на Карпантье... Я верю, верю, ты понимаешь. Сейчас он только заманивает. Подожди третьего раунда.

У Лили раздуты ноздри, будто из-за океана доносится к ней запах могучего пота и льющейся героической крови. По толпе ветерком тревожный шопот. Третий раунд. Нос Демпси прикрывается кружком. Крики «браво», аплодисменты, ураган криков. Но знатоки качают головами: разбитый нос ничего не стоит, у Демпси нос вдавливается внутрь, как резиновый. В ответ рассерженный Демпси наносит вертикально по лицу три удара противнику. Карпантье падает. О, нет, нет, несправедливости не должно совершиться! Карпантье снова на ногах... «Браво, браво, Карпантье». От толпы исходят густые испарения. У Демпси кружок на скуле... Конец третьего раунда.

Вера Юрьевна кусает нагримированные губы. У равнодушной Мари разгорелось лицо. (Даже на третий день боя под Марной Париж повидимому меньше волновался). Четвертый раунд. Инициатива переходит к Демпси. Удары в скулы, в нос, в ухо, в череп, в сердце громовыми раскатами разносятся по вселенной. У Карпантье треснула лобная кость, лопается челюсть. Повреждена ключица. Но он держится, держится! Надежда не потеряна. Толпа глядит, задрав головы, со сдвинутыми шляпами, разинув рты. О, ударь его хорошенько в зубы, Карпантье, вышиби ему глаз...

Сила кулака у Демпси равна удару задней ноги лошади. Демпси (как потом стало известно) дал слово устройтею матча держаться более или менее пассивно семь раундов. (Уложи он противника при первой же схватке, разочарованные зрители разнесли бы все в щепки, потребовали деньги обратно).

Но, видимо, ему надоело ваять дурака. На пятом раунде лицо Карпантье торопливо стало покрываться кружками, Демпси валил ему в морду, как в бубен, и черед двадцать секунд сделал нокаут: двойной удар снизу наискось в подбородок и в челюсть (мозги встряхиваются, головные позвонки выходят из сочленений, челюсть соскальзывает на сторону). Карпантье упал. Командор боя (нагнувшись над ним, высоко подняв руку) начал считать до десяти... Десять. Кончено! Он не встал... На арену вскочили служители взять обмороченное тело Карпантье. Франция разбита. Аэропланы, выпустив траурный дым, улетели в западном направлении. Толпа перед редакцией «Матэн», повиная древней традиции, обнажила головы. Человеческие потоки медленно расходились. Налымов сказал:

— Девочки, нас еще раз одурачили. Предлагаю выпить.

29

Левант позвонил поздно ночью: «Едем завтра». Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали два таксомотора. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош (одаренную всем, что не помещалось в багаже), сухо простились с Фатьма-ханум, рыдавшей у калитки, и навек покинули проклятую дачу в Севре. Какова будет новая жизнь, плевать, лишь бы новая.

По особым соображениям Левант выбрал круглой путь через Берлин — Штеттин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в «Адлон» (самая дорогая гостиница — серый мрамор, пурпурные занавеси, лепное золото, но все не проветренное, пыльное, запущенное). В вестибюле сразу же бросились в глаза такие подозрительные, черноватые, лоснящиеся от бритвы, модно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жулье, что дамы приказали весь багаж (около сорока сундуков, чемоданов, чемоданчиков, картонок) поднять в номер. Завтрак в ресторане гостиницы был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались какие-то сделки, из конца в конец залы перекликались черноватые людишки, по-

казывали друг другу что-то пальцами, оркестр среди пыльных палом исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. На дам бешено тарасились: «О-о-о, паризер шик».

Левант занял в бельэтаже самые дорогие апартаменты. После полудня в его салоне появились русские — важные старцы (иные в серых генеральских тужурках), молодые люди с мутно-пристальными глазами убийц, серые штаб-капитаны и полковники мировой войны, несколько солдатских шинелей, прикрывавших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ругало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в северо-западную армию.

Левант разговаривал от имени «стокгольмского центра». Денег правда не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими (в сизом дыму на пышных розах ковра, замусоренного окурками), он говорил, засовывая большие пальцы за подтяжки:

— Господа, в Париже, где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удивлены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Господа, мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению я этого не вижу. Германское правительство всемерно идет вам навстречу. Англичане делают даже больше того, на что мы могли надеяться. И что же, за истекшую неделю из Берлина на Западный фронт отправлен всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу? Огромные массы эмиграции и русских военнопленных предпочитают пользоваться сомнительным гостеприимством, проедать последние гроши или варить гуталин, чем с оружием в руках добывать себе родину.

Коренастые штаб-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, мо-

лодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего... Вот кабы Германия послала тысячу сто войска... Или чорт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинуть чернокожих на Россию... Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит, — большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт и Питер. С нас чего спрашивать? Поддадут интервенты жару, — до одного человека пойдем в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся, очищать Россию от большевиков иностранцы небось не станут, ручки не захотят марать.

Налымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц. Жесткий свет солнца (после парижской голубизны). Темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы, хлам. Угнетающее количество неумелых девушек с нищими глазами, жалок их торопливый шопот встречным прохожим: «Идем со мной, я очень испорченная». Унылый запах пивных. На перекрестках когда-то блестящих, парадных улиц — участники мировой войны — обрубки на тележках, слепые в черных очках, — на при-

вязи санитарная собака-поводырь (подарок правительства), у ног — жестянка с пфеннигами. Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира, — всегда стоит человек двадцать-тридцать прохожих: бежит суровый пожиратель ватреной картошки и брюквы и от громового рефлекса встает в тротуар перед мясной витриной... Рука стискивает портфель, волевые мускулы вздуваются на впавших щеках: позволяет себе пережить вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске... Пять минут пищевой фантазии... Крепче портфель с несъедобными бумагами подмышку и, опустив глаза, волевой походкой мимо, мимо. Германия была и Германия будет. Версальский мир подавится когда-нибудь той свиной котлетой.

По мостовой, еще носящей следы пушечных колес, проносятся в длинных машинах счастливые иностранцы из отеля «Адлон». Они даже и не косятся на мясные лавки. Они покупают заводы, дома, драгоценности, машины, женщин, — Германия продает все, до исподней рубашки.

(Продолжение следует)

Два стихотворения

НИК. УШАКОВ

(Из цикла «Сказанье старых времен»)

1. УКРАИНА ГЛУХО ВОЛНОВА- ЛАСЬ

Как быстро время протекло—
уже январь не за горами.
Начальник станции в стекло
глядит сквозь тощие герани.

Каких-то паровозов дых,
каких-то эшелонов волок,
и на площадках голубых
оглобли задраны двуколок.

На кукурузе снег повис,
и в инее лесные дачи.
Неведомый кавалерист
по шпалам
на восток проскачет.

Летят теплушки кверху дном,
мосточки головы срывают.
Румын в буфете ледяном
от черной оспы умирает.

Он мертвой матери сказал,
что вылечить его не поздно,
Луна в нетопленный вокзал
плывет торжественно
и грозно.

Слепец частушки говорит,
и «Яблочком» рокошет лира.

Начальник станции зарыт
перед крыльцом своей квартиры.

Глядит попрежнему в стекло
сквозь кисею
его герани...

Как быстро время протекло,—
уже февраль не за горами!

2. ЗЕМОТДЕЛ В 6. ГОСТИНИЦЕ

Умирает старая,
темная пора
с тройками, с гитарами
по ночным дворам.

С тайною гостиницей,
где скрипят полы,
где на вас накинется
нож из-под полы.

Там трюмо пятнистое
в низких номерах,
там звенят монистами,
там кричат «ура».

Груня одинаково
потчует гостей,
рдеет розан лаковый
под струной у ней,
и платочек ситцевый
полетел с плеча.

Там с самоубийцами
шепчется свеча.

Пишут длинным вечером
при свече они,
что любить им нечего,
некого винить.

И зрачки их уже все,
медленнее дых.

И цыганки в ужасе
обегают их.

И на всех накинется
старший половой.

А теперь
в гостинице
ветер полевой.

По чугунным лестницам
пышет со степей
самым спелым месяцем
стороны моей.

Пыльником и оводом
дышит день-деньской.
По прямому проводу
говорят с Москвой:

«Столько-то посеяно.
Злак цветет.

Пыльца
реет над бассейнами
Дона и Донца.

Много с коммунарами
соберем добра».

Умирай же, старое, —
темная пора.

В польском плену

Записки

Н. А. ВАЛЬДЕН

Вот тот, душечка Юзыся, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать, и другие делать муки, то преступник еще будет жить. Будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить.

Н. В. ГОГОЛЬ («Тарас Бульба»).

Отступление. Плен

Житомир. Весна 1919 г. Просыпаюсь ранним свежим утром от веселой возни в саду, — там одеваются красноармейцы расположенной в соседнем доме команды. Крепкий, краснощекий парень, набрав воды в рот, пускает ее тоненькой струйкой на руки, — моет лицо, как из умывальника.

Быстро вскакиваю и наскоро одеваюсь, — впереди деловой, хлопотливый день; нужно сделать два доклада в бригаде, разослать инструктивное письмо по N-ой дивизии, а самое главное, вчера в штабе рассказывали, что галицийская бригада открыла фронт и меня назначили в полевой политотдел.

Еду туда. Военком в штабе, — бросаюсь в штаб и чуть не попадаю под машину. В машине военком и начдив. Военком кричит, высовываясь из-за пулемета: «Выезжаю на позиции, вернусь к 2 часам, а если позже...» — ветер уносит остальное. Возвращаюсь в политотдел. Какая тут культура!

Вместе с пугливо поглядывающей на меня секретаршей отбираю нужные бумаги. Невольно задерживаешься, пробегаешь ту или иную бумагу; уже складываются те и привычные выводы, начинаешь делать отметки. Но — нужно спешить.

Низко-низко — кажется, что над самыми окнами, — пролетает польский аэроплан. В соседней комнате кто-то падает на одно колено и палит по прошенному гостю из винтовки. Рокот мотора не прекращается, — злоеющая птица благополучно улетает.

Начинается подготовка к эвакуации. К вечеру встречаю двух приятелей, они в полном боевом порядке, ведут под уздцы лошадей, собираясь пробиваться верхом на соединение с нашими частями. Отступление по ж. д. уже отрезано поляками. Мне делается грустно, и, утомленный, я бреду по дороге к вокзалу, где должен заночевать в вагоне одного товарища по работе.

На утро просыпаюсь от шума и крика: мой приятель, полуодетый, мечется по вагону, ругаясь самым неистовым образом. В общей суматохе нас, оказывается, позабыли прицепить к отходившим поездам.

Бросаюсь в нашу походную канцелярию. Тут же, на откосе, у вагона, развожу огонь, — сжигаю кипы донесений, сводок, планов культуры. Слышится жесткий, режущий слух пулеметный огонь подходящих польских частей. В эту же минуту — откуда ни возьмись — через станцию, не останавливаясь, проходит наспех составленный бронепоезд. К нему прицеплено несколько платформ

с орудиями, на платформах — матросы. С криком «ура, братишки» мы с приятелем бросаемся к поезду. Товарищ вскочил благополучно, я поскользнулся и, еле поднявшись, в совершенном отчаянии смотрю вслед удаляющимся вагонам...

Пулеметный стрекот все ближе. Визгливо проносятся пули. Рядом со мной закричала женщина, — у нее окровавлена шея. Я отворачиваюсь и медленно иду по перрону к вокзалу. Ощупывая и выворачивая карманы френча, разрывая в клочки бумажки и удостоверения, лихорадочно думаю все об одном и том же: как же быть, что делать?

До города версты полторы. Пройти туда и спрятаться у квартирной хозяйки? Но согласится ли она? Я спрашивал ее об этом года через два в Москве. Сказала: «Ну конечно спрятала бы». Однако у меня нет уверенности в этом и теперь, как не было и тогда, — я не вернулся на свою квартиру.

Город соединялся с вокзалом широкой, тенистой дорогой. Туда я не решился идти. С другого края станционных построек, можно было через дворы и межи выйти на тропинку, можно было пробраться на городскую окраину, где были у меня кое-какие знакомые на кожевенном заводе. Там меня и знали меньше. И я решил идти туда, завернув по дороге в первое попавшееся помещение, чтобы снять френч и по возможности принять штатский облик.

Буфет I класса, куда я зашел, был совершенно пуст. Как на экране, показалась передо мной голубая фигурка молоденького, румяного польского солдата. Он кричал что-то непонятное, а его большие голубые глаза глядели на меня пугливо и злобно. Я бросил в сторону револьвер. Спротивление было бесполезно. В окна, в двери лезли поляки. Солдатик для пущей верности ткнул меня штыком в ногу и велел идти впереди себя, как это обычно делается. Он шел позади, с винтовкой на изготовке. Через несколько шагов мы натолкнулись на «пана поручика». «Пся кровь — большевик» — ощерился он и начал выворачивать мои карманы. Я стоял, как совершенный истукан. Вдруг меня ударило, как электрическим током, — из моего бокового кармана необыкновенно ловко и аккуратно выпала запис-

ная книжка, которую я впопыхах позабыл уничтожить, — рапорт заведующих полковыми школами, отчеты о митингах... Неужели смерть?..

На ломаном украинском языке г. поручик объяснил мне, что он понимает по-русски, не умеет только читать, а потому предлагает читать вслух по его указанию и читать — последовало несколько крепких, оставшихся для меня непонятными выражений — так, как написано. Путаясь и заикаясь, я начал свое последнее — я был уверен в этом — чтение вслух, по возможности пытаясь заменять или проглатывать отдельные выражения и фразы.

Не помню что (и долго ли) читал я г. поручику. Резким толчком офицер вышиб у меня книжечку, вынул револьвер и предложил мне последовать за ним в сторону от железнодорожных путей.

Мне всегда казалось неестественным, когда герой романа перед смертью высылается автором в небольшой фамильный кинематограф и видит там, как быстрой чередой проходят перед ним одна за другой картины детства, юности и т. д. — вплоть до развязки. Я в эту минуту, которая должна была быть последней минутой моей жизни, не думал ни о братьях, ни о любимых, — ни о чем... Я как бы ничего не видел и ничего не чувствовал... Холмик, у которого мы стояли, да блестящий козырек офицерской фуражки — вот что запечатлелось бы в мозгу умирающего культуротника N-ой дивизии.

Спасаясь от первого расстрела

По непонятным законам ассоциации я неожиданно обратился к офицеру с какой-то французской фразой, — я очень хорошо владел французским языком еще с гимназических лет.

Что я сказал в дуло револьвера офицеру, сейчас не помню, по всей вероятности нечто совершенно бессмысленное. Но офицерик даже в лице изменился, и его рука, с пальцем на курке, опустилась. С болезненной медлительностью я почувствовал:

«Спасен...»

Почему все-таки я заговорил по-французски? Почему поручик передумал меня расстреливать? Задним числом

можно подыскивать более или менее подходящие объяснения. Возможно, что начальные звуки польской речи механически натолкнули меня на французский, а дальше побегал ассоциативный ток к новой батарее: легче будет объясниться с поляком по-французски: этот язык в большой чести в Польше... Вот тут-то я полуслучайно, полусознательно и нажал на нужную пружину...

У поручика начало двоиться в глазах: то ли я поганый большевик, то ли человек, близко стоящий к благам французской культуры?..

— Вы француз? — по-французски же спросил он меня.

Я понес совершенно несуразную чушь, — моя мать, мол, француженка, я, мол, собираюсь во Францию и т. д. и т. п.

Мы опять вернулись на вокзал. Солдатик, отупело глядя на меня, почтительно подал офицеру мою полевую книжку...

Поручик взял книжечку, прошел со мной в какое-то вокзальное помещение, где за столом заседало высокое начальство, а по углам жались те пленные, которым позволено было остаться в живых.

Поручик сказал полковнику, — кажется, это был полковник, — «мобилизованный, образованный человек, говорит по-французски» — и тут же добавил, что около меня найдена полевая книжка, но я отрицаю, что она принадлежит мне.

— Не так ли? — спросил он, обращаясь ко мне.

— Да, кажется, это не моя книжка, — совершенно обалдело ответил я.

Полковник, вначале хмуро глядевший на меня, как-то опешил от моего идиотского ответа. Воспользовавшись некоторым замешательством, поручик проворно вырвал листики, скомкал и бросил в угол.

— Говорит, что не его книжка, — повторил он, обращаясь к полковнику.

Щелкнув шпорами, он вышел. Больше я его не видел.

Здесь следовало бы написать, что если, мол, мой спаситель прочтет эти строки, то пусть он и т. д. и т. п. Но вряд ли польский офицер станет читать большевистские воспоминания, если конечно он не состоит на разведыватель-

ной службе. А если и прочтет и не раскается в содеянном, то во всяком случае не станет просить у меня благодарности за поступок, «пятнающий честь польского мундира».

Но зато, как я благодарен всему этому до глупости счастливому стечению обстоятельств, которое спасло мне жизнь!

На новой планете

Итак, я вернулся на землю.

На перроне валялись трупы людей, явно не защищавших свою жизнь. Большинство штатских, несколько женщин. Колотые раны говорят о том, что причина смерти — не шальная пуля. Трупы полуодеты. Рослый крестьянский детина, отложив винтовку и выпятив губу, тщательно снимает с неподвижно лежащей женщины меховую кофту. Он заметил мой пристальный взгляд и, нагло улыбаясь, подошел ко мне.

— Вот буты, хороши буты, — сказал он, указывая на мои ботинки.

Я не сразу понял, что это перевод на польский язык известного рассказика о японском или кавказском гостеприимстве, когда хозяин отдает гостю понравившуюся вещь.

— Снимай зараз, — грубо закричал он.

Я снял ботинки. А через несколько минут остался в одном нижнем белье. Кто-то накинул на меня рваную, невыразимо грязную куртку.

Теперь понятны писания польской прессы о нищенской экипировке красноармейцев. Пока наши доходили до «штатского» мира, — если доходили вообще, — они оказывались действительно в ужасающем виде. Но так же точно, глядя на ранения и кровоподтеки, нанесенные большевистским пленным уже в явно мирной обстановке, польские журналисты могли бы писать об омерзительных избиениях русских своими же красными командирами.

Под усиленным конвоем нас погнали в город, заперли в четырехэтажном здании бывшей гимназии. По улице я проходил с опаской, но меня не узнали, а если и узнали, то никто не донес.

Большая, светлая классная комната. В общей человеческой куче, лежавшей посреди комнаты, не было ни политра-

ботников, ни командиров, ни старых красноармейцев, — больше крестьянская молодежь нового пополнения. Внезапно я почувствовал всю тяжесть и горечь пережитого и предстоящего. Я мысленно прощался со своим советским двойником, с культработником N-ой дивизии, прощаясь, если не навсегда, то надолго. Слегка изменив фамилию, я стал мобилизованным учителем красноармейской школы, беспартийным интеллигентом.

Выхваченный из теплой товарищеской среды, оторванный от любимого дела, от советской действительности, я чувствовал себя в польском плену, в польском тылу, как летчик, которого унесло бы в межпланетное пространство. Как одиноко, холодно и безнадежно!

Распахнулась дверь. С криком и ругательствами вошли несколько унтеров.

Я назвал мою фамилию и положение в армии, как успел обдумать это в своем уединении.

— Жид? — с остервенелой злобой бросил мне один полячок.

— Нет.

— А кто есть, пся кровь?

— Татарин, — сказал я после минутного раздумья, быстро учтя некоторые органические особенности, роднящие мусульман с евреями. Внезапный переход в мусульманство не раз оказывал мне впоследствии большую помощь. Там, где поляк забивал на смерть еврея, он мог под добрую руку избить человека другой национальности только до полусмерти.

— У, мусульманская морда, — произнес старший с несколько меньшей экспрессией, размахивая своими кулачками.

— Жид проклятый, — слышался его жирный баритон по соседству со мной: он дошел до еврея-красноармейца. Хрястнуло несколько ударов.

— Вправду, не жид? — вернулся ко мне мой «господин и повелитель», недоверчиво разглядывая мою физиономию.

— Татарин, — повторил я снова.

— Пся кровь, набески очи, — сказал в раздумье поляк и, махнув рукой, прошел дальше.

После краткого знакомства с нами нас послали чистить отхожие места. Тут же стояли несколько польских солдат и, мило подшучивая, покалывали шты-

ками того или иного товарища, не обнаруживавшего достаточного рвения.

Потом, подгоняемые пинками и прикладами, мы опять поднялись к себе наверх. Там нас заперли на ночь, бросив предварительно по куску хлеба. И мы ели хлеб — сказать ли? — немтыми руками.

Я заикнулся было о том, как бы помыться.

— Мыть? Здыхай, пся кровь...

Ударом кулака унтер бросил меня на пол. Я бил руками о стену, выворачивал ступни ног, чтобы хоть как-нибудь очистить их.

В эту ночь я почти не спал. Забудусь на минутку сном — и уже в горло лезет жесткий, удушающий истерический клубок.

На следующий день нас не посылали «на работу» и не кормили. По несколько раз в день заходили польские офицеры, шныряли по комнате, выпрашивали. В результате 6 наиболее подзрительных — и я в том числе — были отведены в другую комнату и оставлены там под усиленным караулом: один часовой стоял в коридоре, другой у двери в самом помещении. Посреди дня вошел наружный часовой, пошептался со своим товарищем и швырнул мне небольшую корзиночку с белым хлебом и куском колбасы. «Эй, старый» — крикнул он мне, указывая на окна. Недоумевая, я подошел к окну и увидел далеко внизу, за оградой, две фигурки. Нина и Оля — дочь квартирной хозяйки и ее подруга — узнали, оказывается, каким-то чудом, где я нахожусь, и принесли мне передачу.

— Назад! — раздался окрик второго часового, который, не получив надлежащей мзды, решил прекратить опасное сообщение с волей.

Я не мог оторваться от окна. Грянул выстрел, чуть опаливший мне бороду. Тогда только я отошел и упал на пол...

В нашей комнате оказалось старое надтреснутое зеркало. Я остановился перед ним и вскрикнул, увидя наполовину чужое лицо. Теперь стало понятным, почему и часовые, и пленные красноармейцы величали меня стариком. У зеркала стоял человек 26 лет с мутными полусумасшедшими глазами, с сильно тронутыми проседью волосами, жалкий, осунувшийся, сгорбившийся.

Прошел длинный, тоскливый день. Мои товарищи почти не разговаривали со мной. Они считали меня слегка тронутым, особенно после того, как по какому-то пустяковому поводу я пришел в ужасное раздражение и начал что-то очень горячо и путано доказывать. Часовой начал уже вслушиваться. Меня еле-еле остановили.

Торжественный багряный закат заполнил комнату. Я потянулся к окну — единственному выходу в мир, на волю... Если бы не окрики товарищей и ругательства часового, я так бы и вышел, кажется, сквозь переплет рамы и звон стекла, по мягкому, пушистому красному ковру заката — к смерти, к освобождению.

Ночь. Все заснуло. Вдруг я услышал, как осторожно отпирают замок, услышал бряцанье сабель, топот ног.

«Выводят на расстрел» — подумал я. Минута-другая ожидания. Дверь раскрывается. В комнату вносят большую посудину с каким-то варевом.

Поездка в Галицию

Ранним утром следующего дня нас выстроили во дворе и после переклички, сопровождаемой бранью и зуботычинами, повели на вокзал. Я едва держался на ногах, — меня качало из стороны в сторону. Кто-то сказал унтеру, что у меня жар, я брежу. Он остановился на минутку и, сказав «добре, добре», махнул рукой и пошел дальше. Он был прав, этот бравый унтер. Мне бы не сдобровать в Житомире. Каким-то чудом мне удалось избежать посещения военной комиссии с добровольцами из местной буржуазии, занимавшейся отбором и выявлением «комиссаров». Я был единственный более или менее значительный работник, попавший в плен.

Босой, в подштанниках и рубахе, я на холодном апрельском ветру больше всего страдал от того, что не поспевал за товарищами. Для первой прогулки босиком — неподходящая обстановка. С вокзала в тюрьму я еще кое-как добрался в чулках. Теперь же я то и дело попадал голый непривычной ногой то на камень, то еще хуже — в лужу.

Ехали мы не день, не два, а целых 12. Народу было много, так что мы согревали друг друга. Но от меня, как от больного, естественно, сторонились. Я

лежал один и то мерз немилосердно, то весь горел, мучаясь палящей жаждой.

Мы явно мешали жить сопровождающему нас унтеру — простому, инертному крестьянскому парню. Чтоб вознаградить себя за беспокойство, он не кормил нас, присваивая себе те жалкие гроши, которые отпускались вероятно на нашу кормежку. А, может быть, я и клевету на пана Владека?

Во всяком случае 7—8 дней мы оставались абсолютно без всякой пищи. В интервалах между приступами возвратного тифа, жестоко трепавшего меня в течение всей поездки, я испытывал очень странное ощущение. После 2-3 дней голодовки есть уже не хотелось. Чувство большой слабости соединялось с приподнятостью духа и легкой, приятной мечтательностью.

Многих мы не досчитались за нашу поездку, и за многих вероятно продолжал наш «старший» благодушно выписывать несуществовавшие путевые расходы...

Нельзя сказать впрочем, чтобы наша поездка совсем была однообразна. Помню, как на больших станциях к нашему вагону подходили господа с палками, «дамы из общества». Наиболее «подходящих» пленных вытаскивали из вагона, били и царапали. Особенным успехом пользовались евреи и один китаец. С тошнотой вспоминаю, как эти звери подступали ко мне. Начинался неизменный диалог.

— Жид?

— Не.

— Правду? — и т. д.

— В тифу лежу, — говорил я наконец с отчаянием юродивого. Это оказывало нужное действие, публика очень быстро оставляла меня в покое, приговаривая: «Ну и подыхай, его бы пристрелить нужно». Мне говорили, что какой-то шляхетский юноша действительно хотел испробовать на мне свой револьвер. Кто-то его остановил.

Всему приходит конец. Пришел к месту назначения и наш поезд, сутки, а то и больше простаивавший на станциях. Нас привезли в Станиславово — в Галицию.

Станиславово

В Станиславове я наконец попал в госпиталь. Пришел доктор, — первый

врача, какого я видел за все время плена, — посмотрел на меня и сейчас же послал за носилками.

Унтер что-то неодобрительно сказал ему.

— На бачность! (Смирно) — прикрикнул тот вместо ответа и, звякнув шпорами, пошел к выходу из станционного зала.

Через полчаса я очутился на чистой больничной кровати. На ночном столике стоят склянки с лекарствами. Трудно выразить, что я почувствовал, очутившись в больнице. Спокойный голос врача казался мне музыкальным. Скучный больничный обед я ел медленно, смакуя каждый глоток. Чего стоила одна возможность вытянуться на постели и заснуть, не опасаясь того, что грубый пинок бросит куда-то на свалку, заставит обороняться, оправдываться!

Ординатор был любопытным представителем отмирающей «чистой медицины». Капитан польской службы, знающий и строгий человек, он лечил меня как больного, стараясь не задумываться ни над чем сторонним. Либеральный интеллигент, он, может быть, и по «человечеству» чувствовал ко мне жалость как к беззащитному, слабому и больному человеку. Но это не умеряло его усердия, — он делал все, что полагалось. А ведь чем лучше меня лечили, тем скорее приближался момент выписки, о котором я не мог и думать без содрогания...

Пока же я был болен и сильно болен. Возвратник подходил к концу, но небольшие ранения, полученные мною при взятии в плен, загноились, а в ослабленных тканях организма запылали гнойные очаги фурункулеза. В верхушках обоих легких открылись процессы.

В небольшой палате нас лежало 5—6 человек. Окна широко раскрыты в солнечный сад. В окна плывет пение. Молодые, сочные голоса старательно вводят:

Дай мне, дивчина, хустыну,
 Може, я в поле загыну,
 Накрою очи
 Темною ночью —
 Легче в могилы спочыну...

Все лежащие вместе со мной больные были галичанами и украинцами. Быстро завязались знакомства, начались разговоры. Понемногу к «большевицкому

офицеру», как меня некстати окрестили галичане, стали сходиться и из соседних палат. Создалось нечто в роде политшколы I ступени. Необычайно цепко хватаясь за жизнь, я быстро освоился с польским языком, читал польские газеты, которые мне украдкой приносила сестра, и потом рассказывал, что делается, невольно сопровождая польские вымыслы советскими комментариями. В госпитале я прочел кстати о первой поездке Красина в Лондон. Это осталось у меня в памяти потому, что тогда к нам подошла старшая сестра и приняла участие в беседе. Она вскользь бросила, что если Красин «не жид», может быть, и добьется чего-нибудь от англичан.

Там же читал я и о стремительном продвижении наших войск, чувствуя, что я по-настоящему крепну и молодею, нащупывая правду в увертливых бюллетенях «главного дозудовства».

Мы беседовали на самые разнообразные темы, — и о том, может ли хлибороб пойти в коммунию и куда подавать галичанам, и как нас кормят, и т. д.

Как-то привели к нам нового больного — высоченного детину с дико горящими глазами и большим чубом. Он производил впечатление человека довольно начитанного, сельского учителя, занимавшегося самообразованием. Новичок несколько дней лежал молча, слушая, как я особенно осторожно вел беседу, почти не высказываясь сам. Как-то вечером он приподнялся на постели, и, поддерживая свою простреленную руку, начал длиннейший диспут, и мы, забыв про стены больницы, повели обычный, горячий и бестолковый спор (мой собеседник был настроен анархически).

— А знаете, — внезапно прервал он меня, — если бы вы, пан добродию, попались ко мне в лапы, я бы повесил пана, да не сразу, а над добрым огоньком...

Я внимательно посмотрел на моего собеседника. Это был Ангел, небезызвестный на Украине бандитский атаман.

Прибывшие со мной пленные были, оказывается, поделены на русских и украинцев. Специальная петлюровская комиссия отобрала самых «ширых» и оставила их в лагере, где с благословения Пилсудского формировались новые части УНР (так называемой Украинской народной республики). Остальных от-

правили куда-то на тяжелые мостовые работы. Не могу вспомнить фамилии, но как сейчас вижу перед собой одного тихого еврейского парня, который все возился со мной во время нашего ужасного путешествия из Житомира. Погиб бедняга — то ли его заколотили надсмотрщики, то ли умер от тифа? Мне передавал о его смерти один пленный из этой партии, каким-то чудом попавший в наш госпиталь. Он один, кажется, и остался в живых из всех 80 человек.

Больничная передышка сыграла большую роль в моей жизни. Я слегка оправился, окреп не только духом, но и телом. Выкарбаться из польского болота, вернуться к своим в Советскую Россию, выжить, чтоб отомстить, вот о чем непрестанно думал я.

Наступала осень. По радостному тону польских газет я видел, что откат наших войск — печальная действительность. Здоровье мое улучшалось, — скоро опять придется шлепать босыми ногами по липкой, холодной грязи.

До обозу

Меня выписали из больницы и автоматически направили в петлюровский лагерь формирования. Что ж, попробуем напаять новую шкуру!

Под расписку сдают меня в канцелярию лагеря.

Я опять в рваном белье, босой. Молодой офицерик рассеянно заполняет мой анкетный листок. Все проходит необычайно гладко, и через несколько минут я уже нахожусь в помещении второго полка. Это большая конюшня, где с обеих сторон в 2 этажа тянутся нары для солдат. Совершенно ошарашенный, я укладываюсь на свое место.

За отсутствием обмундирования на ученье меня пока не гоняют. Только утром и вечером выхожу на проверку. Пою вместе с другими «Заповидь» Шевченки:

Як умру, то поховайт
Мени на Вкраини...

Стихи Шевченки и читки из Гоголя ярко подчеркивали всю бессмыслицу идеологической основы петлюровщины, заключавшейся в попытках возрождения средневековья.

«Старый гетман сидит на вороном

коне. Блестит в руках булава; вокруг сердюки, а по сторонам шевелится красное море запорожцев» («Страшная месть» Гоголя).

В обстановке польско-петлюровского лагеря вся эта романтика подергивалась ироническими гримасами. Какие уж тут исторические воспоминания! Парни были больше «в рассуждении того», как бы пограбить дозволенным образом, не подвергаясь ни порке, ни военной опасности...

Дисциплины в лагере мало. Офицеры-украинцы срываются на ругань и рукоприкладство. Большинство офицеров — русские. Они чувствуют себя не в своей тарелке.

— По вечерам не поют! — крикнул нам как-то такой офицер, проходя по бараку после 10 час. вечера:

— Не поють, а спивають, — ответил мой сосед. Офицер смолчал.

Лагерь охранялся польским и петлюровским караулом. По вечерам парни лазили по садам и огородам, чтоб пополнить скудное питание. Галицийские дядьки приходили жаловаться на своих украинских родичей. Тех жестоко пороли. Дежурный офицер разыгрывал при этом комедию суда, так что выходило, что сами же шереговцы и одноричники (солдаты и вольноопределяющиеся) присуждали своего товарища к порке.

Длинные прутья всегда лежали наготове. Я с трудом выбрался из казармы, когда при мне засекли двух солдат — парней, пойманных в соседней деревне. Они собрались бежать, да выдал один «дядько», у которого они заночевали в амбаре.

...Я обмозговал план бегства вместе с двумя товарищами. Мои расчеты на возможность возвращения на Украину вместе с петлюровской частью не оправдались. Части комплектовались крайне медленно. Зато все больше приходило народу из госпиталя, и разговоры о большевистском офицере были весьма нехстати. Приходилось заблаговременно убираться, пока эти перешептывания не дошли до ушей начальства.

Пока все же мои больничные знакомцы и слушатели меня не выдавали.

Как то, дня за два до намеченного побега, к нам в барак зашел начальник лагеря. Надо отдать ему справедливость: человек знал, чего хотел, и умел

добиваться своего. Он собрал всех в кружок и начал рассказывать об организации «закордонных» курсов, откуда будут посылаться разведчики в большевистский тыл. «Кто мае освиту, — закончил полковник, — записывайся». Лиц с образованием — освитой — было у нас всего несколько человек. Меня притащили «пред светлые очи» атамана и внесли в список. Это решило мою судьбу. Как ни заманчива могла показаться такая перспектива, я и не думал итти на курсы, где меня бы конечно сейчас же расшифровали, да и сам я вряд ли вынес бы тамошнюю науку. Бежать, бежать...

На меня донесли. В тот же вечер я был арестован и отведен в помещение караульной роты. Помню еще, как дрогнул мой голос, когда я ответил «здесь» на оклик поручика.

Допрос велся офицером из киевских присяжных поверенных. Он старался соблюдать видимость законности. Я горько усмехнулся на вкрадчивое замечание врид. прокурора, что мои объяснения неправдоподобны и что в моих же, мол, интересах рассказать все начистоту и т. д. Дело было плохо: на фактической территории УНР, в лагере формирования, где действовали законы военного времени, обнаружили большевика! Как назло нашелся еще какой-то урядовец (служащий), якобы знавший меня по работе в Киеве.

«Плохо мое дело» — думал я, лежа на своих нарах в караулке. Особенно горько было думать это под разговоры и песни молодых парней.

Дай мне, дивчина, хустыну
Може, я в поли загыну...

Я гнал от себя мысли о настоящем, опять убеждаясь, что ожидание смерти — мне по крайней мере — ничего возвышенного не приносит.

Як умру, то поховайты
Мене на Украини
Середь степу... широ-о-кого...

Мне все равно было, где «истлевать», но я вспомнил, как за несколько дней до ареста мне удалось выйти из лагеря погулять. Жирная земля, большие развесистые вязы, яблони за изгородями так и пахнули на меня ароматом земли, листвы — жизни. Так же, как деревья, выросли в землю вот эти ядреные моло-

дайки, шлепающие мимо меня по грязи... Перекати-поле, я задержался тут на дороге на мгновение, на месяц. А там понесет меня снова мимо крестьянских девушек, мимо галицийских деревень... И вот — убогая караулка, нищяя нара, а потом, да л ь ш е?..

Снова спасаюсь. Вадовидский лагерь

— Если ты упадешь с колокольни и останешься жив, — как это назвать?
— Случай, — отвечает семинарист.
— А если это случится с тобой во второй, в третий раз?
— Привычка.

«Чудеса» утомительны, особенно когда они, как гласит старый анекдот, обрастают в привычку. Но что поделаешь? Меня, как того семинариста, судьба опять бросила с колокольни — и я опять остался жив.

Не знаю, что случилось, — приехала ли какая-то американская комиссия, и хитрый начальник лагеря решил не смущать благонравных упитанных джентльменов, или госпитальный доктор помог, — только в одно ненастное и невыразимо прекрасное утро сорвали с меня петлюровскую форму — разжаловали, так сказать, погрузили в обычном дорожном костюме, т.-е. в одном белье, в товарный вагон и отправили в штрафной концентрационный лагерь — в Вадовицы.

Конвойный попался подходящий — плохо грамотный, толковый и незлой парень. Ему импонировало, что его прикомандировали к моей особе — не только пленного, но и государственного преступника. Кроме того, я умел читать и разбирался в польских газетах лучше него. Некоторые шероховатости и опасности представлял лишь вопрос моей кормежки. Но я был очень непритязателен, понимая, что нельзя предъявлять больших требований и к лучшему польскому капралу. Отношения наши стали почти сердечными, когда я неожиданно стал доходной статьей для моего конвоира. Дело в том, что кто-то надумил его выдавать меня за сошедшего с ума польского солдата. (Кстати сказать, мои злоключения меня должным образом загримировали, и я внешним видом действительно производил впечатление не вполне нормального человека). Обеспечив мое молчаливое согласие, Юзек начал собирать для меня добротные да-

яния, львиную долю которых он брал, разумеется, себе.

И вот лагерь — какие-то погребя, засыпанные сверху землей. Сыро. Чувствительно покусывают крысы. Голодно, холодно. В 5 часов утра показывается здоровенный краснорожий унтер с суковатой палкой в руке, орет:

— Вставать, пся кровь. Вставать! Але юнж-прентко (прытко).

Чуть зазевался, — с наслаждением хватит тебя палкой по чем попало.

Проверка и распределение на работы происходили в обеденное время, когда мы выходили получать резко зловонную жижицу вместе с куском хлеба, — это составляло наш ежедневный утренний рацион.

Слышу протесты возмущенного польского патриота, который цитирует официальные отчеты с указанием, что на каждого пленного полагалось столько-то граммов жиров, углеводов и т. д. Допускаю. Именно поэтому повидимому польские офицеры так охотно шли на административные должности в концентрационных лагерях. В самом деле: и крамолу искореняешь, и самому тепло и сытно.

Ночью, по нужде, выходить опасались. Часовые как-то подстрелили двух парней, вышедших перед рассветом из барака, обвинив их в попытке к бегству. Пресловутая инсценировка бегства и оскорбление начальства стоили жизни не одной сотне наших пленных. Подозрительных зачастую переводили в особый барак, — штрафной барак штрафного лагеря, — откуда уже не выходил почти никто. Я туда не попал только потому, что был все-таки очень слаб и, по диагнозу наших палачей, должен был в скором времени подохнуть и без применения особых мер.

Не успел я прибыть в лагерь, как капрал направил меня на работу: ползать на коленях по лужайке, очищая ее до последней травинки. Произошел следующий диалог:

Я. — Болен сейчас, не могу итти на работу.

Капрал (с издевательством). Хворый, пся кровь. Зараз будешь здрув.

Хлоп — и меня ожгло по щеке. Я повалился на землю.

Только с трудом поднявшись на ноги, я понял, что собственно произошло, так

ново было это ощущение, — первый раз в жизни получил пощечину. Я чуть ли не собрался драться с капралом, до того обезумел от злости.

Если бы мой собеседник внимательно посмотрел на меня, подметил выражение лица, — меня можно было бы расстрелять на самом законном основании. Но капрал менее всего вдавался в психологию; он дал мне еще одного тумака, от которого я снова свалился, пнул меня ногой и ушел по своим делам.

Не надолго хватило зарядки, полученной мной в госпитале в Станиславове. Через несколько дней я перестал подниматься с нар за получением пищи. Опять открылись залеченные было болячки. Не знаю, нужно ли добавлять, — разве для сведения подростков и то очень наивных, — что никакой возможности помыться или постирать белье не представлялось.

Тянулись мучительные дни. Капрал оставил в покое лишь после того, как зверски избил палкой, не заставив меня даже открыть глаз. Я был в таком состоянии, что ударов почти не чувствовал.

В околоток

Обратиться к врачу в околоток? — Старший врач, еврей, капитан, выходил на прием с хлыстом и собакой. Подвергались осмотру только исполосованные хлыстом и искусанные больные, не имевшие физической возможности спастись от четвероногого и двуногого зверя. Хотя я и дошел уже до такого счастливого самочувствия, — никак не мог взвинтить себя на это решение.

Как-то у меня созрел такой план: врач — еврей, у меня был отдаленный родственник — довольно видный сионист, бессменный делегат на мировые сионистские конгрессы. Не пойти ли с этой карты? Если «пан капитан» хоть как-нибудь подозрительен по сионизму, он может снизить к «племяннику». Терять мне было нечего.

В ясный, холодный, осенний день я,ковыляя, отправился на врачебный осмотр. Капрал удивился моей прыти, но милостиво отпустил. И для такого мало утешительного визита требовалось особое разрешение.

Доктор Бергман оказался на этот раз в сравнительно хорошем настроении. Он

внимательно выслушал раненого, прошедшего с костылем, и потом, вырвав костыль, избил калеку и заставил его на одной ноге допрыгать до выходной двери. Закончив эту трудную операцию, он обратился ко мне.

До чего может дойти человеческая подлость! Ни в отвратительной сцене, свидетелем которой я был, ни во мне самом ничего смешного, казалось бы, не было. Однако санитар радостным хохотом встретил упражнения «пана капитана».

Подобострастно и в то же время фамильярно-ободряюще глядел он на своего начальника, заранее предвкушая новую молодецкую штуку, которую военврач учинит со мной.

— Знаете ли вы г-на Самюэля, — быстро обратился я к капитану по-немецки, выхватывая инициативу.

— Раз как-то встретил его в Базеле, — ответил по-немецки же капитан, глядя на меня во все глаза.

Санитар стоял, разинув рот.

— Это мой дядя, — продолжал я, до крови прикусив губу.

— Что, дядя? — круглые глаза доктора чуть не вылезли на лоб.

— Где жил, как зовут, что с паном Самюэлем, — засыпал он меня вопросами, желая проверить — не вру ли я.

Экзамен сошел благополучно. Я несколько раз бывал в детстве у «Абрама Самюэля и сыновья», а еще больше знал о нем понаслышке.

На все вопросы доктора дан был удовлетворительный ответ.

В результате санитар, ставший вдруг идиотски серьезным, взял меня под локоть и помог пройти версту, отделявшую госпиталь от околотка. В пути я не мог отказать себе в удовольствии с пристальным нахальством посмотреть на моего санитаря.

— А, сволочь — сказал я чуть ли не вслух, — не дождался спектакля.

Мной овладела чрезвычайная усталость. Ну, что ж, купил себе еще одну передышку.

Но какой ценой? Я — то мусульманин, то сионист; сегодня кривляюсь по-французски, завтра говорю по-немецки. Из-за чего столько возни и унижения? Сколько ни хлопочи, сколько ни устраивай хитроумных передышек, все равно подохнешь в этом мертвом доме

польского плена, отгороженный от всего родного и близкого...

Госпиталь в Вадовицах

Большой вадовицкий госпиталь ничем не напоминал опрятной больницы в Станиславове.

Меня привели в длиннейшую сумрачную палату и поставили у койки дожидаться врача.

Через полчаса показался мой сионист с высокой, очень высокой женщиной в белом халате. Во всей ее сильной фигуре было что-то от лошадки, от беклинского кентавра. До меня долетел отрывок фразы капитана:

— Таки вышталцонный человек (то-есть такой образованный).

Пани докторова — я так и не узнал ее настоящей фамилии — внимательно, чуть брезгливо посмотрела на жалкую, прислоненную к стене фигурку.

— То добже, — сказала она, едва заметным кивком головы попрощавшись с моим знакомцем. Кстати сказать, я больше его не видел. Случайно я попал в хорошие руки. Санитар принялся было срывать остающиеся еще кое-где на теле заскорузлые, невыразимо грязные повязки. Докторша отстранила его одним взглядом и принялась отмачивать горячей водой присохшую марлю. Я лишился чувств. Потом меня выкупали, сняли повязки, докторша промывала эфиром ранки и нарывы. Я опять потерял сознание, когда она стала вкладывать тампоны в образовавшиеся фистулы.

Кормили нас по сравнению с лагерным изысканно-обильно, но на скромные человеческие стандарты — очень и очень плоховато. В лагере я вообще медленно гнил и отмирал. Здесь же, придя понемногу в себя, начинал собираться с силами, чувствовал невероятные, истерические приступы голода. Воображение распаялось почти реальными миражами всех известных мне и по опыту и понаслышке яств и напитков.

На этот раз выздоровление мое шло крайне медленно. Фурункулез в'елся в ослабевший организм и, почти не встречая сопротивления, прорывал гнойные ходы в тканях — от нарыва к нарыву. Особенно плоха была правая нога. Я уже не терял сознания при перевязках и

тампонировании и жалел об этом, — столько мучений приносила операция!

Моя докторша пригласила на консилиум врача из соседнего барака. Солидный майор грубо осмотрел меня и высказал предположение, что язвы — сифилитического характера. Докторша прямо-капризно мотнула остриженной головой.

— ...Який нонсенс!.. — Как сейчас вижу густые, нежные, медного оттенка волосы. Совсем гнедая лошадка. — «Гнедка» называл я ее про себя.

Пан майор подумал еще с минуту.

— Во всяком случае ногу не спасти. Резать надо.

— Подумаю, — недовольно ответила «Гнедка».

Через 5 минут она снова была около меня.

— Пусть пан не волнуется. Не дам резать.

Я устало закрыл глаза.

Хотя я и лежал в военном госпитале, хотя французские благодетели и поставляли горы всяких медикаментов, — во всем ощущалась чрезвычайная скудость. Нехватало иоду, бинтов. перевязки менялись польским солдатам не чаще двух раз в неделю. О пленных, лежавших в лазарете, и говорить не приходится.

Чем был я для «Гнедки»? — Офицером неприятельской армии, человеком

чуждых убеждений, социальным врагом. И все же эта полька, судя по всему, типичная представительница своего класса и своей эпохи, очень часто приходила ко мне, крадучись, поздним вечером, осторожно снимала смрадные бинты, освежала утомленную, наболевшую кожу каким-то перувианским бальзамом и ухаживала, наложив свежие повязки, такая же далекая, как всегда.

— Яки смутны очи, пан (какие печальные глаза), — вот единственные не относившиеся к делу слова, которые я услышал от нее.

В палате лежали и наши, советские, пленные, и петлюровцы, и галичане, и польские граждане... Мы почти не беседовали друг с другом. Наша сестра — отвратительное и злое создание — требовала, чтобы все говорили по-польски. Она шныряла по палате, как летучая мышь, подслушивала и доносила начальнику госпиталя. Не надо думать, что у меня было привилегированное положение. Наоборот, я щадил мою «Гнедку», никогда не обращался к ней с жалобами и по возможности хранил тайну ночных визитаций. Да и сама докторша никаких послаблений мне не делала. Она понимала повидимому, что и в моих интересах соблюсти известные «аппарансы», видимость обычного больничного положения. Малейшая неосторожность, — и нам бы обоим не сдобровать.

(Окончание следует)

Сказочное имя

Рассказ

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

I

Когда у районного хозяйственника, члена горсовета Хачатурова, Андрея Османыча, родился сын, он сказал своей жене Людмиле Сергеевне, урожденной Вельяминовой:

— Я придумал, как мы его назовем!.. Я взял, понимаешь, отрывной календарь, и есть там такое имя — Садко, а?.. Мне понравилось... Мой дед назывался Садк. Садк, Садко — очень между собой похоже... И где-то я слышал такое: Садко... Гм, Садко... Где именно, не могу вспомнить.

— Опера есть такая — «Садко», — сказала Людмила Сергеевна.

Она хотела было добавить, чья это опера, но знала, что муж ее, хозяйственник, все равно минут через десять забудет имя композитора, и она, лежа в постели, только морщила страдальчески лоб и смотрела хмуро на блестящее в соседней комнате, недавно заново отполированное пианино, взятое напрокат.

Через день Андрей Османыч, явившись с работы и внимательно вслушиваясь в покряхтыванье ребенка, подняв к носу палец, сообщил жене:

— Итак, сделано!.. Записал его в загсе... Появился, мол, на свет новый советский гражданин Садко... Приходи, кума, радоваться...

Андрей Османыч был невысокий, но очень плотный, лет тридцати пяти, бритый и с бритой до синевы круглой, лобастой азиатской головой, с глазами, как спелый терн, и с приплюснутым носом, а Людмила Сергеевна — рослая красивая блондинка, похожая на англи-

чанку, с длинной шеей и покато спадающими плечами.

— Все-таки такого святого — Садко — нет и никогда не было, — отозвалась она мужу, чуть улыгнувшись.

Он провел по ней своими спелыми тернами не спеша.

— А на чорта нам эти святые?

— Все равно конечно, пусть... Пусть он будет Садко, а я буду звать его Сашей...

И взяв на руки крохотное существо, недавно от нее отделившееся и зажившее свою собственной сложной и непонятной, трудной и волнующей жизнью, она добавила нежно:

— Дитенок мой, дитенок мой крохотный! Ты будешь носить старинное сказочное имя!

Носитель сказочного имени был явно доволен этим: он чмокал губами и пускал приветственные пузыри.

В первые месяцы Садко казался матери (он был у нее первым ребенком) до такой степени безобразным, что она показывала его своим знакомым женщинам только в сумерки и с ужасом ждала, что те всплеснут руками и скажут о нем непосредственно:

— Урод!.. Но ведь это же настоящий урод!.. Разве могут быть такие нормальные дети?..

Однако они ничего страшного не говорили: по их мнению, ребенок был как ребенок. Когда же они узнавали его имя, они восхищались:

— Садко?! Скажите!.. Садко — гусяр новгородский!.. — и щелкали пальцами перед его пуговкой-носом.

К году Садко выровнялся, очень располнел, заговорил, передвигался по комнатам, держась за все встречаемые предметы.

Андрей Османьч, наблюдая, как он учится ходить и бывает недоволен, когда ему помогают, говорил с чувством:

— А что?.. Ого!.. Малый далеко пойдет!.. Наркомфин будет... а то нет?.. Товарищ Хачатуров, Садко Андреич!..

Когда он называл свою фамилию, то начинал ее по старой детской привычке с весьма гортанного звука, так как раньше, чем стать Андреем, он был Ахметом.

Маленький Садко был единственным ребенком в семье и потому становился чем старше, тем деспотичнее. Часто, когда было ему три года, гнал он от себя свою няньку, скромную старушку:

— Уйди! Совсем уйди! Противная!

— Вот ты уж какой богатый стал! Нянька уж тебе не нужна оказалась! — зритворно удивлялась старушка и разводила руками.

— Уйди!

— Уйду, когда такое дело...

И уходила. Но один Садко долго оставаться не мог. Минут через пять он уже звал ее, сначала тихо:

— Ня-янь!

Потом погромче:

— Ня-янь-ка!

Наконец во весь голос:

— Ня-я-я-я!..

Тогда появлялась хитрая старушка и как ни в чем не бывало начинала его занимать:

— А вон, посмотри-ка, собачка!.. Ах, какая знаменитая собачка! Сама рыженькая, ушки черненькие, глазки — янтарики!..

Садко тянулся к окну, чтобы посмотреть собачку, но старушка говорила жалостно:

— Ах, досада какая нам! Да ведь взяла, подлая, и убежала!

Но Садко замечал, что она выдумала свою собачку, и, глядя на няньку исподлобья, кивал укоризненно головой.

При нем нельзя было сказать ничего такого необычного, чтобы он не обратил внимания, не заметил и не запомнил. Как-то зашел к ним в гости председатель горхоза, немолодой уже человек,

член ВЦИК Карасев, и сказал Людмиле Сергеевне:

— Да вы меня очень не угощайте, хозяйюшка, я все ем без разбора... кроме гвоздей и мыла конечно...

Тогда из своего угла, где он был занят игрушками, вышел изумленный четырехлетний Садко и — палец во рту — спросил его тихо, но настойчиво:

— И вак-су ешь?

Большую подушку он называл подухой, столовую ложку — логой, отцовскую фуражку — фурагой, тщательно подразделяя все предметы на маленькие и большие.

Говорить он начал речисто, чисто, убедительно и однажды на детской площадке побил девочку одних с собою лет за то только, что она сюсюкала и картавила. Кто-то из ее домашних научил ее читать наизусть старые стишки, и она их вздумала читать на площадке, как дома, — нараспев и враскачку, — так:

Мальсиска сигаёнок,
Для всех сюзой лебёнок,
Силётка бедный я;
Где есть земля и небо,
Вода и колька хлеба, —
Там ёдина моя!

Садко послушал-послушал и вдруг серьезно и сердито начал колотить ее по спине кулаками.

Когда его оттащили и спросили, за что он бил девочку, Садко ответил, возмущенно передразнивая:

— Се-лёд-ка бедная!.. Ишь!.. Колька хлеба!.. А не умеешь говорить, так и не суйся!.. Тоже!.. Сюзой лебёнок!..

Сказали об этом Андрею Османьчу и просили не пускать сына на площадку в течение недели.

Хачатуров гладил сына по круглой, как у него самого, вместительной голове и говорил жене:

— Ну что? Не волевая натура?.. Вот то-то и есть!

А Садко ворчал:

— На неделю!.. Тоже еще!.. Да я совсем туда больше не пойду!.. Никогда! Совсем! Никогда! Никогда! Никогда! (Когда он волновался, то повторял одно и то же слово по несколько раз).

В пять лет он уже читал, писал крупным прямым почерком и решал простые задачки.

Раз как-то вздумал спросить отца:

— Папа, а ты знаешь, что случилось, когда... у мальчика было две монеты в две и три копейки, а он одну потерял?

— Что случилось тогда?

— Да.

— Что же тогда могло случиться?.. Плакал он, должно быть, этот мальчик?

— Что ты, папа?! В арифметике?.. удивился Садко. — В арифметике никто никогда не плачет!

Сам же он и вне арифметики старался плакать как можно реже.

Когда будил его отец по утрам:

— Ну-ка, Садык, вставай!

— Не рычи, сделай милость! — отзывался Садко, не открывая глаз.

А когда однажды и отец, и мать его ушли на собрание, оставив его на попечение няньки, а к няньке зашла нянька из соседней квартиры, и обе старушки заговорились при вечерней лампе на кухне, Садко слушал их, слушал, переводя глаза с одной на другую, наконец покачал головой, вздохнул и сказал задумчиво:

— Сидят, как два чортика, и болтают!.. А моя нянька и забыла совсем, что мне надо ужинать и спать!

Глаза у него были большие, серые с длинными ресницами, как у матери, нос же не ее, не прямой, а скорее приплюснутый, как у отца, отцовский подбородок, но матерински тонкие губы; и цветом волос, теперь очень светлых, но которые должны были скоро золотеть, он вышел в мать.

Людмила Сергеевна, сама очень неплохо игравшая на пианино, стала учить его музыке и поражалась его слуху.

— У него почти аб-со-лютный слух, а ты говоришь: ко-мис-сар!.. Из него не комиссар, из него композитор может выйти! — говорила она восторженно.

— И на кой же чорт он тогда кому-нибудь будет нужен? — удивлялся ее восторженности Андрей Османыч.

Но все-таки сам же купил ему балайку, которую так полюбил Садко, что даже и ночью она висела над его постелью.

Как-то Андрей Османыч был свободен от горхозных дел и, выспавшись после обеда, оказался очень семейно на-

строен. Он посадил сынишку к себе на колени и спросил его:

— Что же ты, житие своего ангела знаешь?

— Какого ангела?.. Не знаю никаких ангелов!.. Пусти, я сейчас воробья сшибу рогаткой!

Но отец не пустил его, отцу захотелось пожаловаться на свое прошлое.

— Вот ты даже и не знаешь, а кому ты этим обязан? Нам!.. Это мы все подобное списали со счетов долой... А меня вот заставлял поп учить наизусть, а? Житие моего «ангела» Андрея Первозванного... И сейчас даже помню я, что он «водрузил крест на горах киевских»... Во-дру-зил!.. А? Не понимаешь?.. И я тоже... Говорят: ВСНХ например, это как сказать? Ни на что, говорят, не похоже... А «водрузил», это на что-нибудь похоже? Погоди-ка, к нам, говорят, летом опера заедет на три спектакля... Вдруг эту самую оперу «Садко» поставят?... Вот ты и узнаешь житие своего Садки...

— Я и так знаю, — бойко отозвался Садко. — Он был гость новгородский...

— Гость?.. Как это гость?

— Да-а! Богатый купец...

— Нэпман?

Но тут маленький соскользнул с толстых отцовских колен, стал в дальнем углу комнаты, зажав рогатку в левую руку, поднял голову и начал читать сразу в полный голос:

Сидит у царя водяного Садко
И с думою смотрит печальной,
Как моря пучина над ним высоко
Синеет сквозь терем хрустальный...

И дочитал всю эту длинную балладу до конца, не сбившись ни в одном слове. Андрей Османыч удивился. Он сказал даже смущенно немного:

— Однако, шельма ты этакий!.. Ты как же так это, а?.. У тебя, оказалось, очень хорошая память, Садык!.. У тебя память, она, пожалуй, даже лучше, чем у меня!.. Гм... вот как!.. Ну-ка, иди сюда, — я тебя поцелую за это!

— Тоже еще!.. Буржуазные предрассудки какие!.. — скривил губы Садко, схватил рогатку и выбежал стрелять воробьев.

Это было в мае, а в июле действительно, как и ждала Людмила Серге-

евна, к ним в город приехала опера, и ставили «Садко».

Районный центр, в котором хозяйствовал Хачатуров, по величине, пожалуй, был и не из малых, но благоустроен плохо. Андрей Османыч ставил себе в заслугу, что это он осветил его почти до окраин электричеством. Однако по-прежнему, по-старому, осенью здесь было черноземно-грязно, летом чрезвычайно пыльно, зимою сугробно, и по-старому во время январских морозов на леду мерзли галки и падали комьями в снег. Когда цвела черемуха, на здешней реке был лещовый ход. Тогда на лодках или на узеньких, закругленных гатях, обнесенных плетнями, здесь и там сидели рыбаки с удочками-лещовками.

Маленький Садко если что и любил в своем городе, то только мартовских жаворонков и майских соловьев; к остальному же относился равнодушно.

Того «почти абсолютного слуха», который был найден у него матерью, Садко не имел конечно, как не имели его многие весьма известные композиторы, но все, что он видел кругом, он неизменно переводил на язык звуков, и, даже когда говорил с отцом, он почему-то старался говорить, прижимая подбородок к шее, чтобы слова выходили густыми, по-бычьему хриплыми, а когда говорил с матерью, как можно выше подымал голову, чтобы слова выливались звонкими, красивыми, светловолосыми: мать была для него высокий регистр клавишей, отец — низкий.

Садко любил четкую, хотя и неторопливую походку матери и то, как она пристально смотрела на все своими немногим близорукими большими глазами. Ее сильные с широкими подушечками пальцы пианистки он любил прикладывать к своим щекам и крутому лбу и просить при этом: — Мама, играй!.. Играй же, мама!..

И когда мать перебирала пальцами, ему казалось совершенно непритворно, что в нем звучат то нежнейшие, в пианиссимо, мелодии, то целые бури, целые ураганы звуков. Так бывало часто зимними вечерами, когда мать сидела около его постели. Это его блаженно утомляло, после этого он засыпал, улыбаясь.

Оперу «Садко» ставили в летнем театре. Как раз перед этим шел проливной дождь, улицы были непроходимо грязны, — едва смогла Людмила Сергеевна добраться со своим маленьким Садком в театр к середине увертюры.

Когда на «почетном пиру» в хоромаш «братчины» новгородской появился гуслир Садко, неся перед собою гусли, и покрыл голоса пировавших его звонкий тенор:

«Привет вам, гости именитые!..»

Людмила Сергеевна шепнула сыну:

— Вот Садко!

— Настоящий?..

Маленький Садко был страшно взволнован тем, что видит Садко настоящего. Он вскочил на свой стул и глядел на него во все глаза, пока не дернули его за рубашку сзади. Он шепнул матери:

— Мама! Правда, он был такой красивый?

Маленький теперешний Садко плохо понимал, о чем на старинном языке пел в своей длиннейшей арии большой, настоящий Садко, — что это за «Ильмень-озеро», что это за «бусы-корабли» или «дружинушка хоробрая», — но раза три он вскрикивал восхищенно:

— Ка-кой голос!.. Вот это голос!..

И забывчиво сжимал изо всех сил пальцы матери, так что даже и она шепнула ему:

— Не волнуйся, побереги пыл!..

Дальше раскрылось Ильмень-озеро, на нем заманчивые морские царевны, и маленький Садко уже не вскрикивал, он только взглядывал иногда на мать и слегка толкал ее, чтобы и она глядела лучше. А когда Садко большой, настоящий, обнял царевну Волхову, Садко маленький прильнул губами повыше локтя к обнаженной до плеча полной и белой руке матери и так сидел, и только когда приподнялся со дна на поверхность озера морской царь, он снова вскочил проворно на стул, чтобы лучше видеть, и прошептал матери на ухо:

— Ого!.. Страшный!

Кучи золота, выловленные Садком большим из озера сетью, очень поразили маленького: он видел золото только в зубах товарища Карасева, — мать же его не носила никаких золотых вещей, — и теперь он спросил ее пораженный:

— Это настоящее?

Но народ на сцене и «настоятели», и «волхи», и «скоморохи» — так казалось Садку маленькому — только мешали делу, и голоса у них были козлиные.

Корабли на море понравились маленькому, и у него похолодело в сердце, когда остался Садко — хозяин тридцати кораблей — один на доске в море, и потемнело на сцене, и вошел круглый месяц, и под пение царевны Волховы он опустился в морскую глубину.

Как раз в то время, когда представлен был терем морского царя, там, за сценой, над городом, хлынул крупный и частый дождь, может быть и с градом, потому что забарабанил он сразу и оглушающе по тонкой, не забранной потолком крыше театра. Не было слышно ни одного слова из того, что пели морские царевны, которые пряли пряжу и плели венки, но Садко маленький слышал, как говорили кругом него:

— Вот это как раз кстати для подводного царства!

— Как же мы домой дойдем, Саша? — испугалась Людмила Сергеевна, но на сцене Садко, большой, настоящий, спускался на раковине прямо перед морским царем, сидевшим на троне, и гусли были у него в руках.

— Он там! — таинственно сказал матери Саша.

Артисты на сцене старались петь громче, чтобы перекричать дождь, и все поглядывали на крышу, как бы сомневаясь в ее прочности. Морской царь пускал рокочущие басовые ноты, страшно выпучивая глаза, даже Садко большой не всегда покрывал гул сверху своим звонким тенором, но маленькому Садку казалось, что так именно и нужно. Он понимал, что идет дождь там, наружи, но это ощущение воды сверху, лившейся потоками, оно было необходимо ему сейчас: отовсюду вода, — ведь это — море, — и Садко играет перед морским царем на гусях и поет... И он доволен: он — жених Волховы-царевны, сейчас будет их свадьба.

Дождь перестал барабанить по крыше как раз в то время, когда начались веселые свадебные песни и пляски. Морской царь, пляшущий со своей Водяницею, — это очень понравилось маленькому Садку: он начал хлопать в ладоши

и кричать: «Браво!»... Плясали ручейки и речки, плясали золотые рыбки, плясали царевны, и совсем некстати появился какой-то Старчище и выбил из рук Садка гусли.

После четвертого действия многие стали выходить из театра. Не досидела до конца и Людмила Сергеевна, боясь темноты и опасаясь нового дождя. Промочивший ноги на обратном пути и прозябший Садко маленький несколько дней болел лихорадкой, но на своей балалайке он так много вытренькивал из того, что слышал в театре, что Людмила Сергеевна снова, — в который раз, — удивлялась его «почти абсолютному» слуху.

2

В конце июля Андрей Османых получил отпуск и путевку в дом отдыха на одном из скромных крымских курортов, известном своим пляжем длиной не меньше как в три километра.

— Там море? — спросил отца Садко, замирая.

Андрей Османых думал ехать один: Людмила Сергеевна должна была остаться дома, да она и не любила Крыма, — с ним связаны у нее были тяжелые воспоминания.

С матерью конечно должен был остаться и Садко, но в большом волнении глядел он на собиравшегося отца.

— Там, куда ты едешь, папа, там море?

— Конечно море, — неосторожно ответил отец. — Ведь я купаться еду...

— Море! — вскрикнул Садко. — Тогда и я!.. Я тоже с тобой!

И он заметался по комнате, бледнее от радости.

— Каков?.. — смеялся отец. — И он тоже!.. Кто же тебя возьмет такого? А?.. Ах, Садки!

Изумленно, потерянно взглянув на отца, Садко упал на пол. Он рыдал и бился долго, — с трудом его успокоили, и только тем успокоили, что обещали взять в Крым.

— Неп... неп... ременно? — спросил он, вздрагивая.

— Да уж сказано, — сказано!

— Па ... па!.. Побо ... жись! — потребовал Садко.

— От-куда ты взял «побожись»?.. Кто тебя этому учит?

- Пок ... клянись!
 — И клясться мне нечего.
 — Значит, возьмешь?.. Возьмешь?
 — Сказано, — возьму.

Садко перестал наконец вздрагивать. Весь еще обрызганный слезами, он поднялся на цыпочки и поцеловал отца в бритую индигово-синюю толстую верхнюю губу.

До Синельникова ехали они с отцом в мягком вагоне. Садко все время висел на открытом окне и смотрел неотрывно на разливное золото цветущих подсолнухов, на початки и метелки кукурузы, на хутора, чуть видные сквозь деревья, на косяки лошадей, на стада белых, как кипень, гусей около тощих речек, — смотрел, пока не попал ему в глаз уголек от паровоза. Андрей Османых вылизал ему уголек языком и закрыл окошко.

Тогда оказалось, что это их окно все-таки должно быть открыто: так потребовали пассажиры на другой стороне вагона.

— Вот вы свое окно и откройте, — посоветовал им Андрей Османых.

— С нашей стороны нельзя, — объяснили ему. — Открывать нужно только правые окна по ходу поезда, а у нас левые.

— Хорошо-с... правые... Но почему же, хотел бы я знать, предпочтение такое правым окошкам в нашей левой республике?

— Ага!.. Хорошо сказано! — одобрил отца Садко.

Никто не мог объяснить, и призвали проводника на помощь.

Старичок-проводник с совсем прозрачным лицом и детскими плечиками пожевал губами и задумался, глядя на концы своих худых башмаков.

— Дело в следующем, — начал он, не подымая глаз, — поезда встречные не идут с правой стороны... Поезда встречные идут с левой стороны... Вот по этому самому левые окошки, стало быть, закрыты, а правые, стало быть, открыты...

Тут он поднял наконец глаза на Андрея Османыха, и взгляд его был спокоен.

Однако тот отозвался:

— Ничего я, товарищ, не понял, да!..

Встречные поезда остаются встречными, а вопрос с окошками так и остается открытым...

— Зачем же открытым? — возразил старичок. — Открывать что нельзя, то и не полагается... Встречный например идет, а вы будете в окошко плевать, кому-нибудь глаза там заплотеют...

— Значит, позвольте, чтобы я понял... значит, все дело в том, чтобы пассажиры в окошки не плевали?.. Так вы обьявление об этом сделайте и чтобы штраф пять рублей, а окошки пусть открывают как хотят...

— Странное дело! — сказал проводник, опять глядя на свои башмаки. — Обьявление сделайте... Вот тогда именно все и зачнут в окошки плевать!..

Он пожал детскими плечиками и, не поднимая глаз, пошел по вагону дальше. А пассажиры начали спорить, можно ли доплонуть из окна вагона на полном ходу в окно встречного поезда.

Разгорячась в споре, жадно ждали все встречных поездов и выпускали плевали в их окна, но ветер подхватывал и уносил плевки.

В Синельниково приехали поздно, в одиннадцать вечера. Тут была страшная суматоха. Поезда на Севастополь шли из Москвы битком набитые, так как было 30-е число, а в конце каждого летнего месяца, как и в середине, разгружаются, как известно, и вновь нагружаются дома отдыха.

— Нак-ка-зание!.. Вторые сутки жду билета, — напрасно! — кричал кто-то худой и растерзанный на весь вокзал и швырял свою кепку о пол.

— Ну, Садко, тут нам, кажется, труба будет! — И покрутил головой Андрей Османых.

— Труба?

Садко оглядел всю тысячу народа кругом в смутном свете немногих электрических лампочек, и от мелькания, и от криков, и от духоты тяжело стало у него в голове и лоб сделался потный и легкий... Он проговорил только:

— Если труба, то я лучше усну...

И тут же заснул, свернувшись клубком на своей багажной корзине.

А Андрей Османых еще часа два метался от одного носильщика к другому, от одной длиннейшей очереди у билетной кассы к другой, пока не добыл

наконец билета в какой-то добавочный поезд, отходивший в два часа ночи.

Но что это был за поезд!.. Счастливицы с плацкартными билетами кинулись к вагонам, как на приступ, едва не оторвали голову Садку, которого отец поднял на руки, чтобы его не задавили. В вагоны же набились так, что внизу можно было только стоять.

И от яростного крика, от оскаленных зубов кругом Садко, тихонько хныкавший было от боли в шее, изумленно затаих. Но над собою, в самом верху на багажной полке увидал он лютое сцепление двух каких-то парней (после узнал он, что это были студенты-вузовцы), всклокоченное, клацающее, сверкающее, хрипящее: «Я тебе вот сделаю браслеты, так браслеты!..» Это каждому из них хотелось спать там вверху на узкой багажной полке, и они пытались спихнуть один другого вниз.

Садко представил, что они падают на него оба и раздавливают его, как мокрицу. Яркости этого представления он не вынес, сунул голову за спину отца и закрыл глаза.

Утром, — по-летнему рассвело рано, — когда осмотрелся Садко, оказались в вагоне какие-то странные люди: к кому ни обращался с тем или иным вопросом Андрей Османыч, они подымали плечи, подымали брови, округляли карие глаза и то совсем ничего не отвечали, то бросали односложное, но должно быть очень много значащее: — А уже ж!

Это были украинцы из Полтавщины, Черниговщины, Киевщины — учителя и студенты. Садко разглядывал их со страхом: он раньше думал, что если говорить с кем бы то ни было по-русски, то всякий должен понять.

Так было тесно и тошно в этом вагоне, что, когда поезд добрался наконец часам к двенадцати дня до Симферополя, Андрей Османыч, видя томления Садка, решил выйти здесь и дальше ехать в автомобиле, хотя билет он взял до Севастополя.

Когда замелькали по сторонам новенького еще «фиата» дома большого южного города, Садко ожил. Но дальше пошла вся распаханная крымская степь и засинела над нею вдали твердыня Чатыр-Дага.

— Это там такая гора? — показал на нее Садко. — Гора! Ого! Гора!

Потом гора эта стала все ближе, все громадней, все лесистей, и два часа легковая машина все только приближалась к этой горе, взбиралась на один из ее отрогов, спускалась с него вниз, а гора все время меняла рисунок своих красноватых, голубых и лиловых скал, и — странно — Садко ощущал все это — новое и чудесное — как музыку в опере.

Когда же белое шоссе стало бешеными извивами падать вниз, и другая гора — Демерджи — фантастикой самых нежных, но в то же время и плотных, непередаваемых тонов ушла в небо с левой стороны дороги, Андрей Османыч взял за голову Садка и толстым пальцем перед самым его носом показал вниз:

— Видишь?

— Что вижу? — не понял Садко.

— Видишь вон там... в самом низу... как молоко...

— Ну-у?

— Это море.

— Море? Как? Море?

И вот больше уж как-будто не стало гор ни справа, ни слева, ни сзади, а весь Садко, сколько его было, впился глазами в это огромное внизу, сначала молочно-синеватое, потом темнее, синее, голубее, потом уже блеснувшее на солнце вдруг полосую там и вон там, и еще далеко где-то...

В маленьком городке, где должны они были прожить весь август, море было уж вот оно: плескалось у набережной, облизывая огромные камни, зеленело вблизи, сверкало миллионом стеклышек... Садко чувствовал, что оно тоже радо... Да, это он ощущал всем телом, хотя и не сказал, и ни за что бы не сказал отцу, — что оно тоже и несомненно радо, что вот к нему приехал наконец Садко. Куда бы ни поглядел он, было ясно: оно его ожидало и оно радо теперь.

Зачем нужно было ехать его отцу к Карасеву, тоже отдыхавшему теперь в Суук-Су, в доме отдыха членов ВЦИК, Садко не знал, но, оставив вещи свои пока в конторе артели шоферов, отец усадил его снова в ту же машину, на ко-

торой они приехали, и вот опять белое шоссе и горы все время справа, а слева море, и Садко то и дело шептал отцу:

— Гляди!... Ка-ко-е синее!.. Ну, это же кра-со-та!

Карасев, щуплый человек с очень близко к носу посаженными птичьими глазами и острым носом, был на веранде роскошного дома-дворца. Он играл в шахматы с молчаливым задумчивым лысым толстяком и уж кончал партию, поставив в плачевное положение короля противника, поэтому он встретил Андрея Османьича весело и даже попытался поднять за локти Садка.

Толстяк сдался и ушел в сад, а Карасев говорил оживленно:

— Каково, товарищ Хачатуров!.. Посмотри-ка на лепку внутри, — ведь это стиль мавританиш! Совсем недурно для бывшей владелицы Соловьевой!.. Чудесная с ней история, — ты не знаешь конечно... Судомойкой была на волжском пароходе, — так мне говорили, — и поймала там где-то инженера Березовского, строителя сибирской магистрали... У того от этой магистрали завелись миллионы, а попали эти миллионы к ней, к судомойке!.. Вот история!.. Красавица, говорят, была... брюнетка, высокого роста... Теперь в Париже и, кажется, уж на том свете, а не в Париже... Так вот это она все на сибирскодорожные миллионы!.. Неплохо, а?.. Ведь несколько еще большущих домов, кроме этого... и парк... и пристань своя была... А до нее пустое место, говорят, было... Вот тебе и пролетарка-строительница!.. Говорить не умела!.. «Мой, говорила, сын поехал за границу с научной точки зрения»... А слово «почайпила» у нее было любимое: «Я, говорила, уж чайпила»...

Лепные по-восточному выступы стен и потолки, облитые цветной глазурью, легкие колонны, вся эта ажурность, делавшая картонно легким огромный дворец, поразили Садко, но было тут еще и такое, что его приковало: большая фреска у входа в зал: то самое подводное царство, которое видел он в своем городе в опере.

В другом дворце, хрустальном, у морского царя в гостях, сидел настоящий Садко богатый купец новгородский. Гусляр и певец, он сидел перед гуслями

и перебирал струны... Красный охабень, желтые сафьянные сапоги, русые волосы в кружок, молодая русая бородка и задор в серых глазах... Садко!.. Настоящий!.. И седой, кудлатый, с длинными усами, весь зеленоватый и с рыбьей чешуей на ногах, напряжись и руки в боки, сбывчив голову, стоит перед ним морской царь... А кругом него — красавицы-дочери с рыбьими хвостами... И разноцветные раковины сверкают за хрустальными стенами дворца, и морские коньки прильнули к ним, любопытствуя, и огромная белуга, подплывши, воззрилась на гусляра с земли.

Внизу было написано славянской вязью: «Ударил Садко по струнам трепака, а царь, ухмыляясь, уперся в бока. готовится, дрыгая, в пляску...»

— На что ты, малец, загляделся? — несколько обиделся даже Карасев, что так невнимателен Садко к его рассказу. — Это? Не стоит смотреть! Пойди лучше парк погляди... Тут конечно хорошие картины когда-то были, да их вывезли, а плохая копия с Репина осталась...

Но Садка уже трудно было оторвать. Он вытянул вперед руки, как тот, стоящий, и шевелил пальцами, перебирая струны тех гусель, которые представлялись только ему. Он отбивал так ногою. Щеки его побледнели, брови нахмурились, глаза сияли...

Мимо него прошли два киргиза товарищи из Казакстана — в теплых малахях, потом какая-то ржановолосая, с одутловатым, опаленным солнцем, шелушащимся лицом, протащила за руку визгливого ребенка лет четырех, и ребенок зацепился голой ножонкой за выбоину мозаичного пола, упал и залился звонким плачем; проходили и другие, но Садко не замечал их, и Андрею Османьичу нужно было взять его на руки, чтобы увести в парк.

3

Наконец-то!.. Маленький Садко стоит по колени в море!.. Они с отцом поздно пришли на пляж: он был уже густо забит телами, лежащими вповалку. Как много было среди них совсем коричневых!

— Ого!.. Малайцы! — возбужденно говорил Садко.

Какие дюжие спины, какие плотные животы были подставлены под работу солнца, и солнце — усердный живописец — исподволь покрывало их сепийным колером. Многие смазывались ореховым маслом, чтобы скорее и прочней загореть. Самыми модными здесь на пляже были бы кафры.

Садко морщил нос, проходя мимо этих спин и животов, и говорил снисходительно:

— Фи-гу-у-ры!

В его глаза только краешком, и то потому, что ведь проходить надо мимо, попадают все эти голые ляжки, желтые, как репы, пятки, обвисающие полупустыми мешками женские груди (пляж тут был общий), однообразные — черные или красные — купальные костюмы, эти чрезмерно толстые в икрах ноги без щиколоток, вонзившиеся в разноцветную гальку... Только брезгливая коси́на загоревшихся серых глаз Садка бросалась сюда, на переполненный пляж, а вся круглота их, вся трепетность, весь жадный охват — туда, на голубое, на огромное, на такое ни с чем не сравнимое, на первое в жизни и уже родное море...

И многие из лежавших на пляже в это утро отметили странного мальчика с балалайкой в руке.

Да, он захватил сюда свою балалайку, зачем, — этого не понимал Андрей Османых. Он, Садко, со своими гусями пришел к своему морю, совсем не желая, чтобы какие-то бессчетные фигуры, майяцы, усеяли весь берег.

Он даже бормотал иногда, взглядывая на отца недовольно:

— Зачем они?... Не надо их!.. Зачем?

— Иди, иди, знай! — так же недовольно косился на него отец и тянул его за руку.

Он знал, куда тянул Садка; он говорил:

— Вон свободный клочочек, видишь? Там и сядем.

Подошли к этому клочочку пляжа. Огляделся кругом Андрей Османых, отдышался, помахал себе в открытую грудь белой кепкой, сказал:

— Очень хорошо!.. И какой штиль!.. Это, когда море тихое, штиль называется... Штиль!

— Я знаю, — отозвался Садко, — не трудись, пожалуйста!

— Знаешь?.. Гм... Откуда же ты знаешь?.. Ну, садись, отдохнем...

— Купаться!

— Отдохнем сначала, нельзя сразу.

Грузно сел на песок отец, — остался стоять Садко.

Он и не стоял даже, — это только так казалось кому-нибудь около, что стоит тонкий маленький мальчик с детской балалайкой в руках, в серенькой тюбетейке, в розовой рубашке, в очень коротких синих штанишках и глядит на море... А Садко не стоял совсем, — он летал над морем...

Ленивый двухмачтовый баркас-парусник маячил у горизонта, — он заглянул в него и дальше... Буксирный пароходик трудолюбиво тащил длинную, низко сидящую баржу, попарил над ним, и — дальше... А дальше было одно только голубое и без конца... Дальше было только оно все, — море. Налево — в него уходили чуть розовые горы и даже не поймешь, горы это или так, облака; направо — одна близкая гора, похожая на чудовище, которое пьет; а около ног плещется чуть-чуть и шепчет: шу-шу-шу, и белая зыбкая каемочка по всему пляжу.

Близко от берега два камня в воде; они почему-то с белыми верхушками.

— Почему, папа, они белые?

— Белые?.. Гм... Это, видишь ли, скорее всего от соли... В морской воде ведь соль... Раздевайся!

Но подалее от этих камней, вправо, там не камни уж, а целые скалы на берегу, и они пурпурно-лиловые с черными трещинами.

— А те вот не белые, смотри! — показывает на них Садко. — Значит там в морской воде нет уже соли?

— Там?

Андрей Османых очень внимательно рассматривает эти скалы, думает, вздыхает, чешет грудь и отвечает кротко:

— Там фотограф... Видишь вон фотографа?.. Аппарат черным накрыт, — видишь?

— Зачем он? — скучно спрашивает Садко.

— Фотограф?.. Он всегда затем, чтобы снимать... И тут и везде...

— Что снимать? Мо-ре?

— Море ему за это не заплатит... Людей конечно... Вот и мы с тобой можем сняться...

— Глупости какие!.. Я совсем не хочу...

И сердито отводит Садко глаза от этих скал на море влево.

— А вон, посмотри, комсомольцы подошли сниматься, — кивает отец.

Садко чуть скашивает глаза и видит — двое в купальных костюмах, — комсомолец в полосатом, комсомолка в темном, должно быть, синем, но теперь мокрым, потому потемневшем. Они лихо вскарабкались на скалу, и комсомолец стоит себе прямо и грудь вперед, — физкультурник, — а комсомолка закатывает на ногах свой купальный костюм, чтобы как можно больше показать сильные ноги, тоже, должно быть, физкультурница... И так хохочет при этом, что слышно на целый пляж, так что даже и Андрей Османых фыркнул:

— Ничего, недурной голосок у девчонки! — и тут же размашисто снял рубаху.

Фотограф, повозившись около своего треножника, должно быть щелкнул уже и сделал им двоим на пурпуровой скале разрешающий жест, потому что физкультурник вдруг поднял физкультурницу и бросил ее в море (так что тихо ахнул Садко), а следом за нею бросился сам, и вот уж, плывя один за другим вразмашку, обогнули они скалу и, выбравшись на берег, стали бросать друг в друга пригоршни гальки.

— Что ж, недурной номер. — сказал, глядя на них, отец.

— Давай и мы будем купаться, — не глядя на него, отозвался Садко и положил на песок тюбетейку и балалайку.

И вот он по колени в воде...

У него странное теперь лицо, очень побледневшее почему-то, а зрачки глаз стали заметно больше.

Он смотрит в воду, где ноги его как будто сломаны волной, а под ногами разноцветная галька. Воды он не чувствует совсем, воду здесь у берега щедробнагрело лечебное солнце, и пахнет от нее вишнежкой.

— Ну, давай буду учить тебя пла-

вать, — говорит отец: — Ложись-ка мне на руки!

И руки, и грудь, и спина отца густо покрыты темными шерстистыми волосами, чего раньше не замечал Садко. Это его поражает, и он вскрикивает брезгливо:

— Ты — обезьяна, папа!

Ты тоже, — отзывается отец. — Ну-ка, ложись и болтай ногами!

Садко хочет плыть так же, как плыли те двое около скалы. Он ложится, болтает ногами и отфыркивает воду, которая сама почему-то так и льется и стремится попасть ему в рот.

— Не глотай!

— Я не... глотаю... А это что?

— Это?.. Так, чорт знает что... Жир какой-то рыбий...

И Андрей Османых одной рукой держит сына, а другой загребает и отбрасывает наплывшую медузу, добавляя при этом:

--- Видишь, гадость какая тут плавает... Вот почему тебе и говорят: болтай ногами, а воды не глотай!

Но медуза наплывает снова, а за нею еще две побольше и поплотнее.

— Вы смотрите, они могут мальчика укусить! — матерински вмешивается в разговор отца с сыном неимоверно толстая женщина, чуть приподняв черноволосую голову и поведя выпуклым глазом (другой был прищурен).

— Вот видишь, Садик, оказалось, кусаются... Поэтому значит они живые... Давай их отгоним дальше!

И отец вместе с сыном начали плескаться в медуз водою.

Однако Садко не испугался их; он даже фыркнул насмешливо:

— Уку-си-ить!.. Где же у них зубы?

Спереди было море, сзади лежали на простынях люди, и море казалось Садку гораздо роднее, и он начал наконец смеяться нервически:

— Уку-сить!.. Хи-хи-хи... Уку-си-ить!..

И делал руками такие же бравые движения и так же выпячивал грудь, как тот физкультурник на яркой скале.

Найдя, что купаться достаточно, Андрей Османых лег на простыню так же, как лежали другие, ничком, подставив спину под сепийную кисть солнца, и сказал сыну:

— Гм... Замечательно, как действует

купанье морское: очень хочется спать..

Садко поглядел на него с ужасом:

— Как спать?.. Те-перь спать?

На море же смотрел он так пристально, с такою любовью... Он даже руки распыл так широко, как только мог... Он шептал почти беззвучно: «Море!.. Море!..» Внизу, там, в нем, в этом голубом, — хрустальный дворец морского царя... У дочерей его (они, как та, физкультурница) рыбы хвосты...

Когда знакомо залиvisto захрапел отец, Садко весь насторожился, заерзал по песку глазами и вдруг счастливо нашел, что ему представилось как совершенно необходимое: кусок бечевочки от какого-то фунтика, здесь же и брошенного кем-то.

Спеша и оглядываясь на спящего отца, Садко привязал бечевочку к одному из колков балалайки и потом сделал широкую петлю. В петлю просунул голову, и балалайка оказалась у него за плечами. Потом он надел штанишки и тюбетейку; рубашку подержал было в руках, но бросил.

Отец храпел, как дома. Очень толстая женщина тоже лежала с закрытыми глазами. Садко осторожно отошел и потом, все ускоряя шаг, то перескакивая через ноги лежащих, то обходя их, двинулся к пурпуровой скале.

Когда подошел он, на него очень участливо поглядел фотограф, загорелый черный мужчина с кривым на левый бок носом, но, встретясь с ним глазами, Садко тут же отвел свои.

Те комсомольцы-физкультурники теперь лежали рядышком, прижавшись друг к другу; он читал вслух какую-то книжку в красной обложке, она слушала, закинув голые ноги одна за другую и шевеля в них большими пальцами. Мимо них Садко прошел горделиво. На них он раза два потом оглянулся украдкой. Подойдя к скале, он сразу отметил, за какие выступы нужно хвататься руками и в какие трещины ставить ноги, чтобы взобраться наверх. И он взобрался, как ящерица. Он сбил себе об острое ребро камня колено, он почти вывихнул палец на левой руке, но, взобравшись, только потянул его раза два, только чуть глянул на колено и тут же забыл о нем...

Дело было уже сделано наполовину и

так удачно. Удача его окрылила, удача его преобразила... Очарованный, окончательно от'единенный от всех, всех людей здесь на берегу и даже от своего отца, который может тут спать и который весь покрыт шерстью, как обезьяна, Садко снял с шеи свою балалайку, вытянул ее вперед в обеих руках, глотнул глазами в последний раз этого неистово-голубого, крикнул: — Морской царь! — и кинулся в воду.

Это видели кривоносый фотограф и комсомольцы, читавшие книжку в красной обложке.

Когда комсомольцы, бросив книжку и поглядев друг на друга изумленными глазами, без слов вскочили и вбежали в море, Садко, ошеломленный падением, убивший об воду бок и сразу выпустивший из рук балалайку, тонул.

Окунувшись с головою, он тут же вынырнул было и с полминуты болтал ногами, как только-что учил его отец, но оседал все глубже, и только рот его, широко открытый, и маленькие пальцы руки разглядела физкультурница, подплывая, но тут же и они исчезли.

Однако вода тут была прозрачная и не так глубока. Нырнули оба с двух сторон и вытащили мальчика за синие штанишки. Балалайка же его и тюбетейка так и остались плавать.

Садко лежал безжизненно на песке, и ему то разводили, то сводили руки. Набежало много любопытных, и фотограф, наблюдая одним глазом за своим аппаратом, как бы его не опрокинули, а другим шаря по толпе, горячо говорил:

— Я яст-венно слышал: Да здравствует царь! — Яственно!.. Крикнул только: — Да здравствует царь! — и в море!

— Слово «царь» и я слышала, — сказала физкультурница.

А какой-то лысый и бородатый, тщательно закутанный в купальную простыню, спрашивал настойчиво:

— Ну, хорошо! Пусть это — маленький монархист, но почему же самоубийство?

Фотограф убедился, что его аппарату опасность не угрожает, и тот глаз, который наблюдал за ним, сделал не-

стерпимо понимающим и ответил, подмигнув другим глазом:

— Ну, а какие же хорошие дела делают у нас теперь монархисты? А-а?.. Разве же их акции так очень завидны?

Но тут же мелькнула у него мысль истратить пластинку на этот не частый ведь тоже мотив: утонувший мальчик и около него голая толпа. Конечно недавно снимавшиеся комсомольцы-спасатели должны же будут купить у него и этот снимок на память; и, шлепнув себя по лбу за то, что не догадался этого раньше, он бросился к аппарату.

А в это время спешил сюда, увязая в сыпучей гальке и натягивая зачем-то на бегу рубаху, Андрей Османьч, и круглое, красное, заспанное лицо его было испуганно-горестным, почти плачущим.

Весь пляж, дремавший под щедрым солнцем и делавший это как обязательную работу, теперь просыпался, и подымались встревоженные головы с простынь и протирались глаза, чтобы разглядеть что-нибудь, кроме голубизны ярчайшей.

Дня через три, когда окончательно пришел в себя Садко, вечером он сидел с отцом в маленьком скверике около дома отдыха, где теперь очень навязчиво пахло левкоями с круглой высокой клумбы.

Они были одни, так как обычное кино рядом оттянуло всю публику.

Андрей Османьч положил сыну левую руку на голову, а правой охватил его тоненькую ручонку чуть повыше кисти: так, ему сказал кто-то, производится обыкновенно внушение. И, подумавши про себя настойчиво несколько раз: «Скажи по правде!.. Скажи по правде!»... он спросил его:

— Ну, Садк, скажи же по правде, ты зачем это отмочил такую штуку?

Он уже не однажды задавал ему этот вопрос раньше, но Садко упорно молчал. Теперь же, было ли это потому, что сильно пахла левкой, или потому, что никого не было кругом, Садко оживился вдруг и заерзал на месте.

— Сказать?

— Скажи! — И еще скорее зашептал про себя Андрей Османьч свое заклинание.

— Мне... мне тогда очень скучно стало... вот!

— Так... скучно... без мамы... И потому ты... что же?

— Ничего... Хотел уплыть...

— К морскому царю, да?.. Который полная ерунда и сочинение?

На это Садко не ответил. Его сандалии, попеременно то левая, то правая, усиленно чертили песок дорожки с быстротою все возрастающей.

И так как в это время в зале дома отдыха кто-то, подсев к роялю, роялю, правда, с глуховатым звуком, но нерастроенному, бодро и умело начал играть очень знакомую Садку в исполнении его матери сонату Лангера, то мальчик вскочил вдруг и стал дергать отца за рукав рубахи:

— Пойдем! Пойдем туда!.. Кто это?

— Зачем тебе это?

— Это наверно мама! Это мама приехала!

— Откуда же мама? Разве я ей телеграфировал?.. И не подумал!

— Это мама играет! — вскрикнул Садко.

— Чу-да-ак!.. Как-будто только одна твоя мама и умеет играть, а больше никто!.. Сиди, сиди... А слушать и отсюда можно... Ты мне ответь только еще на один вопрос...

И Андрей Османьч опять захватил было руку сынишки правой рукою, а левую протягивал к его голове, но Садко вывернулся, вырвался... Он кричал уже, готовый зарыдать:

— Я только посмотрю пойду, кто играет... Я только... только... — и кинулся к лестнице дома.

Хачатуров поднялся кряхтя, и пошел за ним, говоря и недовольно и растроганно даже пожалуй:

— Нет, это уж чорт знает, Садк!.. Придется мне самому как следует за тебя взяться!.. Из тебя действительно, должно быть, какой-нибудь... ммузыкантишка вылупиться хочет!.. Нет, не позволю!..

А из открытых окон зала звучало четкое, знакомое даже и ему *allegro appassionato*, — лейтмотив сонаты Лангера.

Сентябрь 1930 г.
Крым, Алушта.

Пятиконечная

ДМИТРИЙ БОРИСОВ

Сквозь дым и годы
в 18-ом,
на стремяна сырые поднятом,
ты над фуражкой солдатской
и над постройкой сегодня ты...

Через ветра,
сквозь мглу,
над дюнами
смертей и вздохов человеческих
тебя шрапнелями не сдуло,
твой век непогасимо вечен.

В оковах,
(названными гетрами)
тесной обмотаны перонной,
шли батальоны.
Пели ветры им
свинцовую
и похоронную.

И сквозь года,
сквозь сырость далей —
они сгорали
и страдали,
их врачевала
злая краля —
В о й н а,
обмотанная марлей...

Но в перемышлевском окопе
расцеловавши камерада,
Невою,
Доном,
Перекопом
несли они другую радость.

И долгожданная, и новая,
согретая армейской верой,
сияла ты,
пятиконцовая,
горячая,
как сок артерий...

Текла вода.
И годы шли.
И уходя с могил печали,
как прежде —
люди замечали,
что весны
нижут журавли.

И годы шли.
Текла вода.
Как лира
пели провода,
и каменщики в белых фартуках
дом возводили на руках.

Он возникал
легко и остро
над мирным морем гоизонта,
он одевал свой чеонный остов
мускулатвооой бетона.

И расплеснув озера стекло,
он солнцем
обжигал лицо мое,
над ним рубиновым натеком
струилась ты,
пятиконцовая.

Воздетая бетоном здания,
над синевой,
над целой вечностью
кипит она,
звезда моя,
любимая,
пятиконечная.

Воздетая над синей вечностью,
над высотой мироздания,
любимая,
пятиконечная,
кипит она,
звезда моя...
1929.

Люди и факты

1. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ — Столетние люди. 2. Вас. ТУРОВ — Летуны. 3. ХАДЖИ-И. УРАТ МУГУЕВ — Ингушетия.

1. СТОЛЕТНИЕ ЛЮДИ

Корнелий Зелинский

На Паношинском погосте в Удомле мне показали могилу Степаниды из деревни Братаново. Степанида умерла недавно. Но я уже не застал ее в Удомле. Она умерла 140 лет от роду, провожаемая седовласыми старцами, ее правнуками. Они пронесли этот остывший осколок екатерининской эпохи, по какой-то необычайной орбите занесенный в век социалистической революции, в простом досчатом гробу на своих плечах. Они пронесли ее с пением религиозных псалмов, чужих в нашем советском воздухе, как свечка при дневном свете. Толпа родственников этой сверхстарухи, несколько ее поколений, заполнили всю ограду погоста. Пожилые крестьяне, молодки, комсомольцы, собранные обычаям у своего единого отсохшего корня, разошлись после похорон в разные стороны. Это были чужие люди. Это были люди разных миров и веков. Ее не помнят, как в старину, гречневыми блинами в родительскую субботу, потому что не сохранились уже родительские субботы и не пекут гречневых блинов.

Я обернулся, смятенный жизнью Степаниды, стараясь взять в понятие все окружающее. Куски гнилого с перекладинами дерева невысоко торчали из сторбленной земли! Низкая квадратная церквушка с северным новгородским шатром присела среди этих скромных знаков гибели. Безмолвие, травы, муравьи и могилы окружили Степаниду.

Тогда, отступив перед этим зрелищем сельского забвения, я постарался обобщить в уме все увиденное.

— Товарищи, — как бы сказал я. — Сейчас в деревне доживают последние люди, которые еще помнят эпоху крепостного права. Осталось каких-нибудь пять, самое большее восемь или десять лет, как исчезнут последние живые свидетели этой эпохи. Вы слышите — они вымирают. Никто не мог мне рассказать жизнь Степаниды или передать ее воспоминания. Скажите, почему феодалы, дворяне, буржуазия умели хранить предания своих родов, черпая в них геройство и романтику своего класса? Но умеем ли мы находить и черпать в нашем прошлом ненависть к нему? Классовую ненависть — прекрасный материал для фундамента социалистического дома. Память класса, память угнетаемого и эксплуатируемого народа, я зову тебя, чтоб обрушить на голову старого мира.

Но где эта память? В деревне вы мало встретите людей, которые помнят жизнь даже предыдущего поколения. Яркость впечатлений не имеет мерил для оценки этой яркости. Серость — для определения или ощущения серости. Имена дедов и бабок, даты свадеб и похорон еще торчат в голове некоторое время, как головешки сгнившей избы, но сама жизнь в ней ушла из памяти вместе с дымом из печки. Прошрое в своей длительности не только не тяготее в умах, но и ничем не напо-

минает о себе. Памятники о жизни народа в деревне ничтожны. Что ж песни, былины? Жизнь здесь ни на минуту не оборачивалась назад. Ни в ком не было заботы, чтобы увековечить себя во времени, в грядущих поколениях. Смерть, как обычность, во исполнение судьбы. И жизнь легко теряла свой след в памяти, как деревенский попик поминальные списки «за упокой души», написанные обслонявленным карандашом на обрывках бумаги.

С Федором Сергеевичем Сергеевым я познакомился в поисках сведений по истории коммуны «Красный артиллерист». Прошло всего два года, как на берегу озера Маги почти на голом месте начала строиться коммуна. «Голое место», обломки прошлых строений, надковыренная предками земля — таковы оборванные концы истертых лямок прошлого. Угрюма и скупа повесть этой земли. Исчезли даже дачи помещика Аксакова, последнего владельца ее. Их расхитили и продали уже после революции какие-то совхозные дельцы, пересевшие соответственно с помещичьих кресел на скамьи подсудимых. Об этом эпизоде повести позабывают уже.

Старинные березовые аллеи, чудом сохранившиеся, сбегают к берегам озера. И среди них — лагерь коммунарлов. Да, иначе его и не назовешь. Здесь все на походную ногу. И кое-как сколоченные домишки, деревенская рухлядь, привезенная новыми коммунарами, крестьянами окрестных деревень. И эта фронтальная напряженность классовый борьбы. И эта атмосфера наступления. И весь быт великого кочевья класса, переселяющегося с боями в новую жизнь.

Хижина Ф. С. Сергеева почти прижимается к коммуне. Сергеев, по прозвищу Кююра — патриарх деревни Маги. Большинство домов — его отделившиеся отростки. Сам Сергеев, давший жизнь многим единоличным ячейкам, по старинному стечению обстоятельств оказался одной из первых ступенек колхозной стройки. Когда приехали в деревню первые коммунары, отпускиники-красноармейцы, зажиточное Копачево

ощетинилось против пришельцев. Им не давали пищи и жилья. Их окружили бойкотом. Старик Сергеев отдал им свою избу. Впоследствии он вступил в коммуну. Его жизнь замкнулась. Он возвратился — блудный сын своего класса — к чистому источнику, к природе, его породившей. Он возвратился к победившим потомкам своих сверстников, исчезнувших, забытых, сгнивших, раздавленных неволей, нищетой, водкой, трудом, провернутых сквозь медленную мясорубку царской деревни. Да, Федор Сергеевич — блудный сын. Он был раздвоен. Силой своей, выносливостью физической, сметкой мужика пробуровил он себе ход наверх. Но дадим слово самому Федору Сергеевичу.

Он написал сам это слово. Непонятно, что толкнуло его к труду описания своей жизни. Старик вынул из стола грязные, замазанные чернилами листы бумаги. Его сгибало низким потолком, душным воздухом избы, параличом. Среди этих стен его жалкой избы, оклеенных рваными обоями, украшенными мутными иконами, портретами вождей революции, дед двигался с беззащитностью слепого. Часы-ходики, размахивая маятником, громко тикали на стене. Дочь Кююры, разбитая двадцатилетним ревматизмом, сидела пригвожденная у швейной машинки. Старик подал мне свою собственноручно описанную жизнь. Он сам собрал в уме, обобщил по возможности и нанес на бумагу все эти факты. Это был поистине муравьиный труд. Я привожу в точности его автобиографию, не изменяя ее слога и не добавляя ничего. Вот, что я прочел, пока Кююра и его две старухи-дочери ревниво и настороженно следили за моим выражением лица.

Жизнь Кююры

Я гражданин Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, Удомельско-рядской волости, села Маги — Федор Сергеевич Сергеев, крестьянин. Я из бывшей вотчины Ельменова, проданной госпоже Крекшиной. Родился я в 1844 году, 27 мая. Мать моя, многострадальница, была променена госпожей Беляевой в вотчину Ельменова.

— Как «променена», — переспросил я. Этот рабовладельческий глагол не сразу входит в сознание сегодняшнего дня, тем более, когда его читаешь не в книжке, а сталкиваешься с живым человеком.

— Мать моя, крепостная Ельменова, была русской красавицей. Статная и на работу первая. Она рано овдовела. И вот приглянулась она управляющему Крекшиной. Сама-то Варвара Павловна у нас не жила. Тоже красивая женщина была. Фаворитка Аракчеева. Он ей другое именье под Москвой подарил — «Любимовку». Мать моя была променена на плотника и на 4 овцы. Управляющий Крекшиной отдал ее силком замуж за моего отца — слепого. Слепой он был. От него легче было бабу брать по своей надобности. Ее отец пришел к Ельменову просить не отдавать молодую бабу на такое поругание. «А не хочешь, так я твоего сына в солдаты отдам». Тоска тут напала на деда, стало быть, моего. Защемило его. Ден двух не прошло, как утопился он в озере, в Письве, что рядом с моей родной деревней Мишнево. А я сын от отца слепого.

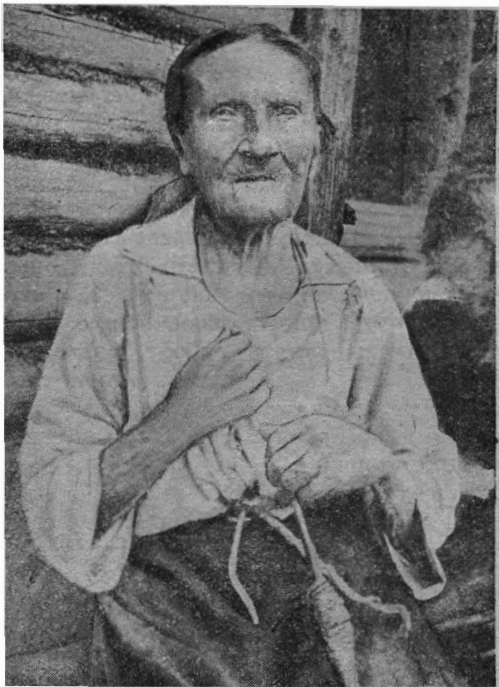
«...На восьмом году жизни наняли меня в пастухи в погост Верескуново. За 1 рубль пас я целое лето. За второе лето дали 1 рубль 25 копеек. Зиму ходил по миру. Дома житья не было. Мать к господам брала, а отец-то слепой бил ее за это. Подползет потихоньку к полатам с палкой своей. А мать детей с собой кляла. Ну, иной раз голову или нос палкой мне прошибал. Наняли наконец меня в пастухи в родную деревню Мишнево. За лето 4 рубля. За второе дали 6. На 12 году жизни (в 1856 году) послали меня на барщину. Такие мальчишки, как я, назывались захребетниками, что значит за чужим хребтом, на легкой работе...»

— Той зимой правнучка моя в школе прочитала про захребетников. А кто они, и учитель объяснить не мог. А вот я сам был захребетником. Я мыл лавровые листья в оранжерее Крекшиной. И меня мужики тогда так звали.

«...Потом выпросил меня у садовника становой пристав для себя в ус-

лужение. Платил мне 9 рублей в год. Там я хватил голоду и холоду. Таскал он меня по всему уезду при лошадах. Тут я повидал, как народ валялся у начальства в ногах. Сапоги его чистишь, а сам слезы на них видишь свояка своего (ведь вместе ездить-то) за недоимки, за охулку господ, за рекрутчину. В 1861 году стал я вольным. Зиму прожил при отце и матери, а в 1862 году ушел из дому в город Вышний Волочок. Нанялся на шоссе бить камень, щебенку. За лето 36 рублей. Оттуда перевезли всю артель в город Валдай. Побили здесь камень, погнали в Новгород. Там работали на шоссе к Луге два месяца (апрель, май). На шоссе вышла у артели бунт. В Новгород вернулась вся артель, 200 человек. Вышел к нам сам вице-губернатор и приказывал стать на работу. Артель жаловалась на плохое содержание. Кроме гнилого хлеба и вареного овса, ничего нам не давали. Тогда нас попросили подойти к конторе и всем в форточку выкинули пачпорта. Я остался без копейки. Пошел я в Юрьев монастырь пилить дрова. Спал в бане. За 6 дней работы дали 60 копеек. Весь июнь до начала покосов кормился щавелем. В июле начались покосы. Я пошел к озеру Ильмень и нанялся к господину Январеву поденно, 60 копеек в день. В ту пору на большие господские покосы, на заливные луга приезжали карусели, коробейники, ценовальники. Что тут творилось, не опишешь. Только мало кто свои деньги уносил. Я заработал 8 рублей. 5 рублей послал родителям, 3 рубля оставил себе на дорогу в Питер.

По приезде в Питер я не знал, куда мне итти. Я пробрался в гавань на взморье. Ночевал под лодкой. близ порта до 1 августа. А с 1 августа нашел я себе место на маленьком кожевенном заводе за 6 рублей в месяц. Прожив там зиму, я поступил уже на завод Миллера, где делал опойки. Здесь я нанял себе уже учителя, чтобы выучиться грамоте. За урок платил 20 копеек в неделю. Мой учитель, отставного флотского солдата сын, ученик технического училища, научил меня читать, писать, а также четырем правилам арифметики. У немца я прожил



Авдотья Федоровна Громова, 109 лет, из деревни Лухова, Удомельского района.

два года, потом перешел к Егорову, оттуда к Зверькову. Но заболел я вскоре горячкой. Всегда в воде, босиком, на холоду. В беспамятстве меня отвезли умирать в больницу Марии Магдалины. Там в первый раз в своей жизни я увидел белую простыню. Живя в Питере, видел я в 1864 году, как казнили Каракозова, покушавшегося на жизнь Александра II...»

— Как, — спросил я, пораженный фактом, что еще существуют люди, лично видевшие знаменитого «мортуса». — Кстати, у вас тут ошибка. Казнь Каракозова была не в 1864, а в 1866 году.

«...я видел, как около Каракозова стоял священник, а палач в красной рубахе заставлял Каракозова кланяться на все четыре стороны. Все поле было полно народу. Очень многие плакали. Каракозову сперва завязали платком глаза и одели на голову колпак. Палач ввел его на лесенку, одел петлю и выдернул лесенку из-под ног. Каракозов немного покорчился. В толпе рядом со мной заохали, заплакала женщина. Тело вскоре вытянулось. Под-

мостики и столбы тотчас убрали. Полиции и солдат было множество.

Мои родители были померши уже в 1865 году. На 22 году я вернулся в родную деревню. Я поступил на кожевенный завод помещика Заворыкина... В 1869 году я женился. Я был бедняком и взял такую же бедную. Тогда на Рыбинск строилась железная дорога, и тотчас после свадьбы я пошел бить сваи и возить землю на железную дорогу. Нужда не позволяла жить с женой. Жена одна вспахала поле и убрала урожай.

На зиму я взялся учить деревенских детей грамоте. Каждого за 30 копеек в месяц. Моя наука теперь пошла в ход. Две зимы я учил в Ивкове, а одну в Мишневе. Всего я обучил 80 детей. На вырученные деньги стал я делать в маленьких кадочках опойки. Дела пошли хорошо. Я купил себе избушку, дворик, корову. Сделал небольшой заводик. Но вот горе. От простуды в молодых годах сделался у меня в грудной клетке ревматизм. Я уже не мог работать с сырой кожей и должен был бросить свое дело. Но я уже был известным по своей местности как хорошо грамотный и способный на всякую работу. Именье Крекшиной, где теперь коммуна «Красный артиллерист», перешло уже к помещице Грен. Она взяла меня на службу. Я был десятником на строительных работах. Я смотрел за скотом.

— Ты изменил своим и пошел во вражеский лагерь, — пробормотал я. Но Кьюра мне ничего не ответил. Он не понял моих слов.

«... 8 лет я служил в именье. В месяц я получал 10 руб. и харчи. Но ревматизм забирал дальше и сделалась у меня грудная жаба. Я поехал лечиться уже в Москву. В это время госпожа моя Грен именье продала Аксакову. При расчете мне нечего оказалось получить, так как деньги были забраны вперед на лечение. Но как я был верный слуга, она дала мне 2 лошади, 2 коровы. Это было в 1890 году.

Вот тут-то я решил обернуться далее. В родной деревне жить мне было трудно. Надел маленький. Детей уже было четверо. Я пошел на большое дело. Я продал надельную землю, все свои

вещи за 500 рублей. Их я дал как задаток Аксакову, у которого купил в компании 43 десятины земли за 2.000 рублей. Остальные 1.500 перевел на меня земельный банк. Пустопорожный участок я разработал все сам с семейством и построился на нем. Я этот участок заложил за три закладных и заключил 2 векселя. Всего у меня вышло 3.750 рублей. Процентов платил одних в год 320 рублей. Семья моя была в то время 16 человек. А сейчас на этой земле стоит вся деревня Маги. Я построил постройки, расчистил поле, накопал канав. Ввел еще 30 лет тому назад шестипольный севооборот. Детей обучил грамоте, обучил кожевному делу. С помощью кустарного дела, продажи клевера и картофеля все долги уплатил. Наемным трудом никогда не пользовался и работал один со своим родом. Но жил я всегда в тришкином кафтане и не знал никогда достатка.

В 1905 году был у меня обыск со стороны полиции. Пришлось сжечь много брошюр и книг. Обыск был из-за моей статейки в «Сельском вестнике», где я писал, что полиция разводит шинкарей. Я выписывал «Сельский вестник», «Русский инвалид». Я читал «Газету-копейку». Я читал книги и журналы. Я был неверующим и плохо исполнял церковные обряды, за что в старое время на меня жаловались господам и даже говорили архиерею. Дети разделились, и хозяйство стало приходить в упадок. Я встретил революцию, как тогда говорили, верхом на петухе, в бедности.

В 1919 году я отдал в Красную армию 50 штук готового кожевенного товара. Я сам отвез его в Вышний Волочок. Мой внучок в ту пору был в Красной армии. Сейчас другой мой внук — член сельсовета в Копачеве. Я платил налог при советской власти 14 рублей 85 копеек. В 1927 году уплатил 12 рублей. У меня было тогда 4 десятины земли. Работницей одна дочь одинокая. С женой я прожил 54 года. Она померла в 1922 году на 74 году жизни. Я пришел в колхоз 85 годов как к спасению крестьянства от нищеты.»

Эта удивительная повесть заканчивалась словами, полными сдержанной

важности в сознании достойно прожитой жизни: «В глазах своих я вижу пять детей, пятнадцать внучат и двенадцать правнучат». Затем следовал «Наказ» «детям, внучатам и правнучатам». В нем этот деревенский Владимир Мономах излагает свой опыт жизни, почерпнутый на всех ее ступенях. Это причудливая смесь, где призывы выполнять работу, «заложную вам гением человечества, учителем великим Лениным», соединяются с кулацкими пословицами, что «женщина — в доме копилка» и т. д., где «повинуйтесь власти во всех ее распоряжениях и законах» стоит рядом с советом «девицам не выбирайте жениха праздничного кармана: эти люди жен содержать не могут и детей воспитывать».

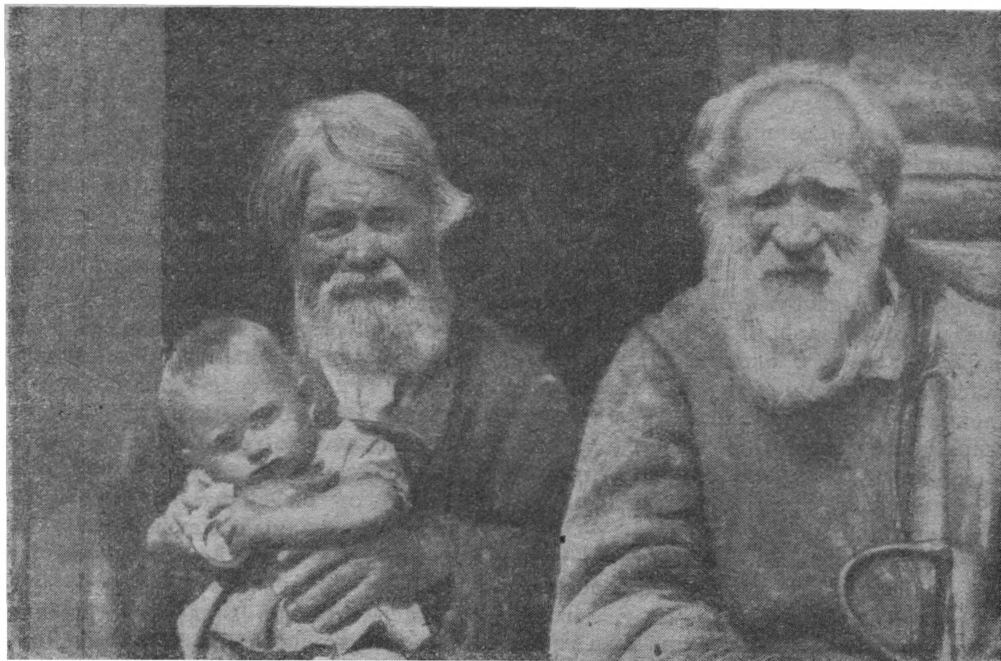
Киюра ждал моего ответа. Но я не сразу его дал, хотя тотчас нашел ключ к этому сочинению. Я представил себе его жизнь нищего, бывшего крепостного мальчишки, спавшего под лодкой в императорском Петербурге. Можно ли «винить» его, что он рыл себе лазейку наверх, что он сам вырвал себе грамоту, тогда барскую привилегию, что он был жаден, жизненно силен и молод? Но посмотрите, как чужой класс, отбиравший крепких и способнейших, чтоб с их помощью еще крепче кулаком зажать оставшихся внизу, какой он положил характерный след на его повесть. Киюра поразительно запомнил, когда, где, сколько и за что он заплатил и получил. В этой арифметике, как в зеркале, отразилась расстановка классовых сил, степень эксплуатации и доля награды «за верную службу».

«Грамотный» Киюра в общем выбился в середняки. Он комбинировал, обрачивался, он вертелся, как уж на горячей сковородке капиталистического хозяйства. Киюра ощущал себя главой рода, водителем детей и хозяйств их. Эти древние наивные образы родовой жизни трещали каждый день, раздраемые противоречиями капитала, и наконец пали под ударами его. Дом «великих магов», который строил Киюра, рассыпался, и он остался у разбитого корыта. Таким встретил он революцию. Но Киюра все же обходит в своей автобиографии ту часть прошлого, где он растил свои «родовые мечты».

Невозможно поверить, что успехи, которых достигал Киюра, не были основаны на внутренней эксплуатации младших членов семейства. Хотя Киюра и не пользовался наемным трудом, но мне не раз говорили его односельчане: «На своих выезжал».

Но Киюра каждый день ощущал также внутреннее бессилие свое, отсутствие источников внутреннего накопления у крестьянина. Господский слуга,

задушить его, превратив в кулака, окончательно оторвать от своего класса, в Киюре проснулся голос потопленного батрака. Киюра построил себе иллюзию, что этот голос громко звучал во всю его жизнь (хотя в действительности было как раз наоборот), и тщательно отметил в своей автобиографии все революционные моменты, какие он задним числом мог вспомнить и найти.



Бывшие крепостные В. П. Крекшиной, фаворитки Аракчеева, Т. К. Воинов (90 лет, слева) и Ф. С. Сергеев (87 лет, справа). В 1930 году вступили в коммуну «Красный артиллерист», Удомельского района.

он видел в лицо силу, давившую его. Он заискивающе глядел ей в глаза. Но в нем продолжало бунтовать его батрацкое наследство, его затаенная неприязнь к богачам и сильным мира того, которую он глубоко заглотал вместе с пылью и щебнем на дороге, вместе с кислым дубильным суслом кожевенных заводчиков. Она, эта неприязнь, не успевшая сформироваться в классовую ненависть, затушевалась и заглохла, когда он пошел вверх, найдя себе лишь боковой ход в религиозном «вольничаньи». Потом, когда революция перекрыла настоящей правдой кризисную петлю его жизни, которая могла

Киюра пришел в колхоз, как к своим, умиротворенный и успокоенный, точно равный и правый. Его приняли как человека, по всем своим крестьянским показателям достойного перешагнуть порог колхоза, как первого в деревне, оказавшего помощь молодой коммуне. Но облик Киюры и теперь вовсе не столь безупречен, как он сам себе представляет или хочет изобразить. Киюра не сразу вступил в колхоз. Он вошел только в 1930 году, в зиму «головокружения». В нем продолжала сосать под ложечкой тоска неудавшихся мечтаний, внутреннее недоверие «накопителя» к новым путям хозяйства. И

только, когда двинулась революция, когда хлестнуло деревню горячкой, встрепенулся Киюра. Он оглянулся на свою жизнь и вдруг с ужасом почувствовал, что был на краю своей классовой гибели. В нем снова проснулось то неистребимое жадное чувство к жизни, что заставляло его всегда торкаться во все стороны, и Киюра захотел переоценить свою жизнь. Он захотел построить новое подножие для памяти внуков о ней, в противовес деревенским преданиям о Федоре Сергееве, оборотистом и наверное прижимистом мужике. Так написал он свою автобиографию.

— Живешь, живешь, — сказал он мне, — как по воде плывешь, и следа от тебя нету.

Киюра потряс бумагой в руке, но не нашел дальше слов. Он нагнулся к раствору маленького оконца. Оттуда виднелись строения коммуны. Березовая аллея вела к воротам. Все было залито летним солнцем. Оно пересекало деревья, прыгало зайчиками и курилось на земле. Синие литые мухи тошнотворно жужжали у окна.

— Вот, — сказал Киюра, — три раза прошел я эту дорогу. Крепостным на барщину. Потом на службу. Нынче бот в коммуну хожу. Три века прожил.

Их трое в магской коммуне, бывших крепостных Варвары Павловны Крекшиной. При чем Киюра самый молодой. Тимофею Константиновичу Воинову из деревни Карякино 90 лет, а Михаилу Васильевичу Баскакову из деревни Хларево—96 лет. Федор Сергеевич и Тимофей Константинович в Магах живут рядом. Тимофей Константинович— в няньках в своей семье. Он целый день сидит у окна низенькой хибарки, где живет его дочь. Изба полна детей. Его внуков и правнуков. Они ползают по полу в одних рубашонках. Они висят в люльках из грязного кумача, обмоченного младенцами двух поколений. Они свистят в дудки под окном и дразнят полуглохого старца с нависшими веками.

Он уже давно привык не реагировать слишком на внешние раздраже-

ния. Он выработал в себе то особое свойство, которое хорошо было знакомо раньше русскому крестьянину-бедняку, свойство не слышать, не понимать, запомнить, отрешившись, от греха сторониться, которым он защищался от беды, от господ, от суда, от урядника. Старость усилила в Тимофее Константиновиче это свойство. Жизнь набрала хорошие мозоли на его спине. Со слезой и песком она терла его дни. Это была жизнь бедняка, потевшего с сохой, цепом, скотиной, платившего налоги, ломавшего шапку перед начальством, бившего жену и стоявшего на сходе в задних рядах, переминаясь, в лаптях и рваном зипуне. Он не бывал в Москве и Питере, как Киюра. Он прожил век неграмотным в своей родной деревне. Невелик освещенный круг его сознания, подобно ночнику или лучине, оставляющей тени по углам. Он начал свою жизнь еще при лучине. У него в ноздрях еще живо воспоминание о неожиданном запахе первого керосина.

И теперь он сидит у окна или на завалинке, полный недвижности своей жизни, равнодушный и к смерти близких, и к крику детей.

В теплый день Федор Сергеевич и Тимофей Константинович выходят за околицу, на колхозное поле. Они идут рядом, не поддерживая друг друга. Их плечи сгибает столб многих годов. Он тяготеет над ними, как притяжение земли. Они смотрят молча на трактор коммуны, поднимающий усадебную целину. Тракторист Байков Федор им хорошо знаком. Они знают его отца. С его дедом они играли в бабки. Байков первый изо всей деревни Копачево перешел в коммуну. Он был трактористом деревни до образования коммуны (Копачево — богатая деревня, за время революции складчину купила трактор). Когда трактор за плохое его использование по постановлению суда был передан коммуне, Байков не слез с него, а прямо переехал на нем в коммуну. Магнитные свойства трактора оказались сильнее притяжения земли.

Старик, взирающий на новое с холмика своей жизни, — довольно обычный в литературе мотив. Это обычный способ воплотить в людях противопо-

ставление жизни старой и новой (к слову сказать, тема «Дед и внучек» — одна из любимейших тем селькоровских стихов). Я же описываю действительные факты. Кроме того, я хотел тщательно избежать привходящих обстоятельств при оценке идейного смысла явлений. Вот почему, когда я подошел к этой группе коммунаров на краю поля, я был чужд напрашивавшихся само собой возрастных противопоставлений. Это были члены коммуны. Я с ними составлял производственный план. Опытная пахота низкой целины, непосредственно прилегающей к озеру, занимала всех с точки зрения пригодности этой земли — в виду ее местоположения — для засева зерновых культур.

Мальчишки сидели на крыльях трактора. Он ревел. Переваливался с боку на бок на кочках и воротил на сторону здоровенные земляные глыбины. Трактор работал. Когда из носа его начинал валить пар, ему подливали воду. Принести ведро воды из озера — забота ребят, их взнос за право катанья на краснопутиловском медведе.

Но трактор — может быть, самый яркий знак коммуны, хотя отнюдь не первостепенный и не самый значительный. Политическая, классовая борьба, преобразование мужиков, побывших в Красной армии, в организаторов коммуны, заколоченные окна в деревнях, где крестьяне покинули свои дома, чтобы переехать в коммуну, непрерывная борьба газет, советская власть, рабочий класс, коммунисты, революция, — все это составляет душу трактора, которую чувствуем все мы, смотрящие за его работой. Наконец в его надеждах, усилиях, в немолчном стуже, что день-деньской несется из коммуны, мы слышим новые явления ее жизни — социалистическое соревнование, ударничество, чувствуем закусенную губу, ревность заостренного труда. Наступление, наступление, наступление.

— Куда? — спрашивает Киюра.

Этому деятельному движению на берегу озера Маги Федор Сергеевич и Тимофей Константинович больше свидетели, чем участники. Мечты о лучшей жизни, что лежали у них где-то внизу, всю жизнь, как новая рубаха на дне сундука, которая так и остается

ненадеванной всю жизнь, — теперь, извлеченные наверх, оказываются истлевшими, как эта рубаха. Клад, богатство, избавление, — все это не те теперь. Сила, напряжение, борьба, молодость кипит вокруг и в жизни коммуны, самой отсекающей свои сухие ветки. Сергеев и Воинов сияются брать все это в свою голову. Отталкиваясь, они начинают вспоминать прошлое.

— Эва, — говорит умный Киюра, — как народ нынче поднялся, как поднялся. Все машины. В наше время целину у барина на паре поднимали. Вот здесь, где теперь пашут, лет пятьдесят назад тоже пахали. Я сам пахал. Вот тут банька моя была. Корезки еще видать. А в молодых годах, отец мне рассказывал, была на том месте, где коммуна нынче, выстроена Крекшиной потешная деревня.

— Какая такая потешная?

— А видишь ли. Как продал нас Ельменинов Крекшиной, то захотел управляющий взять нашу деревню ближе к себе. Вот тут, где теперь сарай для машин, сто лет назад был господский скотный двор на 85 голов. Ну, и много в господском угодье тогда было дела. Сад хотел управляющий разбить, чтобы на четыре страны света были аллеи и каждая по 2 версты. Конечно на барщину за 18 верст не годилось народ гонять. Не в том, что народ, а в том, что на хозяйстве ущерб и убыток. Решил барин нас переселить. Заказал построить цельную деревню. Все избы как есть новые были поставлены. Дворы хорошие. Но только не поехало Мишнево.

— Как так? Разве крепостная деревня могла не подчиниться помещицкому распоряжению?

— Не могла-то не могла — это верно. Но Николай Платоныч, управляющий — племянник Варвары Павловны. Это человек был, о котором сам губернатор знал. Звону о нем было — не расскажешь. Кутил, чудил по всему уезду. Сколько наплакались от него. Ни одной девки не пропускал, чтобы подол не поднять. Оранжерею в баню превратил. Молодых баб и девок согнит, велит раздеться и голыми за цветами ухаживать, поливать. А сам смотрит. Пыры задавал необыкновенные. И

никакого удержи на него не было. У попа свояка застрелил. Поп жаловаться. Но только попа выслали, а ему сошло. Продал он таким манером весь скот петербургскому гуртовщику. А тут ему письмо пришло, что едет сама Варвара Павловна. Николай Платонич к мужикам. Так, мол, выручите, люди добрые. Согнали мужики свою скотинку на господский двор. Удивилась барыня, что больно-то коровушка у ней худородная. Но ничего. Сошло. Так вот пригрозились мишневцы, что расскажут самой барыне про историю с коровами. Николай Платонич конечно горячий был, сейчас за хлыстик, — был у него такой серебряный, — старосте попереk бороды. Но только обошлось. Договорились. А барыне сказали, что из Петербурга вышло такое распоряжение не трогать мужиков без их мирского согласия.

— А что же с построенной деревянной сделали?

— А люминацию.

— Какую иллюминацию?

— Очень просто — зажгли деревянно. Бал был устроен. С'ехались господа на праздник со всего уезда. Долго ль зажечь. Ткни смолянку в застреху и все тут. Спьяну-то обгорел один в избе. Игру устроили, кто дольше в горящей избе усидит.

— Да, далеко, далеко ходить было, — просыпается Тимофей Константинович. Он кивает головой. Рассказ Киюры, кажущий мне почти неправдоподобным, настолько плакатны его мазки, не вызывает в нем ни тени сомнения. Он слышал, знает, пережил это.

— Далекo. От Карякина в Бережок ходил на барщину. Почитай 8 верст. Идешь, темно еще. К 4 утра уж на работу надо было быть. Опоздаешь — староста огреет тебя. Во как.

— Как мучили народ, как мучили народ, — назидательно говорит Киюра, в то время как трактор, облепленный мальчишками, проходит, гудя, мимо.

Тимофей Константинович недоверчиво смотрит на Киюру. Вероятно он вспоминает его таким, каким он его знал полвека тому назад — в новой поддевке, десятником помещицы Грен, с волосами, приглаженными маслом. Ко-

нечно они вместе родились в кандалах. Они наконец вместе стоят теперь на пороге нового дома, который строит их народ, их страна. Они рядом нянчат еще пускающее слюни поколение нового мира. Но в душе Тимофей Константинович не может простить Федору Сергеевичу его былого возвышения и его господской поддевки. Он не может простить также, что Киюра повидал мир хотя бы с одного уголка, что он может рассказать в хорошей компании о прошлой жизни и вызвать к себе сочувствие сопоставлением ее со счастливыми временами наступающего социализма. Что может рассказать Тимофей Константинович? Его мысль, воспоминание оживляясь, тотчас гаснут, как ручеек в песке. Он неграмотен и сир. Он обобран жизнью до последней нитки. Ему не удалось раньше выбиться, как Киюре. Но и выбившийся раньше отрывался от народа. Он становился для народа чужим, их врагом. «Господа» скривили жизнь Киюры, как земля своим притяжением ломает путь мелких небесных тел.

— А помнишь, Федор Сергеевич, Ермошку?

Они вспоминают про Ермошку. Полуэродивый, полуреволюционер. Дьякон-расстрига. Ходатай за униженных и обездоленных по сутяжным судам прошлого столетия. Он плюнул в лицо митрополиту. Он сидел в тюрьме. Он умер и пропал там. Слава безвестного бунтаря из деревни Карякино еще теплится в этих двух головах, чтобы исчезнуть с ними навсегда. Но Тимофей Константинович говорит о нем с некоторым чувством подчеркивания, где угадывается непрощенность бывлой поддевки Киюры. Она заслоняет седину и годы.

Но они предаются воспоминаниям. Это захватывает их. Они уходят в былой век, точно домой. И я стою перед ними, как бы войдя в другое столетие. Три брата Тимофея Константиновича отслужили в солдатах по 15 лет. Они перечисляют потерянных людей. Они вспоминают пропавших, засеченных, проданных из семьи. Они переживают вновь трагедию харламовской девки, отданной волей помещика за безногого. Девка убежала из-под венца, из церкви.

Ее поймали во Млеве и засекали на конюшне. Вопросы я буравлю их память по всем направлениям. Мне важна каждая мелочь. И во всех ее слоях я натываюсь на могилы, слезы, задущенные протесты, на следы босых ног закованного народа.

— А теперь мишневцы сами свои дома переводят в коммуны. Вишь, как жизнь обернулась, — говорит Киюра голосом благословляющего Симеона. — Какой на этом месте круговорот пошел.

— И поболее того будет, — улыбаясь, добавляет Тимофей Константинович, довольный мыслью-находкой, — от Зосимы-то в Соловки опять поехали.

На берегу озера в глухом бору — и сейчас видел я — стоит часовня с водосвятием. Она построена без пилы. Даже доски пола, широченные плахи, вырублены и тесаны топором. Ей более двухсот лет, как определяли приезжавшие из археологического общества. По преданию, ее поставили отшельники-монахи Зосима и Савватий, переселившиеся впоследствии на Соловки и ставшие одними из основателей Соловецкого монастыря. В Соловецком монастыре есть архивные свидетельства о «магских выходцах».

Во время революции лесная часовня стала местом кликушества, религиозных демонстраций кулаков и зажиточной части деревень. Впоследствии и во время ликвидации кулачества зимой 1930 года многие были высланы в Соловки. Так мысль Тимофея Константиновича связала концы и начала своей памяти.

И часовня эта тоже совершила круг своей жизни. И на ней прочертила история свой путь. Срубленная беглыми крестьянами в таежной глуши, эта часовня тоже когда-то была бессильным знаком поисков угнетенного народа.

Потом она стала знаком тьмы и мракобесия, лесным фортом старого мира, знаменем кулаков. И сейчас она стоит, забитая досками и заброшенная. Болота и мхи подступили вплотную к ее темным позеленевшим стенам. Навес на кривых столбах клонится над водосвятием. Упавшая ольха преграждает путь. И вся она медленно погружается в небытие.

По воскресеньям в магскую церковь приходит из Хларева Михаил Васильевич Баскаков, один из немногих коммунаров, отдающих иногда дань религиозным предрассудкам. Впрочем ему простительно: Михаилу Васильевичу — 96 лет. Он прям, весело смотрит. Любит переодеться в праздничную одежду. Сравнительно легко он идет один, пешком, без палки три с половиной километра от хларевского отделения коммуны до Маги. Он стоит наконец целиком всю обедню, хотя давно ничего не слышит на таком расстоянии. Наконец он идет также пешком обратно. В поле он не то бормочет, не то напевает какие-то мотивы. Он доволен жизнью. Он еще имеет свою жизнь. Он еще работает. Он плотник и помогает делать в коммуне парниковые рамы. Он не няньчит детей, подобно Тимофею Константиновичу, и не философствует, подобно Киюре. Он держит стамеску и умеет хорошо положить угол.

Какая удивительная сила сохранилась в этом человеке, которую не могла вымотать и пригнуть крепостная пята старого мира. И не эта ли могучая кровь оплодотворяла вырождающегося помещика? Вспомните разговор об этом Герцена с Грановским на их даче в Соколово, под Москвой.

— Да, вот от этих налитых баб с крутыми икрами бьет сок, который давал жизнь помещику.

Михаил Васильевич Баскаков пронес эту силу из глубины девятнадцатого столетия, этот биологический капитал народа, в новый век социализма. Он дожил даже до того счастливого мига, что мог эту силу сам непосредственно вкладывать в строительство социализма. Восемилетним мальчишкой его взяли в крепостную плотничью мастерскую помещицы Варвары Павловны Крекшиной. 19 лет он был крепостным плотником. Более полвека потом он бродил с плотничьими артелями. Он ночевал в коморках по городским окраинам. Он пьяный спорил в грязных, пригородных трактирах. Его били десятники. Он курил свои козьи ножки, дожидаясь расчета на ступеньках хозяйских контор. Его семья размножалась. Его дети также подвязывали бечевой волосы и надевали фартук. Сколь-

ко стружек должен был снять Михаил Васильевич, сколько опилок отошло из-под его пилы, пока революция не расчистила действительный путь ему и его семье. Баскаков пошел в коммуны за семьей, за всем своим многочисленным родом.

Смотрите на его руки, покрытые узлами, подобные корням, вырванным из голши истории. При коммунизме, может быть, возраст Михаила Васильевича будет нормальным человеческим возрастом. Но сейчас он говорит голосом, к которому нельзя не прислушаться. О чем говорит он? Не только — обещающе — о будущем долголетия человечества, но и о быстром ходе истории, которая на протяжении одной человеческой жизни умещает три эпохи: феодально-помещичью, эпоху капиталистического развития России и наконец начало ее социалистического переустройства.

Научитесь уважать эти руки, хранящие печати великого труда, овеванные его оролом. Они работают уже 88 лет. И сейчас сами непосредственно они строят социализм, строят подножье для памяти о тех днях, когда люди труда с боями, с неслыханным напряжением возводят стены нового, коллективного металлургического мира.



— Ты в Лухово поезжай, — сказал мне как-то Баскаков. — Вот там действительно старуха живет. Бабка Громиха. Давно уж ей за сто перевалило. Она тебе о крепостном праве порасскажет. Бедовая бабка.

Итак, однажды я поехал в деревню Лухово. Не часто предоставляется вам возможность разговаривать с человеком, который живет уже второе столетие. Авдотье Федоровне Громовой, по справке грибенского сельсовета, — 109 лет. Она родилась в 1822 году. Я ждал свиданья с ней. Ей было уже 14 лет, когда на Коломягах был убит Пушкин. Она пережила пять царей. Три революции. В мертвые длинные десятилетия царствования Николая-Палкина прошла ее молодость. В Юрьев день 1861 года ей было 39

лет. Она была уже пожилой, отцветшей женщиной. Ее память мне казалась курганом, полным утвари, оружия и древних монет. Но я не хотел быть археологом. Я искал документов о преступлениях старого мира. Я искал еще неотсыревший динамит. И я искал встречи с ней.

Она вышла ко мне из избы, несколько напуганная непонятым ей визитом, босиком, подтыкая под платок старческие космы. Порезанная об осколок нога была завязана тряпкой. Она нищенка сейчас — бабка Громиха. Давно она пережила всех своих родных. Несколько лет назад ее выгнала из дома ее внучка, вышедшая замуж за железнодорожника. И теперь она живет из милости у другой бобылки — старухи Ильиной.



Годы бабки Громихи слишком исключительны. И я не мог в себе заглушить хотя бы чисто научный интерес к ее существованию. Я смотрел раскрытыми глазами. Я хотел запомнить и объяснить себе каждую мелочь. С точки зрения антропологической она представляет немалый интерес. В самом деле, какие обстоятельства вызвали столь долгую деятельность организма? Вся ее жизнь, это — каторга батрацкого, подневольного труда. До 35 лет она работала в хозяйстве своего отца. Отец состоял при господском театре. Его семья одна отбывала барщину в деревне Козикино. 35 лет она была продана вместо приданого невесте помещика Ушакова, прежнего владельца Лухова. Ушаков отдал ее в дом замуж уже старой, давно перезревшей девкой.

Она была двенадцатой в доме. Муж ненавидел ее. В доме она была половиной тряпкой, батрачкой, которую попрекают каждым куском хлеба. После смерти мужа, детей она вместе с внучкой пошла по миру, в кусочки. Она нанималась косить, копать картошку, нянчить детей за корку хлеба. Каждое волокно ее тела вымочено в уксусе горькой нищеты, постоянных недоеданий, беспраздничных, безрадостных дней. Каждый сустав ее всю жизнь скрипел в машине неволи и эксплуатации. Ее глаза видели мутные слюдяные окон-

ца, овчины, зипуны, корыта, щелок, навоз, бревна с раздавленными клопами, бородатые, грубые лица с морщинами, точно из глины. Разноцветные краски они видели только на небе, в радуге. И еще в церкви на рясах священника. Ее уши слышали только брань, слезы, попреки. Ее спина знала побои, ее плечи и ее шея — грубое, домотканное рядно, веревку с медным крестиком. Ее нос не знает разнообразия запахов вселенной. Он вдыхал вечную духоту избы, махру, кислятину картошки и капусты, овчин, детской и коровьей мочи. Она никогда не носила теплого белья внизу, как европейские женщины, и не знает, что это такое. Зимой, летом, осенью она одинаково ходила «до ветру» на двор, не покрывшись, и почти всегда босиком. Она рожала на соломе, рядом со своими коровами. И в душе она равно переживала их родовые страдания так же, как и свои.

И вместе с тем она никогда ничем не болела. Последний зуб она потеряла 12 лет назад.

— Вишь, внучка осерчала. Жамку я ее ребеночку не так сделала. Как она саданет мне наотмашь. Я только зубом и сплюнула.

Сейчас она питается черным хлебом, размоченным в воде, иногда в молоке, если кто даст. Разваривает пшено или гречу. Она спит возле печки, в закуте, отделенной грязной дерюжиной. Ее кровать — необструганные козлы, накрытые деревянным щитом. Сверху куча засаленных тряпок, сшитых в подобие одеяла, да ситцевый мешок с сеном — подушка. Когда я подарил ей кусок мыла, она захотела вернуть его мне обратно.

— Ни к чему оно мне, батюшка. Ни к чему. Вот помру — обмоют, как представляется господу. А сейчас покорно благодарим, батюшка. Молодой уж какой отдай.

Ее череп уже наполовину облысел, хотя — великая странность — у ней почти нет седых волос. Она носит черный чепчик. Точно кондор, она поворачивает к собеседнику свою голую голову на впавшей шее, испещренной выступившими жилами. Ее лицо в столетних морщинах покрыто мрамор-

ными пятнами. Желтый пигмент будто облупился и слез с кожи. Ее руки — руки мумии, с вылепленными коричневыми морщинами и жилами. И вся она похожа на старого индейского вождя.

Она еще работает. Она прядет лен. Два-три года назад, когда ей подносили рюмку водки, она могла сплясать. Она нюхает табак. Она хорошо видит и слышит. Со своей клюкой, согбенная, как баба-яга, она еще может проплестись километра за три в церковь. В маленькой, заброшенной деревушке Луково Авдотья Федоровна ни в ком не вызывает ни удивления, ни сочувствия. Она торчит здесь с незапамятных времен, точно древняя ветла у колодца, неизменный член нескольких поколений бабьих парламентов. Неизвестно, знает ли кто-нибудь в деревне ее имя, а тем более отчество. Живущее поколение — ровесники ее внукам — застало ее тогда, когда она уже ходила по миру как «бабка Громиха». Столь затянувшийся для нее приход костлявой служит постоянной темой для самодельных острот и скучных судачеств. Ребятишки, когда она идет по улице, кричат ей вслед:

— Бабка Громиха, скоро ль померешь-то? А то гробы дорожают.

Ее «квартирная хозяйка», хитрая и недобрая старуха Елизавета, говорила мне, надеясь получить сочувственный отклик:

— И чего живет, и чего живет? Как ее господь не прибирает. Только людям беспокойство одно.

Ни грибенский сельсовет, ни удельский рик, ни местные комсомольцы не подумали заинтересоваться этим живым свидетелем крепостных времен или охранить последние ее дни от голода.

Мы вошли в избу. Бабка Громиха начала свой рассказ, поминутно прерываемая Елизаветой, боявшейся, что та выдаст какие-либо деревенские тайны «московскому комиссару». Но память ее не держала нить рассказа, как пальцы вязальный крючок. Она захотела похвастать. Ее отец был гордостью рода. Он пел в крепостном хоре. Он играл на фатоте. Он знал грамоту.

— Накошь, прочти тута, — сказала Громиха, подавая старинный лубяной ларец. — Что тут сказано?

В ящичке, прикрытая тряпичей, лежала семейная святыня — кусок почти полуистлевшей газеты. Это был номер «Московских ведомостей», как я потом разобрал, от 1797 года. Рыжими чернилами была обведена заметка. Я прочел:

«Продаются 3 лошади, 2 жеребца гнедопегих по 4 года, аглинской породы, очень паристые и хорошего роста, да один мерин темнобуланой, 3 лет, аглинской же породы. Видеть их и о цене узнать в 8 части, 1 кварт., в доме под № 200. В оном же доме продается музыкант, который играет на фаготе и начинает петь баса, очень хорошо выучен читать и писать, 15 лет».

Так вот оно, это чудовищное удостоверение в талантах ее отца. Это было объявление об его продаже. Оно было хранимо в крепостной семье как своеобразная медаль, как ошейник дресированного человека.

— Так что же он на трубе играл?

— Так точно, батюшка, на трубе. Пальцы у него белые, господские были.

Я разостлал газету и, с трудом разбирая стертые буквы, прочел ей вслух еще несколько объявлений:

«Продается официант 25 лет, с женою и малолетним сыном, очень хороший ткач, он умеет брить и кровь кидать; жена же его может ходить за госпожею и умеет все делать. Тут же продается дормез, немного подержанный, самой лучшей работы. Желаящие купить могут обо всем узнать в 7 части, 2 кварт., под № 138, в приходе Афанасия и Кирилла».

«Продается холостой человек, годный в гусары и егери, ростом 2 арш. 10 вершк., 29 лет. О цене спросить в 8 части, 5 кварт., под № 399, у домоправителя».

«В 15 части, 2 кварт., в четвертой Мещанской, под № 111, продается девка, умеющая белье шить и в тамбуре, гладить и крахмалить, отчасти кушанье готовить и портному. Тут же продаются бриллиантовые вещи и цветные камни; да бык и корова, хорошей породы, за сходную цену».

Но, казалось, бабка Громиха не слышала меня. Она поддакивала головой, но ее мысль где-то бродила по ей од-

ной ведомым тропинкам, протоптанным ею еще столетие тому назад. Где прошли эти тропинки? Что видела и знает она? Ужасы рабства, о которых мы знаем из литературы, из рассуждений, иногда становящихся шаблонами, она освоила своей спиной, пятью чувствами, всем своим бытом. Она валялась в ногах этого «допотопного чудовища» — старой николаевской России. История всего мира катилась мимо нее. Возникали и падали государства, рождались и умирали миллионы, десятки миллионов людей. Передвигались повозки, товары, поезда, корабли. Шли войны, зрели классы, происходили революции. Французская революция 48-го года застала ее 26-летней девушкой. Ее уши могли уловить выстрелы с берегов Сены, топот коней национальной гвардии, стоны побежденного народа. Войны Севера и Юга. Освобождение негров. Она была уже почти старухой во времена Парижской коммуны. На ее глазах прошло все развитие России. Комитет Сперанского, кризис барщинного хозяйства, рост обрабатывающей промышленности, записки Кошелева и Кавелина, 19 февраля, земщина, первая железная дорога, мировой кризис 70-ых годов, рост рабочего класса.

Она молчала. Она «виновата». Она не знала этих событий.

Представим себе, что я рассказал ей все это, что я рассказал ей о других странах мира. О людях с другим цветом кожи. О сотнях языков, на которых говорит мир. Мы прошли бы с ней вдоль течения Нила, встречая жираффов, львов, гиппопотамов, арабов, сенегальских негров, бушменов. Мы слышали свист бичей, видели белые каски коммерсантов, мы сидели на террасах под незнакомыми звездами другого неба. Мы были в Индии и Китае. Сгибались над крохотными полями желтых ширококулых крестьян. Мы видели пот, выступавший на их спинах. Мы ходили по дорогам старой, обжитой Европы. Мы были в Англии с ее древними городами, где из каминов летят хлопья черного угля.

Она оживилась при имени Англии. Ее брат Яков в 1853 году участвовал в Крымской войне, в сражении при Инкермане. Он был взят в плен и уве-

жен в Англию. Оттуда он вернулся через несколько лет, научившись там говорить по-английски.

Я называл ей имена великих писателей, которых она пережила. Я говорил ей о Пушкине, о Некрасове, о Толстом, о Достоевском. Я называл столетние имена Гете, Шекспира, Данте, которых знает весь мир.

Она молчала. Она никогда не слышала этих имен, она была неграмотна.

Я говорил ей о великих изобретениях, которыми гордится блестящий девятнадцатый век. О современных успехах физических наук. Но она никогда не видела аэроплана. Она никогда не жила в комнате, освещенной электричеством. Она понятия не имеет, что такое двигатель внутреннего сгорания. Она никогда не слышала радио и не знает, что это такое.

Я хотел вызвать в ее воображении гигантские дома, сложные машины, океанские пароходы, построенные для себя властителями старого мира. Я хотел затронуть в ней нервопровод, ведущий к классовой ненависти. Я хотел ей дать приблизиться к новым идеям наслаждений, создаваемым современной буржуазией. Я очертил перед ней идею весны на Атлантическом океане. Стальной титаник, раздавливающий волны. Мраморные купальни, окаймленные тропическими кактусами. Теннис на палубе под зеленым небом океана. Кино по радио на серебряном экране. Радиобиблиотека. Музыка необычайных инструментов. Цветы и шуточные подарки за табльдотом. Заглушенный смех в каютах.

Она молчала. Она не имела материала, чтобы построить это в своем воображении.

Тогда я попытался нарисовать оборотную сторону этого мира — картину капиталистической эксплуатации. Я говорил ей о руке, подвигивающей один и тот же винтик в течение многих часов. О толпах обезличиваемых, приставленных к машинам и между машин.

Она молчала. Она не могла представить себе мировой рабочий класс в его миллионах, спдавленным трудом, как действующую наступающую силу.

Тогда я попытался бы дать ей географическое, этнографическое и мате-

риальное представление вселенной. Я говорил ей о больших столицах мира: о Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Стефэн Грехем писал о Нью-Йорке: подумайте только, что есть миллионы людей, которые рождаются, живут свою жизнь, умирают, не увидев никогда его улиц — одно из удивительных созданий человеческой культуры. Эти громадные коридоры, где стены домов испещрены играющим светом, движением реклам, переливающимися красками, вибрацией овеществленных столкновений человеческих интересов. Эти вереницы автомобилей с их лучевыми спицами, протянутыми вдаль, с их световыми усиками, которыми они ощупывают блестящую асфальтовую дорогу. Эти толпы стремящихся людей, разных оттенков кожи и языка. Эти мириады освещенных предметов в витринах, предметов, отвечающих самым утонченным фантазиям человека.

Она молчала. Она никогда не слышала о Нью-Йорке. Она никогда не слышала о Стефане Грехем. Она не могла представить этих предметов.

Я не задел в ней ни гнева, ни зависти, ни любопытства, ни деятельности воображения. Самыми различными способами я опускал лот в глубину ее сознания, и он неизменно приносил мне немного ила с берегов озера, где она провела свою молодость, и немного земли глухой деревни Лухово, служившей ей миром в течение ста лет. Она вобрала в себя всю азиатскую недвижность, в какой пребывало века большинство русского крестьянства. Ее сознание сформировалось в те времена, когда даже само передвижение тел в пространстве и мыслей в головах было доступно только самой ничтожной верхушке дворянского класса. Ведь даже царь ее Николай Павлович однажды ехал из Рязани в Москву, 200 верст, два дня. А в другой раз его тарантас перевернулся, и царь пролежал несколько недель в каком-то дырявом городишке Чембарах со сломанным ребром и ключицей. Вереница царей прошла перед ней, как некое верховное начало жизни, облеченное в церковную парчу. Она видела их на лубочных картинках, восседающих на тронах в лучах, идущих с неба. Она запомнила

их имена. Она помнит смерть Николая I, помнит событие 1 марта 1881 года, наконец слышала о расстреле последнего Романова. Но ее жизни так же мало касалось все это, как чужеземные страны и изобретения. Классовая борьба, горечь эксплуатации, несовершенства мира входили к ней по бесчисленным разветвлениям. Лохмотья, подати, подушные, поземельные, земские, мирские — все это вливалось ей под ногти. Из ничтожных молекул, песчинки складывались здесь ее гнев, ее любопытство, ее зависть, ее воображение.

Отсюда, с этой стороны я попытался отыскать путь к ее чувствам. Я говорил ей о крестьянском движении, о чигиринском восстании семидесятых годов, я напоминал ей о судах, о земских, об урядниках, о податях.

И она кивала головой. Она добавляла мои рассказы. Она волновалась, вспоминала.

Все революционное движение XIX века выросло, прошло на протяжении ее жизни. Она еще застала декабристов. Я говорил ей о Пестеле, Муравьеве, Рылееве. Я называл ей ее современников — Герцена, Бакунина, Маркса, Энгельса, Нечаева, Чернышевского. Я рассказал ей, как Чернышевский в ледяной тюрьме Вилюйска отказался подать царю просьбу о помиловании. Я рассказал ей о Каракозове, Желябове, Софье Перовской. Я говорил ей о народолюбцах, о Вере Фигнер, о казни брата Ленина Александра Ульянова. Я говорил ей о тысячах погибших революционеров, шедших в неравный бой против царей, помещиков, господ. Ведь ее жизнь поглотила все эти имена, все эти жизни. Я рассказал ей о Владимирской дороге, этом страдальческом, кандалном пути политических каторжников, пошедших за народ в Сибирь, на муки, на каторгу, об этой дороге, которая носит теперь молодое название — шоссе Энтузиастов. Все они отдавали свои жизни ради нее. Я хотел объяснить Громихе смысл дней, до которых она дожила. Я говорил ей о рабочих как классе, который построит достойную жизнь для всех. Я рассказал ей о Ленине и о Сталине.

Она молчала. Она ничего не слышала обо всех этих вещах. Впрочем она кое-что слышала о Ленине. Она знает имя Сталина.

Тогда, пораженный ее молчанием, бросив способы, которыми я хотел вскрыть ее душевный мир, я попросил рассказать событие, запечатлевшееся у ней.

— Да что, батюшка, что, сокол мой, рассказывать. Век я прожила в бедности, в темноте. Нечем мне тебя побаловать. Жизни я своей не имела. Все на барина, на свекра, на мужа — жизнь прошла.

— Ужель, бабка, и не любила никого?

— И, милый ты мой, в старое время с этим не разбирались. Становись в хомут. И все тут. И вся недолга. Не любил меня муж. Конечно дело господское. Приказал меня барин Володимир Александрович ему отдать. Ему тоже разбираться не приходилось. Привязли нас после венца к свекру в избу. Народ хмельничает, «горько» кричат. А я трясусь вся. 37 годов мне тогда было. Век до мужика не касалась. Что, думаю, со мной будет. Плачу. Вывел меня муж в сенцы. Пошупал меня. А я рукавом-то норовлю слезы скорей при муже отереть. «Ну, ничаво, говорит, не горюй, баба. Стара маленько. На подстилку не годишься, да ничаво». Недели со мной не прожил, поехал в Рыбинск. Муж-то мой Василий Михайлович был ученый столяр, краснодеревщик. Ну, и все тут. И вся недолга. Осталась я при свекрови за работницу. Прошло, не упомяну, сколько годов, только присылает муж письмо на деревню. Некому и прочитывать было. К старости пошли. Батюшки-светы, сам меня в Рыбинск требует. Свекор-то и говорит: «Никак Васька мой образумился, с женой жить захотел». Собрали меня на дорогу. Только тогда на Рыбинск чугушка пошла. До смерти ее народ боялся. Посадили меня в чугушку. Я глаза закрыла. Думаю: громом ударит, хоть не видать. Так, зажмуримши, и ехала. Приезжаю, а он, вишь какое дело, дружицу себе другую завел. Ребеночек у них родился. Так меня нянчить вызвали. Ляжет с ней, обойдется. А я тут же, в фатере ногой

люльку качаю. Упала я к нему в ноги: отпусти домой. Долго не отпускал.

— А домой-то, что же он не приезжал?

— Приезжал кадысь. Приедет к отцу на праздник. Мне брюхо набьет. И все тут. И вся недолга. И ходишь тут с начинкой. 8 детей у меня было. В молодых годах помирали. Одна дочка до 21 года дожила. Отдали ее замуж в Оболтино. Тоже, вишь, незадача вышла. У мужа-то ее опять дружница была. А мою дочку он на чердаке повесил, а потом сказался, что она сама удавилась.

— Я знаю. Мне Киюра рассказывал об этой истории. А мужу ее что же ничего не было?

— Ни, в остроге не сидел. В старое время в бабьем деле не разбирались. Переехал потом под Питер жить, так это дело и пропало.

— Ну, а твой муж? Так и пропал тоже?

— А как стал свекор стареть, потребовал он себе сына по этапу. Тогда закон такой был, что должен мужик свое хозяйство держать. Конешно не хотелось моему Василию Михайловичу, только пришлось ему отцовскую волю выполнить. Приехал со своей дружницей Пелагеей Васильевной. Была она вдовой ломового извозчика. И сын у ей от маво мужа двенадцати лет уже. Поселился с ней в чистой горнице. Верстак там свой поставил. Мать пресвятая, срам какой мне. По деревне ходу нет. Свекор к старосте. Приходит он с мужиками, с понятыми. Мой к им так вышел, а дверцу-то рукой держит. «Чего, говорит, пожаловали, Осип Парфентич?» «А то, Василий Михайлович, живи по закону. Нет такого закону, чтоб без венца жить. Срам, говорит, татарский по деревне пускаешь». Сказал да в избу. А я за ними, под верстаком, да к мужу. В грудь его толкнула. Как он меня об верстак двинет, я кровью захлебнулась, в беспмятство. И-и, что тут потом было. Не сразу он послушался. Разов четыре я все к старосте бегала. Только однажды собрал, гляжу, он ей узелок, сундучок ей сделал и повез на станцию. Тогда на чугунке ремонтные рабочие работали. Увидали его. Шапки кверху кидают: «Ура, кри-

чат, Громов жениться едет. Ура». Так еще за это он потом меня бил.

— Ну, а потом как?

— Да, известно, дело мужицкое. Жил потом со мной. А дружница его так тама и осталась. Сынишка в скорости тут ее помер. Василий мой тоже. Не приехала. И вот и жизнь вся тут. И вся недолга.

— А помещика помнишь?

— Ушакова, Володимира Лександровича? Как же. В молодых годах здоровья я была и определяли меня на барщине на все мужицкие работы. Кошу я раз, упарилась до последнего поту, — мужики все здоровые за мной, норвят косою пятку подрезать. А барин идет. Грыб большой мне подает. Нашел, гуляючи. «На, говорит, Авдотьюшка, покушай». «Нет, говорю, Володимир Лександрович, грыб, говорю, белый господский. Не нам такой грыб кушать». Осерчал барин за вольное слово. Взяли меня на двор к ему в Островок. Приказали мне в девичьей материю прясть. Таковую тонкую, чтоб можно было в обручальное кольцо ее протянуть.

— Ну и что же, спряла?

— Спряла. Все глаза свои на том проболела. Дым от лучины глаз ест, а тут и так не видишь ничего. Сестру мою за такое дело, что наказ не сдала, к Заворыкину продали. На борзых обменяли, — Володимир Лександрович большой охотник был.

— Что еще знаешь ты?

— Да что, батюшка, что, милок? Чаво мне знать? Век я в упряжке прожила. Теперь вы, молодые, по-своему строите. Ну, и счастье вам. Ну, и хорошо. Дай бог Сталину здоровье — о нас, о бедняках, помнит. И вся недолга. А я вся тут.

Так прошла ее жизнь. Все, что знает и запомнила она, можно прикрыть овчинкой. Овчинка заслонила небо. Поле, кадушки, коровы, семейная драма заполнили ее мозг. В каком веке она жила? Во времена Гостомысла, Василия Темного или Ивана Грозного? Что отделяет ее от средневековья?

— Он ограбил тебя, блестящий девятнадцатый век, гордый своей культурой и изобретениями, — тогда вскричал я. — Он отнял у тебя детей, личное счастье, он обнищил твои органы чувств,

твой мозг, он оборвал твои мысли, фантазии, желания. Он отнял у тебя, скрыл и воспользовался всем, что создавал мир, муравьи труда и науки. Так много создал он и так мало дал тебе.

Она молчала. Она не понимала меня. Сморщенная и серая, она смотрела на мой гнев прищуренными глазами человека по ту сторону добра и зла. Она вышла из погребца русской истории. Столетие она просидела в нем, брошенная туда правящими классами. И история прошла мимо нее. Что видела она в этом мире? Чудом выживший полпред миллионов ограбленных, загубленных, ушедших давно в землю ее братьев, детей, сестер, она казалась мне олицетворением судьбы русского бедняка-крестьянина в старом мире. Он собирал крестьян на свои фабрики и гнал их в шахты. Что давал он им?

Она безмолвствовала, смотря мне в глаза. Но она как бы говорила всем своим видом:

— Разгладьте ее морщины. Читайте пергамент ее щек и рук. Она — живой обвинительный документ блестящему двенадцатому веку, пяти ее царям, классу помещиков и фабрикантов. Она — живой счет интервентам, воинствующей гвардии старого мира. Она — страшная улика его истории. Она — знамя ненависти к нему.

Она молчала. Она ждала моего во-

проса. Я спросил ее о последнем желании, которое она хочет, чтобы я исполнил.

— Похлопочи ты, батюшка, пенсию мне. Не дай пропасть старухе, — сказала она искательно, дернувшись рабьим движением поцеловать руку.

Я написал о ней в газету «За коллективизацию». Московский отдел социального обеспечения постановил: «Принимая во внимание, что Авдо́тья Федоровна Громова, 109 лет, прошла сквозь строй эксплуатации крепостной царской деревни, и, как батрачка, не имеющей в настоящее время средств к существованию, определить ей пожизненную пенсию от государства в размере 120 рублей в год».

Так скромный декрет замкнул ее жизнь. В нем сказалось все: и патетика нашей революции, и бедность еще нашего государства. Но ее, вышедшую из рядов миллионов погибших бедняков, из глубины прошлого столетия, теперь приняли на свои мозолистые руки рабочий класс и боевая советская власть.

Напишите ей в деревню Лухово (ст. Гриблянка, Сев.-Зап. ж. д., Удомельского района), Елизавете Ильиной д. бабки Громихи. Ей прочтут. Ее очень трогает всякое к ней внимание. Ведь жизнь помыкала ею целый век.

2. ЛЕТУНЫ

Вас. Туров

Вопрос о летунах, отдельные «портреты» которых даны в очерке, интересен с двух сторон: с точки зрения производственной и с точки зрения использования людского материала. Всем известен вред, приносимый заводам этими «перелетными» рабочими, в большинстве случаев уже деклассированными, ставшими профессиональными бродягами. Попадая на фабрику или на завод, они никогда не заботятся о поднятии производительности и о выполнении промфинпланов: они не чувствуют себя хозяевами производства. Это они, безымянные «герои» полустанков, — полувредители и полуворы, — норовят «содрать» с произ-

водства побольше, а дать производству поменьше.

Настало время резко поставить вопрос о ликвидации этого явления, о переделке психики этих заброшенных, своевольных парней.

Если раньше текучесть рабочей силы можно было объяснить безработицей, то теперь острота ее сгладилась. Нужно только, чтобы все организации, а в первую очередь комсомол, энергично взялись за ликвидацию этого позорного наследия прошлого.

Много примеров трудового героизма являют горняки и металлоры Донбасса.

Шахтеры-ударники бьются за угольную пятилетку в 3 года. Но «неполадки» быта порой чувствительно отзываются на качестве работы. Одной из язв быта и являются летуны.

Кто они, эти летуны?

... Нарядная — отдел заводоуправления для найма поденных рабочих на разгрузку состава с рудой и коксом.

Нарядная—длинный темный сарай, с окнами под потолком, где в одуряюще кислом воздухе вповалку лежат сотни самых разнообразных людей: здесь даже и в наше время находят приют типы, описанные когда-то Горьким,—и мечтатель Коновалов, и своевольный Челкаш, представитель босяцкой богемы. Встречаются и уголовники. Среди ночи сквозь посапывание и храп вдруг прорвется тревожный выкрик, блеснет финка, а потом долго сверлит уши стон раненого. Немало в нарядной и пьяниц. Не в диковинку видеть и «до-гола» проигравшихся людей. Неудачник — в чем мать родила, с нелепым крестиком на шею — отлеживается на полу под дерюгой. Холд заставляет его переворачиваться с боку на бок. А на теле его липнет слой жирной грязи.

I

Однажды вечером ребята, собравшись в нарядной на нарах, «делились воспоминаниями». Как много пережито! Вот Баров,—он с десяти лет убежал на фронт «смотреть, как бьют белую шпану». Ване Шелесту захотелось полетать на аэроплане, и в поисках его он исколесил Кавказ, Крым, Закавказье и Донбасс. Богданов убежал из детдома, измученный скукой и однообразным распорядком дня. Он видел все столицы республики, был в Одессе, Астрахани, Баку, Кисловодске...

— Это чепуха,—сказал Баров.—Вот Солдатенко всех перещеголял.

— Как?

— Он проехал 30 тысяч километров без гривенника в кармане.

— Ну? Небось трепется,—недоверчиво протянул Богданов.—А ну, расскажи.

Все пристали к Солдатенко. Тщедушный, востроносый паренек молчал. Его черные печальные глаза и вся фигура,

сгорбившаяся, с безжизненно свисающими руками, являла вид сильно уставшего человека. И ходил он медленно, словно раздумывал: переставить ногу или нет? Говорил лениво, шлепая тонкими губами, скупно пропуская сквозь них слова.

Наконец Солдатенко заговорил. Срывающимся голосом тоскливо начал он рассказ, по временам останавливаясь, что-то отыскивая в своей памяти.

— Нехватит у тебя, друг, бумаги, — кивнул он в мою сторону, — половину своих путешествий я забыл, но и то, что расскажу, хватит на всю ночь. Об этом обо всем, браток, надо пропечатать такую острую статью, чтобы весь пролетариат узнал о нашей горькой житухе и крикнул бы враз: «Давайте им поможем!» Во-как... Ну так вот, значит, жил я...

Он говорит, и перед глазами слушателей встает курская деревушка Болотная, покосившаяся, заросшая бурьяном, с такими же лохматыми мужиками. Сотни лет кисла в ней жизнь. В революцию вековуша-деревня зашевелилась: в деревню приехали новые суровые, мускулистые люди, зазвучали новые, неслыханные прежде слова. Бородачи галдят в сельсовете — делят землю, а юнцы, толпа безусых, усядутся под тыном и мечтают, фантазируют... Хорошо например прокатиться на возу без лошади... еще лучше — полетать на стальной птице... или на паровозе обехать весь свет... Нет, всего лучше добыть в городе черную кожанку, «стеклянные» сапоги и гармошку с перезвонами... В городе, сказывают, достать все это можно почти задаром. Ух, здорово! Красивая там жизнь, в городе: театры, музыка, туманные картины...

А действительность, как нарочно, раздражала Сеньку. Утром Солдатенко с бранью подымала мачеха, гнала его возить навоз, купать лошадей и пасти свиней. Особенно ненавидел он обязанности пастуха.

— Довольно портить молодую жизнь, — сказал себе Сенька однажды и, улучив день, когда родители выехали в поле за снопами, наскоро связал узелок и выбежал за околицу. И ни разу не оглянулся назад. — В город, скорее в город!

На третьем месяце голодных скитаний осунувшийся, завшивевший, с толпой летунов прикатил Солдатенко в Сталино и зашел в нарядную.

— Перво-наперво, — тянет рассказчик, — уж так здесь трудно было, что плакал я и думал порешить с собой, — малолетнего на завод не брали, денег не было... Все тебя гонят, спать негде... Скоро пристрял я к мяснику — вонючую требуху возил, целыми днями копался в вонючих кишках, в падали. А кормил, сука, жиденьким супом. Хуже, чем дома.

От мясника Сенька сбежал. Заводские комсомольцы нашли ему работу в прокатном цехе оттаскивать от пилы обрезки раскаленного железа. Ребята привели его на комсомольское собрание, долго обхаживали его, пока он не вступил в комсомол, а потом забыли. Они решили: теперь он сам собой воспитается. А Сенька не доволен. Ему кажется, что в цехе опасно и тяжело работать. Тело обдает то нестерпимый жар, то шиплет колючий холодок. В длинном дымном сарае грохочут машины, бешено вертятся огромные маховики, а из станков бегут раскаленные полосы железа, извиваются, скручиваются, как змеи, — вот-вот ужалят... Зазевался вальцовщик Петерсон, из стана выскочил кусок раскаленного рельса и с шипением проткнул тело. Болванка спалила ступню его товарищу Соколову. Однажды сорвался вал, едва не прибив Сеньку.

— Давай сейчас же расчет! — сказал Сенька мастеру. — Не хочу, чтобы меня здесь прибило.

Нужда заставила Сеньку наняться в шахты. Был он дверовым, коногоном и плитовым. Шахта запомнилась ему жутким черным подземельем, угнетал газ, о котором ходили страшные рассказы, давили темнота и тишина в забое.

Однажды артель шахтеров — а в ней и Солдатенко — спустилась в шахту. В забой пришел техник, пробежался по ходу и, ткнув рукой в темноту, приказал:

— Эй, вы! Вон там ставьте ролик, за углом блок, а здесь упоры.

Он постоял несколько минут и ушел. Вдогонку ему скреперщики выругались заковыристо, надсадно, — не знали они точного расположения роликов и прибили упоры на-глазок.

В результате вышло: столбы стоят криво, ролики — не на одной линии, проход — узок. Когда пополз груженный скреппер, он углом зацепил столбики, сбил три упора, сорвал настил. В шахте пронесся гул и грохот. Рухнула кровля, глыбами вывалился камень. Под грохот обвала, в облаках пыли, затыкающей нос и гортань, в сплошных потемках шахтеры отскочили в углы и с широко открытыми от ужаса глазами прижались к стенкам. Над головой угрожающе затрещал потолок.

Услышав гул, подбежали соседние рабочие. Через десять минут, когда осела облака черной пыли, из глубины закала донесся крик:

— Эй, эге-ге-гей!.. Ковыряй!

— Вы живы? Мы сейчас...

Шахтеры радостно загалдели. Прибыла спасательная команда.

На карачках из обвала вылезли бледные, потрясенные люди. Закуривают, успокаиваются и через час лезут очищать забой, тащат побитую машину, скрепляют цепи и кабель. Потом забивают новую крепь, исправляют пути, начинают снова выдавать уголь. Не впервой пугает шахтеров подземный чорт!

Солдатенко едва выполз из обвала, привалился к стене безжизненным мешком, утирая крупный пот на бескровном белом лице. Наконец он встал, взял лампочку и, покачиваясь, побрел к выходу. Его окликнули:

— Ты куда?

— Не хочу быть под землей: опасно.

Этот трус, ради личной выгоды переменявший десятки мест, продолжает вредить производству.

Два месяца гонял Сенька вагонетки с углем, а потом вдруг озлился: 42 рубля в месяц и ни копейки прибавки. Не хочу задаром работать. И сам взял расчет.

Через месяц Сенька уже в механическом цехе. Здесь платят 44 рубля, нет пыли и работа веселей: он в окошечко инструменты выдает. Много света, солнышко играет на стеклышках, путается в спицах быстроходных станков. Хорошо! К окошечку подходят рабочие: то седоватые, в морщинах, то молодые, юркие, брызжущие смехом. Сигизмундов, картежник, и Поляков, изумительный пожиратель спирта, подружились с

Сенькой. Они свели его в свою казарму,—и далеко вниз скатился Солдатенко! Новые друзья обучили его картежной игре, научили молодецки глотать жгучую водку. Тасуются, режутся ребята в карты, а потом—гулять. Пьют, пьют, а потом — танцовать. Веселятся, бушуют, высыпаются, а потом—все снова... В забавах недели летели, как сон. Скоро весь цех читал приказ: Солдатенко прогулял четыре дня, уволить его как злостного прогульщика!

Ходит Сенька, тыкаясь в двери заводов, скуля, как озябший, голодный щенок. Он уже полтора месяца без работы, выгнан из казармы. Распродано все, вплоть до гребенки с поломанными зубьями. Одичавший, с копной давно нестриженных волос, отталкивающий от себя густым псиним запахом, пропитавшим его лохмотья, Сенька мучается и в десятый раз спрашивает себя:—Как мне быть? Где найти заработок?

Отчаявшись найти работу в заводе, Солдатенко вышел на станцию и зацепился за ручку вагона первого попавшегося поезда.

В Харьков Сенька прибыл благополучно, если не считать маленькую неприятность: арест и прыжок под откос из бешено мчавшегося поезда.

Большой город давил и угнетал оборвыша: от ворот заводов его гнали, протянутая рука оставалась пустой... Бегут, бегут спины, вихляются, путаются тысячи ног. Глянут прохожие на руку, в измазанное копотью лицо и засмеются: здоровый дурак, а лентяй! Работать надо!

А Сенька страдает, в животе сосет... Он решил на первую кражу.

На конском базаре, когда две жирных торговки схватились в очередной драке, Солдатенко пододвинулся к корзине и схватил булку. Теперь он уже знает радость легкой наживы. Его много раз били мясники, по его телу топтались кованые сапоги спекулянтов... В один из шумных базарных дней он стащил селянский серяк (армяк), «сплавил» его и уединился с покупками в дальний угол базара. Колбасу он настругал тоненькими колечками, смешал ее с помидорами, искрошил огромную селедку. Глотнул Сенька водки и крикнул: славно, чорт возьми!

Сенька обманывал себя! Не от велья и великой радости пил он. Слово «летун» в нашей стране стало позорным, как «вор». Никто уже не восхищается бесконечными «перелетами», а, наоборот, презирает таких бродяг. Все видят, как эти несчастные, забитые по внешнему виду люди принесли колоссальный вред производству. Вот и Сеньку обходят кадровые рабочие, открыто, в глаза говорят ему, что он — чужой среди рабочих. Уже не раз имя его выставляли на черную доску, не раз гнали от ворот завода. Даже знакомые ребята, бывшие летуны, а теперь работающие на заводе, отворачиваются от него, не хотят с ним говорить.

— Позор летунам!

Мимо прошел коренастый, широкозатый, с выгнутыми ногами паренек, бросил на Солдатенко откровенно голодный, умоляющий взгляд:

— Братишка, помоги куском.

Сенька весел. Он добродушен и щедр:

— Чего там куском, садись и шамай. Глотни горькой... Так, так...

II

Новый приятель Васька Медвежонок—молчаливый, вечно печальный парень. Васька упорно считает себя несчастливцем и все время ищет и ищет лучшей жизни. За два года скитаний он ухитрился обехать Урал и Закавказье. Васька бросался на десятки занятий, с жаром работал на новом месте несколько недель, а потом вдруг мрачнел, сдвигал к переносице густые брови и вдруг исчезал. Васька служил в Допре надзирателем, учился играть на скрипке, был ассенизатором, шахтером и землекопом. Медвежонок беспрестанно мучил странные идеи. Вдруг он подумает — надо отыскать самый красивый вокзал. Или решит — найти самую высокую трубу. Тогда он садится в угол и, окутавшись облаком табачного дыма, думает, думает и думает... Медвежонок уговорил Сеньку искать самый высокий, самый красивый дом. И друзья начали бесконечное путешествие. Ехали они в собачьих ящиках, скорчившись в них, ехали на осях, на буферах. Вместе кланчили копейки у прохожих, страдальчески кривя молодые за-

мазаные лица, а при нужде глотали об'едки из столовых.

Не забыть Сеньке одной жуткой ночи. Приятели ехали в Киев, прильнув телами к крыше вагона быстро несущегося поезда. Вдруг с площадки вагона высунулся конец винтовки. Стрелок крикнул на ребят:

— Спрыгивай, шпана... Стрелять буду!

— Ползи за мной, — шепнул Васька. — Не дрейфь, уйдем.

Васька разбежался, рывком скакнул вперед, на секунду повиснув в пустоте между вагонами. В этот миг дернул паровоз, и правая нога его, не оперевшись на крышу, провалилась в пустоту. Тело стукнулось о стенки, ударилось о буфера, свалилось под колеса поезда...

Сенька дрожал весь день. Тут же дал себе клятву бросить бродяжничество, никогда не заниматься «путешествиями». Он твердо решил стать рабочим.

И вот Сенька в рельсопрокатке Сталинского гиганта, — помахивает метлой, сгоняя сор с плит цеха, радуется на дружную работу. Ударные бригады цеха перевыполняют месячный план. И машины совсем не страшные, только не зевай. Первую полочку Сенька положил на дно сундука, завернул сверток в засаленную тряпку.

... В казарме спали, некоторые члестели газетой, за окном однообразно журчала вода из жолоба.

— Эй, ребята, — предложил Солдатенко, — давай разгонять скуку, играем в карты... Только, чур, без денег.

— Вот это дело, — откликнулись с других коек.

Раскинули колоду. Карты ложились вяло, невпопад. Баров выгасил из кармана двугривенный и удивился:

— Глянь, а у меня монетка завалась.

— О, чорт, а у меня два пятака осталось.

— Ну, что ж? Проиграем и — точка. Я хожу по копейке, — согласился Сенька.

Картежная игра — опасное увлечение. К полуночи у ребят ставка дошла до нескольких рублей. Открыты сундуки, вывернуты все котомки и карманы. Након! Ва-банк! Двое суток тянулась картежная потасовка, а когда разошлись ре-

бята, посеревшие и с припухшими веками, Солдатенко положил в карман 465 рублей.

Картежники спят.

— Поздравляем, поздравляем, — улышал Сенька сквозь сон.

Он открыл глаза. Был вечер. Углы уже заполнила темнота. Вокруг кровати толпились ребята, кричали наперебой:

— Счастливый ты.

— Ловкач!

— Могарыч с тебя!

— Вставай, вставай.

Сенька усмехнулся, небрежно процедив сквозь зубы:

— Какой могарыч, чай, не девка со сватана. Я сейчас домой еду.

— Домой?

— Уедет?

— А, жадун. Скупой!

— Проститутка ты!

— Бей его, отымай деньги.

— Шулер ты!

— И н д и в и д у й!

— Кто, я — индивидуй? Это я-то? — вспылл Сенька и подскочил с кровати, сердито шлепнув кепку об пол. — Приглашаю всех гулять.

Городок был поражен небывалым разгулом. По улицам проскакали фаэтоны с пьяной, дикой, визгливой ордой. К гуляющим прикомандировано несколько уличных девиц. Гомонящая толпа залетела в ресторанчик, прикрылась ставнями, и несколько дней на улице доносились многоголосые выкрики, грузный топот сапог и звон разбитого стекла. Ребята затаили прыжки через костер, едва не спалив ветхий балаганчик.

Вся компания отрезвилась в милиции. Едва Солдатенко ступил потом на пороге проходной, — двери ему загородил иривратник:

— Ворочай, браток. Судить тебя будут за прогулы.

Осмотрелся Сенька, грустно поник головой: карманы пустые, в голове — шум, впереди — голодовка. Неужели опять бродяжничать! опять итти воровать? Стой, а комсомол, а ребята цеховые, а райкомовцы?

Пришел Солдатенко в райком комсомольский, подошел к столу. Над столом стриженная голова.

— Тебе что надо?

— Товарищ секретарь, — сказал Солдатенко, — я спрашиваю тебя как вождя молодежи, как мне найти свое место в жизни? Где оно? Я упал в глубокую яму... Понимаешь, я погибаю... Кто мне подаст руку помощи?

— Короче, короче, — стриженный нетерпеливо передернул плечами, — я бегу в окружном, мне некогда. Вот что: через неделю будут доклады о пятилетке, там ты все услышишь.

— А работать-то где? И потом я ведь исключенный из комсомола. Случилось это вот как...

— Так чего ж ты ко мне прешь? Тебе надо в профсоюз. Туда и катись.

И снова Солдатенко в погоне за неизвестным: холодные полустанки, свирепые кондуктора и колючая стужа обширных полей республики. На одной из станций Солдатенко подружился со Степкой — большим фантазером, искаателем приключений и хвастуном. Этот сбил его поехать... в Америку.

Путешественники избрали кратчайший путь — через Владивосток. Сенька поехал потому, что надеялся найти наконец легкую жизнь. 34 дня друзья висли на подножках поездов, усиленно стремясь вперед, а на берегу океана испугались. Ветер гнал огромные зеленые волны, свирепо хлестая ими о берег. На привязи якорей огромные пароходы прыгали по волнам, как щепки. Страшно! Неделю побродил Сенька по Владивостоку и вместе с другом уехал обратно. Оттуда приехал в Донбасс. Всего проехали 30 тыс. километров, не имея ни копейки в кармане.

Солдатенко кончил рассказывать, уселся на койку и снова опустил голову. Как много впустую истрачено молодой энергии и силы!

— Вот гад! Здорово! Девять раз на наш завод поступал, — сказал Баров с видимым восхищением.

Сейчас Солдатенко — сторож строительного цеха, зарабатывает в месяц 60 рублей, имеет койку, товарищей... но...

— Все это не то, совсем не то, — говорит он. — Ищу, ищу я, а все чего-то нехватает. — И скитаться надоело. Чудно! Обездил много городов, но любимой работы еще не нашел. И сейчас собираюсь в дорогу.

Оя кивнул на узел, в котором были увязаны чашка с ложкой, жестяной чай-

ник, пара ботинок, голубая рубаха и разлохмаченная книга Есенина. Завтра, послезавтра, он молодецки вскинет узелок на плечи и пойдет, пойдет... Куда и зачем?..

Реки людские текут в Донбасс. В июле на шахты прибыло 18.400 рабочих, а убыло 41.200. Поступило 22.683, а уехало 32.191. Летуны прорвали стройные колонки цифр планов добычи угля, как вал наводнения размывает дырявую плотину.

Тов. Молотов так объяснил эти громадные колебания рабочей силы:

«Причина уменьшения безработицы в СССР и фактическое ее уничтожение заключается в том, что партия добилась огромного роста промышленности. Наряду с этим партия провела колоссальную работу по социалистической переделке деревни. Партия достигла огромных успехов в деле сплошной коллективизации, экономический уровень деревни в результате работы партии начал заметно повышаться, это вызвало структурное изменение в нашей экономике. Нехватка и отлив рабочей силы есть одно из проявлений этих изменений в нашей экономике.

Этому отливу содействовал тот факт, что урожай этого года выше, чем урожай прошлых лет, что еще в большей мере задерживает рабочую силу в деревне. Разумеется, столь огромное уменьшение безработицы — чрезвычайно положительный факт. Но оно же в виду недостатков в хозяйственной работе отразилось отрицательно на работе Донбасса».

Кстати нужно отметить, что текучесть начинает перекидываться и на другие отрасли промышленности. Если в прошлые годы металлургические заводы имели незначительный процент текучести, то в этом году процент рабочих, уходящих с заводов по своему желанию, увеличился. При 8 тысячах рабочих харьковского завода «Серп и молот» за третий квартал отсюда ушло по своему желанию 2.675 человек. Конечно большинство из «текучих людей» оседает на производстве, становится кадровиками, и только часть из них продолжает летать, срывая производственные планы. О таких закоренелых летунах, о людях, скатившихся к нищенству, и идет рассказ в нашем очерке.

3. ИНГУШЕТИЯ

Очерки

Хаджи-Мурат Мугуев

Ингушская автономная область образовалась в августе 1924 года путем выделения ее из бывшей Горской республики. Соседями ингушей являются: с запада — Североосетинская автономная область, с севера — Кабардино-Балкарская автономная область, с востока — Чечня и с юга — Грузия. Площадь, занимаемая Ингушетией, — 3.192 квадрат. км. с населением приблизительно в 75.000 человек.

I

Ранним утром в августе 1930 г. я и старый партизан, красногвардеец, ингуш Бэрд Е—в, ныне директор кирпичных заводов области, оставили Владикавказ. Молочная, сырая мгла висела над дорогой, и ее белесоватые клочья ползли по камням. Солнце кривым оком оглядывало долину. Высокий, усеченный скалистый хребет тянулся в стороне от дороги. По его серо-синей обрывистой вершине ползли клочки запоздавших облаков.

— Мат-Лам, — кивая головой на хребет, сказал Бэрд. — Столовая гора по-русски, это не гора, это наш нярт спит.

Он строго и серьезно помолчал и неожиданно добавил:

— Старики сказки говорят, будто это последний ингушский нярт (богатырь) Колой-Кянт спит. Давно уснул — тысячу лет назад будет...

Дорога вплотную подошла к отрогам Мат-Лама, по которым, прячась в листве, шепетали утренние птицы.

По обеим сторонам пути довольно часто попадались придорожные памятники из камней, увитые зеленью.

— Памятники... Это кто помер, ему родные ставят... чтобы не забыли... — пояснил Бэрд.

Холодные, ледяные ручьи, шумя и брызгая пеной, сбегали с утесов Столовой горы. По ее иссеченным ветрами отрогам сверкали и низвергались водопады. Внизу, у дороги, смиренно растекаясь в прозрачные озера, сбегала си-

няя вода. Голубое небо висело над горами.

Внезапно дорога нырнула вниз... Холодом, сыростью и темнотой подвала потянуло издала. Черная пасть тоннеля смотрела на меня.

Конь, насторожив уши, тянулся вперед, и через одну-другую минуту мы так же неожиданно вынырнули из темноты. Свет, солнце, деревья и пенье лесных птиц окружили нас...

Начался подъем, за которым после нескольких поворотов и зигзагов дороги показался горный аул — Фуртоуг. Вдали за аулом, над темной грядой скалистых гор, величественно белела двуглавая вершина Казбека. Над самым Фуртоугом висела Столовая гора, за изломанным хребтом которой двумя гигантскими насупленными фигурами стояли Чог и Адай-Хох... за ними в зеленой, благословенной низине раскинулась прекрасная Солнечная долина, окаймленная веселыми лесистыми горами. Глядя на залитую солнцем, зеленью и ароматом долину, я вспомнил Джека Лондона и его «Лунную долину», которую так любовно и поэтически описал он в своих рассказах. Не знаю, насколько хороша калифорнийская долина, так вдохновившая знаменитого американца, но Солнечная долина Ингушетии оправдывала свое поэтическое и яркое название.

Впереди перед аулом высились три жилых башни, обнесенные полуобвалившейся от времени крепостной стеной. Высокая воинская башня с осевшим верхом и покосившимися окнами — бойницами — угрюмо смотрела на нас, как бы вспоминая прошлые, полные крови и доблести дни. Боевая, пропитанная кровью и порохом пыль угрюмо чернела на ее позеленевших камнях. Низкорослые, злые собаки прыгали перед мордами наших коней и, будоража аул, заливались на тысячи собачьих голов.

У одной из сакель Бэрд остановил коня. Мальчуган в изорванной рубашке, отогнав собак, принял коней.

Седой ингуш пригласил нас к себе.

II.

Сакля представляла собой довольно тесное и низкое помещение с небольшой каменной пристройкой, заменявшей кладовую. Весь дом состоял из двух комнат с передней, где дымился очаг и где, опустив глаза долу, безмолвно, кивая нам головами, стояли две ингушки, жена и дочь нашего хозяина, гостеприимного Сафара А. На полу и у двери передней стояла медная посуда, тазы, кумганы и кадка с квашней. Кунацкая, или же гостиная, была довольно большой и темной комнатой, в которой красовался пузатый русский комод с зеркалом и лампой. На полу расстилался потертый палас, на широкой тахте горой высилась груда сложенных одеял и подушек. Широкий, гигантских размеров кинжал висел на стене, на которой в полном беспорядке были развешаны фотографические снимки попеременно с вырезанными из журналов цветными иллюстрациями. Пол и стены сакли были тщательно обмазаны и частично побелены, а двор, обнесенный плетнем, чисто подметен.

Обменявшись приветствиями, мы несколько секунд по этикету помолчали и только затем медленно, неспеша и внимательно стали расспрашивать друг друга о жизни, здоровье и проч. Старик приветливо отвечал, успевая в то же время что-то вполголоса приказывать суетившимся за дверью женщинам. Сакля понемногу наполнялась людьми. Мы молча кланялись в ответ на все церемонии входивших в саклю ингушей. Так продолжалось с полчаса. Когда уже вся сакля была переполнена и, видимо, все мужское население Фуртоуга сидело рядом с нами, завязался разговор, быстро перешедший в беседу. Говорили степенно, с достоинством, задавая и отвечая на вопросы. Бэрд руководил доморощенной аудиторией, ловко отвечая на вопросы и умело находя соответствующий тон беседы.

— Говорят, что и к нам из города пришлют тракторы? Ты не слышал этого, Бэрд? — спросил один из ингушей.

— А было бы не плохо... У нас есть такая земля, что ее и двумя парами быков не поднимешь. Давно она по трактору тоскует, — добавил другой.

— В Пседах и Галашках больше штук, а о нас забыли, — вздохнул сидевший около меня ингуш.

— Пришлют. Нельзя сразу, нехватает, — знающим голосом объяснил Бэрд.

— Знаем... Мы и ждем, а пока вот из аула трех юношей на тракторные курсы в город послали. Вот и у Сафара сын поехал...

Наш хозяин скромно улыбнулся, развел руками и негромко сказал:

— Что же... надо... как все, так и мы... Пускай учится — пригодится.

Потом говорили об урожае, об озимой пшенице, о ее замечательном росте и наливе, какого вот уже 30 лет не знали старики на Кавказе.

— А погляди на кукурузу... Прямо бог знает что с нею делается. Сколько лет живу, а такого крупного початка не видал, — удивленно покачивая головой, сказал Сафар.

— И-а-а Валлах — правда, — задумчиво подтвердили остальные. — Кукуруза замечательная.

— И везде так. И на плоскости, и в горах, и в Осетии... Везде одно говорят люди. Большой урожай, — кивая головой, сказал Бэрд.

— Около Хамхи один чеченец проезжал, рассказывал, — нерешительно заговорил один из слушателей, — будто шейх Ичкерский во сне видел, что еще 13 лет под ряд урожай будет, а потом голод пойдет... Не знаю, правда или нет, — неопределенно закончил рассказчик, неуверенно поглядывая на нас.

Все помолчали, нерешительно посмотрев друг на друга, и только Бэрд пренебрежительно сказал:

— Ерунда... Это все кулаки да старухи сочиняют. Работать надо, сеять побольше.

— А посеяли много.

— Много. Больше, чем раньше. И в садах урожай, слив и яблок полно, а в Ангуштах такие абрикосы, как кулак.

— Слава аллаху, будет урожай — легче людям станет, — тихо сказал Сафар. Вечерело.

Тусклым огнем загорелась пузатая лампа, и присутствующие один за другим стали расходиться по домам. Они дружелюбно совали мне свои негибающиеся ладони и, мотнув головой, прощались с хозяином.

— Такой обычай, — пояснил Бэрд. — Теперь хозяин остается сам со своими гостями, и чужие только помешают ему.

Из передней тянулся вкусный запах жареного мяса. Бэрд несколько раз облизнулся и, глядя вслед вышедшему к женщинам Сафару, сказал:

— Интеллигентный старик... Очень хорошо умеет угощать.

Молодая ингушка осторожно и ловко накрыла стол чистой цветной скатертью и расставила тарелки с нарезанным ломтями пшеничным хлебом. Старуха внесла сыр, масло, яичницу, поджаренный на масле творог и мелко нарубленную курицу. Хозяин привстал, и, подняв руку над столом, пробормотал в бороду несколько арабских слов, на которые Бэрд скороговоркой ответил: «Оммен... Омэн...», после чего мы приступили к ужину.

Черная ночь, темная громада гор и звездное небо смотрели в окно, и свежий ветерок играл занавеской открытого окна. Ели молча, и только старик Сафар вежливо придвигал к нам отобранные им самим лучшие куски еды. У двери, не сводя с нас глаз, стоял мальчуган лет 15, на обязанности которого было помочь нам умыться после обеда. Через плечо юноши висело полотенце, а в правой руке блестел кусок туалетного мыла.

Из передней через открытую дверь заглядывали безмолвные женщины, по окрику хозяина то внося, то убирая еду. Несмотря на то, что на жене ингуша лежит решительно вся домашняя и полевая работа, она, повидимому, все же не очень пользуется уважением со стороны мужчин.

По словам Бэрда, среди ингушей еще и доньне встречаются многоженцы, хотя обычай этот мероприятиями советской власти энергично искореняется в горах.

Сафар, несмотря на свои морщины и седую бороду, был человеком несомненно передовым, и многие его суждения о просвещении, о женском вопросе, о налогах и productivity затруднениях отличались искренностью и симпатией к мероприятиям советской власти, решительно перепахивающим и взрывающим горскую косность и темноту.

— Вот ты соглашаешься с нами, а смотри, жена и дочь у самого в кунацкую без твоего зова не входят. Сестры при нас не смеют, молчат и не разговаривают, платка с головы не снимают. Разве это хорошо? — заволовался Бэрд. — Если у тебя, советского человека, так, то как же у других, у темных?

Сафар нагнул голову, немного помолчал и приглушенным, словно извиняющимся голосом проговорил:

— Смотри, Бэрд, вот на старости лет и буквари ингушские купил, и грамоту выучил, и газету «Сердало» (Свет) покупаю — понимаю, что советская власть хорошие вещи для нас хочет, а вот этого не могу... Перед людьми стыдно... Скажут, сам баба, — женщинам дал волю... Вот умру я, тогда пускай молодежь живет по-новому... Я и сейчас ей не мешаю, а сам... не могу... — он конфузливо улыбнулся и замолк.

Рано утром, когда по утесам Скалистого хребта еще сонно ползали сырые облака, мы с Бэрдом под шум и рев бесновавшейся в долине Армхи пошли осмотреть знаменитые склепы и могильники, о которых так много говорили еще во Владикавказе.

Осмотренные мною могильники были очень похожи на ряд таких же древних кладбищ, густо разбросанных по Осетии... Видя, что я не очень увлекся разглядыванием могил, Бэрд предложил мне пойти и посмотреть на могилу, где с древних времен лежат останки каких-то мифических ингушских богатырей. Могила эта была завалена огромной плитой, которую мы решили приподнять. Камень чуть-чуть поколебался и стал сползать с места. Вдруг сзади что-то загрохотало, и на нас набежало до десятка разных возрастов ингушей, что отчаянно вопивших. Брызжа слюной, они что-то кричали, попеременно тыча пальцем то в Бэрда, то в могилу, то в небо, в то же время не забывая прибавлять к ингушской речи несколько весьма знаменательных русских слов.

Впервые Бэрд казался сконфуженным... Он сплюнул и в сердцах раздосадованно сказал:

— Дураки!.. — и в свою очередь pokrыл толпу водопадом отборной рутани на русском диалекте.

— Что случилось?—настойчиво спросил я.

— Не велят тревожить кости. Вам, говорят, все равно, вы уедете в город, а на нас святые дождь нашьют... Э-эх... дураки... — закончил Бэрд.

Через час, тепло попрощавшись с Сафаром, мы выехали дальше из Фуртуга...

III

Мы сидели у небольшого костра, на котором неугомонный Бэрд пытался наскоро согреть чай. Кони наши, привязанные за длинные чумбуры к кустам, паслись на сочной, зеленой траве. По покато́й, словно беременной, горе волнующимся стадом ползали отары овец. Несколько злых и беспокойных овчарок, обегая фланги отрывавшихся от стада овец, лая и набрасываясь на непокорную баранту, отгоняли ее обратно. Два пастушонка лениво покрикивали на собак. Подслеповатый пастух, весь в лохмотьях и морщинах, сидел возле огня, с удовольствием куря подаренную ему мною папиросу. Старик, как видно, был рад неожиданным гостям, внесшим какое-то разнообразие в его монотонную пастушескую жизнь.

Котелок закипал. Бэрд завозился над ним. Пастух что-то крикнул одному из мальчуганов, и тот, вылезая из тени и покопавшись в кустах, приволок к нам четверть круга овечьего сыра и плоскую кукурузную лепешку.

Старик виновато развел руками — дескать, мол, все — и ласково сказал мне:

— Кусай...

— Ешь, а то обидится папаша, — предупредил Бэрд, с трудом о колено разламывая лепешку.

— Кусай... Сискыль... — еще раз, улыбаясь, предложил старик и стал осторожно нарезать сыр.

— Как он может его есть... Как его беззубые десны управляют с твердой, как кирпич, лепешкой...—думал я, с трудом кроша зубами холодный кукурузный хлеб.

Бэрд, словно угадав мои мысли, сказал:

— Видал, как у нас питается народ... по месяцам некоторые пшеничный хлеб не видят. Этот сискыль, когда горячий,—

«Новый мир», № 5



Горная Ингушетия. Развалины старинного укрепления и сторожевая башня в с. Могуч-Кала. В правом углу видна крыша современного жилья потомков быв. владельцев укрепления

еще ничего, кушать можно, а остынет... беда.

Пастушата почтительно стояли позади, глядя, как мы втроем ели извлеченную из сум курицу.

— Не зови, не сядут,—остановил меня Бэрд, видя мои безуспешные попытки пригласить к нашему «столу» пастушат.

— Им нельзя... старик их дед, да и мы с тобой старшие. Есть около нас не полагается, а вот туда дать можно,— и он передал почтительно подошедшему и, видимо, отнекивавшемуся мальчугану хлеб, яйца и куски курицы.

— Адат надо соблюдать, — довольным голосом сказал старик. — Без адатов наш народ пропадет.

— А если адат плохой, — окрылся Бэрд.

Старик поглядел на него и снисходительным голосом сказал:

— Нет плохой адат; есть плохие люди, а адат и шарият от бога.

— Э-э, от бога... — недовольно протянул Бэрд, — а вошь тоже от бога?

В эту минуту, как в хорошем кинематографе, кусты раздвинулись и показался вооруженный с головы до ног ингуш, тянувший за собою в поводу коня. Мои очки и мой городской костюм, видимо, неприятно поразили его. Он подозрительно оглядел меня и, обращаясь к пастуху, коротко спросил:

— Что за люди?

Через плечо незнакомца был перекинут короткий на длинном ремне трехлинейный карабин. Маленький кинжал, большой наган и шедшие крест-накрест патронгаши с боевыми патронами довершали его наряд.

— Проезжие. А ты кто? — не давая ответить пастуху, сказал Бэрд, и я увидел, что его рука уже лежала на рукоятке его браунинга.

— Вступление в духе Майн-Рида для дальнейшего знакомства уже есть, — подумал я, продолжая разглядывать нового гостя.

— Я секретарь совета, — продолжая коситься на меня, сказал ингуш.

— Ну, тогда садись, закуси, — пригласил его Бэрд.

Несколько секунд мы молчали, не обращая друг на друга никакого внимания, вдруг вновь прибывший отставил огрызок сыра на траву и, угрюмо уставившись на меня, спросил:

— Твой когда был Мецхали?

— Не был. Только собираюсь.

— Не был? — недоверчиво переспросил он. — А Бейни? А Фалхане? — приближая насупленное, настороженное лицо ко мне, сказал он.

— Также не был... А в чем дело? — в свою очередь поинтересовался я.

— Твоя грузин? — не отвечая мне, быстро спросил он.

— Нет, осегин.

— Ей бог?.. — уже мягче сказал мой неожиданный следователь.

Бэрд, видимо, обиженный всей этой странной процедурой допроса, что-то зло и быстро заговорил по-ингушски, то и дело тыча в меня и в себя указательным пальцем. Пастух вмешался в разговор и тоже что-то с укоризной сказал недоверчивому «секретарю». Вдруг последний добродушно рассмеялся и, похлопав меня по плечу, дружественно сказал:

— Не сырчай... Ошибка вишел.

Через минуту Бэрд объяснил мне забавную и вместе с тем обыкновенную историю, в которую так неожиданно затесался я.

Два дня назад в указанные выше аулы из Хевсуретии, а может быть, и из Владикавказа прибыли двое грузин, закупавших якобы для тифлиссских кооперативов масло и сыр. Взяв в этих аулах несколько десятков кгр. масла, они, наобещав жителям мануфактуру и будто бы идущий за ними сахар, скрылись, и вот один-то из этих молодцов был в черных очках и весьма смахивал костюмом на меня. Доказав свою непричастность к масляным ворам, я только было разговорился с новым приятелем, как из глубины ущелья, полузадернутого облаками, сквозь чашу кустарника и рев бегущих ручьев сначала тихо, затем все ближе и сильнее стало доноситься то заунывное, то быстрое, с прищелкиванием пенья.

— Что это?

Мои спутники подняли головы и прислушались. Собаки недовольно зарычали и стали пробираться сквозь чашу к дороге.

Пастух опустил голову, поправил головешку в костре и сказал:

— Милиция из округа.

— Бандитов едет ловить, — поясняя, еще добавил секретарь.

Цоканье копыт и характерное звяканье стремян раздалось за кустами, смешиваясь с собачьим лаем и затихавшими звуками прерванной песни. Из-за кустов на дорогу вывернулось несколько конных фигур, по-приятельски, словно старым друзьям, заулыбавшихся нам.

— Ассалам - алейкум.

— Алейкум-селям, — ответили мы.

Через минуту из-за кустов, медленно погасая, снова донеслось однообразное пенья.

— Эти много поймают, — неodobорительно кивнул в сторону отъехавших Бэрд. — Бандиты за 10 верст их слышат.

— Да, для вида ездят, — согласился секретарь.

— А есть бандиты в горах? — спросил я.

— Есть. Кулаки да абреки спасаются. Сейчас мало, а вот весной, когда

раскулачивали, много было. Я сам на ликвидацию ездил... и перестрелки были.

— Нехорошо это, — вдруг заговорил молчаливый пастух, когда секретарь перевел ему суть разговора. — Нехорошо это, ингуш против ингуша дерется.

— А если он бандит, целоваться с ним? — разозлился Бэрд.

— Лучше целоваться, чем убивать. Ты его убьешь, а его брат — тебя, а твой брат — его, глядишь, две фамилии кровниками станут... Вот вы сейчас смеялись, что милиция плохо абреков ловит, а кому нужно кровников себе заводить.

Бэрд пренебрежительно махнул рукой.

— Что ты понимаешь, старик, — всякий бандит да кулак для меня враг. Пусть не только ингуш, а хоть мой брат будет, — он встал и, выплескивая остатки чая на траву, закончил по-русски. — Ешак, старик, от таких больше вреда, чем от бандитов, — и, подтянув подпруги коням, добавил: — Едем, пора.

Старик махнул нам вдогонку войлочной шляпой, собаки, урча, бросились было вслед, а оба пастушонка, внезапно обретя дар речи, крикнули из кустов:

— Давай денга!

На что Бэрд выразительно погрозил им нагайкой.

Секретарь, поехавший с нами до аула Харпе, оглянувшись и, посмеиваясь, сказал:

— А ведь старик-то этот — бывший мулла... Еще в 1910 году русские в тюрьме в Грозном его за конокрадство держали.

Внизу, за зигзагами дороги, чернели боевые башни приближающегося аула.

IV

Один из наиболее культурных и образованных ингушей, молодой ученый и лингвист тов. Заурбек М. сказал мне:

— Вы хотите видеть будущее Ингушетии? Наше будущее — это пятилетка, и если вам надо узнать будни сегодняшней стройки и трудовую дисциплину ингушского народа — поезжайте в Алхан-Чурт. Там вы это найдете.

Через день, сойдя с поезда в Назрани, я трясся в невзрачной тачанке, направляясь в «курорт» Ачалуки.

Круглое сияющее солнце немилосердно обжигало землю палящими, отвесными лучами. Высокая, в пояс человека, кукуруза и уже созревшая пшеница сплошным желтеющим морем растекались по сторонам дороги. Застывший в истоме воздух был вял и тягуч, как пержеванная резина. Клубы пыли, взлетавшие из-под колес тачанки, и рой назойливых мух носились над нами.

Из-за холма глянула сакля, за ней другая, и ряд низеньких домов-мазанок, покрытых то плоскими, то двускатными крышами, показался перед нами.

Это были Ачалуки. На фоне разбросанных хибарок ярко выделялась оригинальной стройки мечеть с пестро и причудливо расписанными стенами. Поодаль от нее так же резко и значительно поднималась новая советская школа, в которой обучалась ингушской грамоте аульская детвора.

Ачалуки — это три довольно значительных аула, расположенные в непосредственной близости друг от друга, — находятся в безводной и засухливой Алхан-Чуртской долине, с севера и с юга замкнутой горными хребтами.

Уже давно было известно о том, что в районе между Средними и Нижними Ачалуками имелись серные лечебные источники. Долгое время известность об этих источниках не выходила за пределы Ингушетии, и только в 1926 году здравотделом области было решено обратиться серьезное внимание на них и превратить Ачалуки в курорт местного значения.

Был приглашен ряд специалистов, отпущены для изучения и эксплуатации источников соответствующие средства, и в результате исследований и детальной проработки вод и целебной грязи местные специалисты нашли, что «в Ачалуках на небольшом клочке земли представлены воды Киссингена, Висбадена, Виши». Счастливого и редко встречающегося разнообразие минеральных вод и грязей поставило Ачалуки в особенно выгодные условия.

Уже у самой околицы аула в воздухе сильно запахло острым и неприятным запахом сероводорода, густо разлившимся над домами.

Около центрального источника вырыт ряд ям, наполненных серной водой.

В них лежат и сидят «курсовые», обитающие тут же поблизости в легких тростниковых и матерчатых шалашах. Среди «курсовых» встречается немало и горожан, приехавших лечиться даже из Баку. Все эти «болящие» купаются и пьют ачалуцкую воду и натираются лечебной грязью, в изобилии имеющейся здесь.

От Владикавказа к Грозному и вплоть до Минеральных Вод, всюду в лавчках, ресторанах и станционных буфетах продается минеральная вода «Ачалуки», очень приятная на вкус и успешно конкурирующая с нарзаном.

Сейчас Ачалуки значительны не только как курортно-лечебное место. Вот уже третий год в Алхан-Чуртской засушливой долине идут огромные работы по прорытию оросительного канала, который, подавая воду из Терека, в недалеком будущем (в 1932 году) оживит безводные земли плоскостной Ингушетии и увеличит посевную площадь области. Уже сейчас частично прорытый канал проходит в четырех километрах от Нижних Ачалуков по глубокому двухкилометровому тоннелю и, выходя на простор ниже аула, разветвляется на два самостоятельных оросительных рукава. Ныне вся населенная долина, а тем более жители Ачалуков живут и трудятся для канала. На участке строительства этого района работает не мало ингушей, едва ли не впервые взявшихся за кирки, лопаты и более сложные орудия труда. На строящейся в Н. Ачалуках гидростанции работают в качестве учеников электромонтажной семеро молодых ингушей. Семеро... Для отсталой и еще недавно не знавшей ни грамоты, ни элементарной культуры Ингушетии, в которой технически образованных людей можно сосчитать по пальцам, — это не так уже мало. История с изысканиями Алхан-Чуртской долины не нова, желание оросить эту безводную равнину мы находим еще в архивах времен 60-х годов, когда царская власть, думая колонизировать этот участок Ингушетии, намеревалась расселить по долинам восемь казачьих станиц. После того, как по Сунженской линии были разбросаны первые казачьи станицы земельным управлением помощника главноначальствующего по

гражданской части, был поднят вопрос об обводнении Алхан-Чуртской долины и заселении ее территории служилым русским элементом.

Мой собеседник, инженер У., раскрыл папку, в которой находилась целая груда изысканий, исследований и проектов.

— Вот они довоенные и дореволюционные проекты. Видите, какая куча.

— А пригодились ли эти варианты при составлении советского проекта?

— В деталях совпадения конечно были, но в основном советский проект абсолютно оригинален и свеж.

В разговор вмешался пожилой человек с обветренными усами, одетый в поношенную кожаную куртку:

— Работы по прорытию канала начались еще до войны 1914 года отделом земельных улучшений министерства земледелия, но мировая война и гражданская приостановили нормальный ход работ, советская же власть стала продолжать сначала частичные мелиоративно-обводнительные работы, а затем, по мере восстановления мощи местного хозяйства, уже целиком и полностью выдвинула, а затем и осуществила алхан-чуртскую проблему.

— Кто это? — спросил я инженера.

— Старый техник и местный патриот З. Чуть ли не пятнадцать лет работает здесь и все по Алхан-Чурту. Перешел к нам по наследству. Вот вы его поспрошайте. Дока. Знает здесь все на зубок.

— Нужно сказать, что долина эта страшно засушлива и до того безводна, что даже ее ничтожные и жалкие ручьи Ачалук, Пседах и Нефтянка летом почти ежегодно высыхают, оставляя население и скот без воды. В этих случаях воду обычно берут из ключей, расположенных по склонам Сунженского хребта. А вы не забывайте, что источники эти почти целиком засолены хлористыми и серными солями, что делает воду непригодной, для питья, — рассказывал З.

— Почему же население не роет колодцев?

— Рыли, а что пользы. Не колодцы, а прямо шахты рыли, до 70 сажен глубины проходили — никаких результатов. Нет воды и баста.



Начальные работы по прорытию канала (1928 г.).

— Как же в таком случае живут здесь аулы?

— А вот как. Только потому, что Пседахинский источник сравнительно хорош и свободен от минеральных солей, только поэтому вокруг него, как около оазиса в пустыне, сбились вплотную и расселились три аула: Кескем, Пседах и Сагонш, между тем их земельные участки протянулись в сторону на десятку верст. Но это бы еще ничего, а вот вторая группа сел, вот эти самые Ачалуки, настолько не обеспечены питьевой водой, что возле их ключей всегда, как вы можете сами наблюдать, стоят очереди женщин с кувшинами. Не имея своей питьевой воды, жители Н. Ачалуков — а их не мало: 1.100 душ — и для себя, и для скота возят воду из С. Ачалуков, а между ними четыре версты. В таком же, если не в худшем положении находятся и жители хутора Зязикова и казаки Присунженского округа. Безводье заставляет их возить в районы своих пахотных и сенокосных наделов воду в боченках за 25—28 верст, по ту сторону хребта. А вы примите во внимание, что при жаркой погоде запаса этого на семью хватает максимум на 2 дня. Значит во время полевых работ надо отрывать от дела и скотину, и людей и по нескольку раз в неделю ездить за водой. Вот вы это,

голубчик, все и опишите. Пусть знают в центре, для чего, для кого и в каких условиях работаем мы. А то, знаете ли, иногда даже обидно бывает: вот Турксиб открыли — писали, шумели, кричали об нем... Очень хорошо, нужное дело сделали, не отрицаю, но вот о маленьких участках нашего большого фронта однако никто не напишет, а ведь по своей полезной цели, по тяжелым условиям работы и ответственности мы, говорю прямо, не уступаем ему. Каково, а? — тряхнул головой Э.

Строителям Алхан-Чурта неоднократно приходилось отбивать налеты спускавшихся с гор банд. История постройки знает случаи, когда озверелые контрреволюционные банды, налетов на беззащитные станции, громили и поджигали с трудом созданные постройки, убивая и распугивая рабочих и персонал.

По существу настоящие работы по прорытию канала начались только в 1928 году, когда реально было приступлено к рытью холостой части обводнительно-оросительного канала. Канал начинается из реки Терек в районе станции Колонка, в 8 километрах от Владикавказа. Здесь, на Тереке, устраивается головное сооружение с плотиной высотой в 5 метр^{ов} и с напором 3,5—4,5 метра. Расход воды в голове канала составляет 17,5 куб. метр. в секунду.

Севернее осетинского села Ольгинского канал пересекает акведуком (уже законченным нынешней весной) реку Камбилеевку, в которую сбрасывает для обводнения осетинских земель 3 куб. метра в секунду. В дальнейшем своем ходе канал вторым акведуком пересекает железнодорожную линию Грозный — Беслан и до села Плиево идет параллельно дороге, постепенно поднимаясь на склоны Назрановской возвышенности и Сунженского хребта. От села Плиево канал поворачивает на северо-запад и на 42-ом километре пересекает тоннелем (дл. 1.040 м.) Сунженский хребет. По выходе из последнего канал переходит дюкерами две крутые балки и на сорок седьмом километре прорезает вторым тоннелем (дл. в 300 м.) отроги хребта, выходя у селения Н. Ачалуки в Алхан-Чуртскую долину выше ее поверхности на 142,5 метра. С этой огромной высоты канал после своей достройки будет сбрасывать свои воды перепадом вниз и на 52-ом километре выведется в тальвег долины. На сбросе у села Н. Ачалуков строится гидроэлектрическая станция мощностью в 7.000 киловатт зимою и 14.000 — летом. На канале запроектировано и частично закончено восемь дюкеров с общим протяжением около 3 — 5 км., а также ряд мелких сооружений в виде мостков, сбросов, труб и т. д. (последнее уже выполнено на 70 проц.). Выйдя в долину, канал делится на два рукава: «Западный» и «Восточный» длиной первый в 75 км. и второй — 114 км. Сейчас по линии строящегося канала встают отдельные поселения, возникая буквально на глазах. Это рабочие поселки, в которых живут занятые на стройке сезонные и постоянные рабочие. Выполняя проект Алхан-Чуртского канала, советская власть должна одновременно разрешить и водохозяйственную проблему района, слагающуюся в данное время из следующих трех задач:

1) обводнение засушливой территории в 193.400 га;

2) орошение 18.200 га для сельскохозяйственных нужд населения;

3) использование водной силы для добычи гидроэлектрической энергии, и наконец четвертая задача — расселение известной части горного населения Ин-

гушетии на обводненных землях Алхан-Чурта и связанная с этим коллективизация сельского хозяйства поселенцев.

Взятые темпы, достигнутые успехи, высокая сознательность рабочих и общая спайка всех строителей канала говорят о том, что эти задачи ими будут разрешены.

26 августа 1930 года по каналу впервые была пущена вода, правда, пока в виде пробы и лишь на расстоянии 25 километров. Поток воды легко и сильно пробежал этот путь. Первый опыт был удачен, и его результаты окрылили и подбодрили коллектив строителей канала.

— Недаром работали, недаром тратили деньги и силу, — отирая со лба пот, весь мокрый от полутропической жары, сказал Э.

У наших ног в глубокой канаве журчал и рвался вдаль поток. Сухая земля быстро набухла и мокла. Стенки канала размякли и почернели. Сверху смотрело безжалостное солнце, но вода, упрямая, обильная и могучая, рвалась вперед, и сухая, потрескавшаяся канава жадно пила рвущиеся вдаль струи.

— А много израсходовали? — глядя вслед потоку, спросил я.

— Немало... Край на работы в текущем 1929—30 году отпустил 3.557.000 рублей, — присев на карточки и погружая ладони в поток, сказал Э.

Вокруг, по обеим сторонам канала, стояли притихшие люди... Здесь были ингуши, осетины, русские, казаки... Полуголые, черные, вымазанные в земле, сожженные солнцем, они, затаив дыхание, с радостным изумлением глядели вслед убегающей воде. Черная изрезанная полоса канала ломалась вдали, уходя в серую степь... Солнце, люди и выжженная пустыня смотрели, как бежал по жаждающей потрескавшейся земле живой творный поток...

— Пошла...—восторженно, словно не веря глазам, прошептал стоявший возле нас бронзовый рабочий-казак и счастливым, смеющимся голосом уже твердо проговорил: — Какое теперь... будя станишникам на хребтах воду возить... пущай отдохнут.

Вокруг нас ожила степь. Выбегали, сутились, радовались, сновали и кричали люди.

Один из молчаливо наблюдавших за пуском воды рабочих-ингушей внезапно сорвался с места и, словно влекомый вперед неистовой силой, кинулся вслед за потоком по краю канала, что-то крича и радостно подсакивая на бегу. Это было и торжественно, и забавно. Люди, своими руками рывшие этот канал и пролившие над его рождением немало крови и поту, словно зачарованные, смотрели вдаль, туда, куда стремительно мчались воды.

«Разделяй и властвуй» — вот лозунг, под которым шла на окраины царская власть. И лозунг этот был хорошо использован и претворен в жизнь царизмом на Кавказе. Кто не помнит о длительной кровопролитной резне между осетинами и ингушами, когда соседние аулы вставали войной друг на друга и подолгу, по неделям и месяцам, жители воюющих сел лежали в окопах, вели атаки, отбивали, наступали друг на друга.

Но еще и сейчас осетин и ингуш, если и не враги, то далеко и не друзья. И вот здесь, на Алхан-Чурте, я увидел, как национальная рознь, многолетняя упорная вражда почти исчезла и стерлась, уступив место классовому сотрудничеству, как в горниле трудовых процессов, под влиянием советской культуры и общности рабочих интересов недавние враги, работая над каналом, изжили проклятую вражду прошлого.

Я говорю о бригаде, работающей на участке № 1. Я говорю об изумительной силе социалистического труда, в условиях которого эти люди могли переработаться из темных, невежественных дикарей с средневековыми понятиями о мести в строителей советской культуры и носителей форм социалистического труда.

Бригада эта состоит из землекопов осетин и ингушей. Их всего 10 человек: 6 осетин и 4 ингуша. Поначалу, после того, как их свели в одну бригаду, и те, и другие — весьма недовольные этим — работали, стараясь не замечать друг друга, и сейчас же после окончания работ спешили разойтись. Ели конечно отдельно, пили так же. Говорили мало и то только в силу необходимости. Так прошло с месяц. Но общность работы, одинаковые условия труда, соцсоревно-

вание, ликпункт и раз'яснительные беседы партийцев и комсомола быстро сдвинули пропасть между одними и другими. Прошел еще месяц — и все десятеро, бросив к чертям свое прежнее недоверие и вражду, объявили себя ударниками, покуначились, и теперь их, что называется, и не различить, где осетин и где ингуш. Пища, вода, кров, радости и горе — все общее у этих 10 пионеров. Работающая на тоннельном участке № 1 осетинская бригада, сформированная из неквалифицированных, никогда ранее не работавших на производстве горцев, делает чудеса. Эти аульские парни, впервые в жизни взявшиеся за кирки, кайлы, шурфы, шахтлампы и лопаты, сейчас идут первыми из всех ударных бригад, существующих в постройкоме.

«10 проц. сверхвыработки, помимо нормы» — вот лозунг этой бригады, и ежедневный (порою, после ночной работы, еженощный) доклад табельщика всегда одинаково гласит:

«На 10 проц. больше остальных бригад».

Видя этих людей и зная энтузиазм, который руководит ими, мы верим, что к осени 1932 г. канал будет закончен. 150.000 га ныне бесплодной и засушливой земли будут напоены, и вековая нетронутая целина Алхан-Чуртской долины будет взрыта и вспахана сотнями советских тракторов.

V

Основное занятие ингушей — земледелие и скотоводство, к которым за последние годы прибавились садоводство и огородничество. Последние два рода занятий особенно привились в плоскостной Ингушетии после ухода казаков с части Сунженской линии и заселения станиц малоземельными горцами нагорной Ингушетии. Несмотря на тяжелый труд земледельца, на горных скатах и холмах засевающего свои земельные клочки, хлебопашество среди ингушей растет и ширится. Обезьяная горную полосу области, зачастую видишь невероятные для глаза картины, когда горец-косец осторожно бродит над кручами, снимая свой убогий урожай. Пшеница — хотя и не новый, но еще не совсем утвердившийся в Ин-

гушетии злак. Опыты с ее засевом идут довольно давно, но плохое качество зерна горной полосы, отсутствие удобных посевных земель и незначительные всходы не давали развития культуре этого зерна. И только успехи последних лет дают полное основание считать, что среди основных хлебных злаков, возвращенных на почву Ингушетии, пшеница должна занимать свое почетное место. Основной злак, ныне кормящий своим урожаем Ингушетию, это — кукуруза, удачно произрастающая здесь, хотя кукуруза соседней Осетии и даже Чечни значительно превосходит по своим химическим качествам кукурузу ингушей. Из колосовых злаков, помимо пшеницы, здесь засеивается и ячмень, идущий частично в питание населения, а также и на откорм домашнего скота.

Мировая и возникшая за нею гражданская война окончательно расшатала и без того слабое и регрессировавшее ингушское сельское хозяйство. Три года гражданской войны на Кавказе должны были разрушить слабые, кое-как сохранившиеся ресурсы народного хозяйства. Ряд принятых советской властью мер (выселение сунженских казаков за Терек и расселение на их землях безземельных ингушей, безвозмездная субсидия на восстановление разрушенных аулов, семенной фонд и проч.) дал возможность ингушам медленно, но неуклонно укреплять и восстанавливать свое хозяйство. Уже в 1928 году посевная площадь области значительно поднялась и по отношению к довоенному уровню составляла 103 проц. Данные статотдела ингземуправления красноречиво говорят о том, что на одно хозяйство в 1926 году площади посева приходилось 3,47 га, в 1927 году — 3,49 га, в 1929 г. — 3,60 га.

Уже одни эти цифры, хотя и не исчерпывают полностью картины возрождения и развития сельхозхозяйства Ингушетии, но реально и беспристрастно свидетельствуют о них.

Зам. зав. ингземуправления тов. П—ов, показывая мне во Владикавказе разбросанные на карте области колхозы, сказал:

— Спешите... Сейчас самое время. Если буду свободен, — поедем вместе.

Ему помешали дела, а я свежим августовским утром ехал по неровной и дикой дороге из аула Галашки в аул Мужич. На горизонте колыхалось море кукурузы, уходя к границам Чечни.

— Там Датых,—кивая в сторону синевших гор, сказал мой спутник К—в,— Чечня близко.

Со стороны Чечни плыли тяжелые прокопченные облака. Две извилистые, то резво бросавшиеся вверх, то прятавшиеся в буграх дороги вели к горам. Изредка навстречу нам попадались конные фигуры спешивших куда-то ингушей. Редкие пешеходы, две-три тачанки да пара горбатых чеченских арабов со зловецким скрипом тянулись навстречу из Мужич. Обычное «селям-алейкум» да обязательное полупривставание с мест завершали наши встречи. Становилось скучно. Вдруг мой спутник слегка толкнул меня локтем и, не меняя серьезного, сосредоточенного лица, быстро шепнул:

— Гляди внимательней на этого человека. Потом расскажу, — и мгновенно потушив нараждавшуюся у него в глазах улыбку, почтительно приподнял папаху и вежливо сказал шедшему по дороге навстречу нам оборванному ингушу:

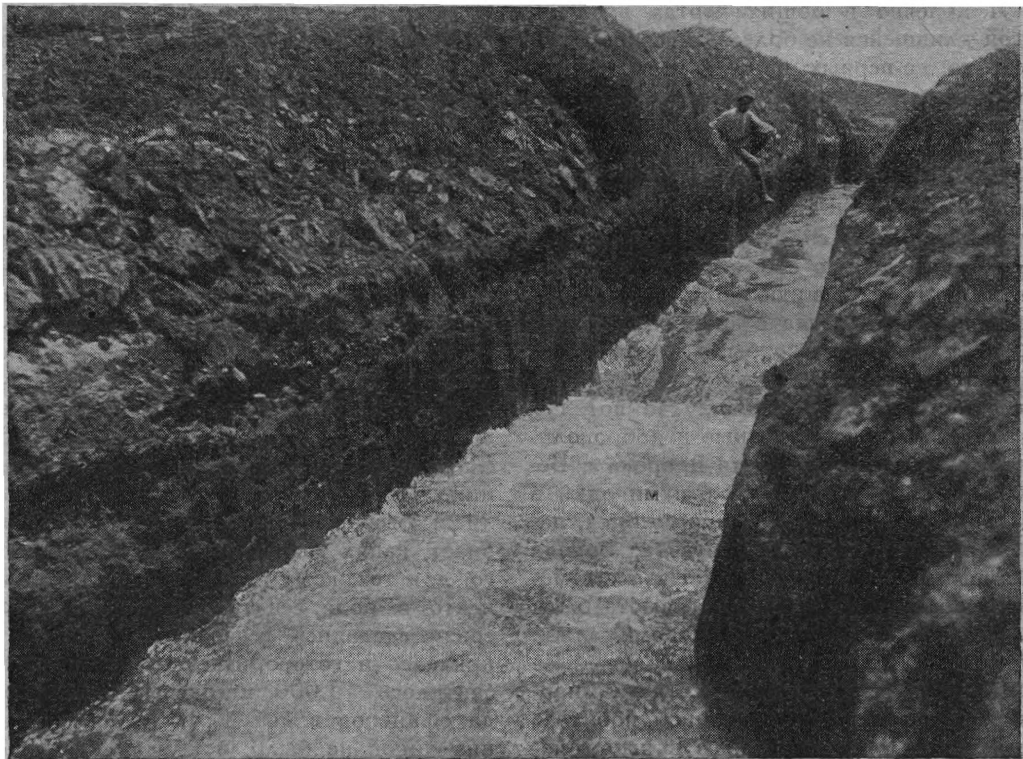
— Селям-алейкум, Махмуд.

Встречный поднял голову и остановился. Наш возница придержал коней, и я мог внимательно рассмотреть стоявшего передо мною человека. Это был пожилой, лет 45 ингуш, одетый в старую нагольную овчинную шубу и в домодельные сыромятные чубяки. Высокая чеченская видевшая всякие виды папаху украшала его начинавшую седеть голову. Он прищурился, скользнув по мне любопытствующим взглядом, и ленивым голосом сказал:

— Алейкум-селям.

Через плечи встреченного нами человека были перекинута старые переметные сумы, набитые кукурузной початкой. Он отер с лица пот, вяло и безразлично о чем-то поговорил с моим спутником и, мотнув на прощание головой, вновь побрел ленивым шагом по дороге.

Кони с места взяли рысь, и через минуту-две одинокая фигура человека с початкой стала медленно исчезать за буграми.



Перепад в плотных глинах на верховом прокопе

— Кто такой? — повернул я голову к соседу.

Он лукаво и многозначительно подмигнул мне и вдруг сказал:

— Министр бывший... — и, видимо, довольный моим удивленным лицом, снова весело добавил. — Да, да... Министр почт и телеграфов из правительства Узуна-Хаджи. Чеченец шатоевский, сейчас живет здесь.

Признаюсь, я вообще впервые в своей жизни видел так близко от себя министра, а такого экзотического да еще в изодранном тулупе и сырых чувяках на босу ногу — тем более.

В моем представлении слово «министр» обычно ассоциировалось с пышным, шитым золотом придворным мундиром, с расшитой треуголкой и грудью в орденах, и вдруг... грязный, небритый, оборванный чеченец с полуторاپудовой ношей на плечах.

— Что ты дуришь, — недоверчиво протянул я.

— Почт и телеграфов... Из правительства Узуна-Хаджи, — снова со сме-

хом повторил К—в. — А теперь он здесь у сестры живет. Кукурузу сеет, землю копает.

— Министр? — переспросил я.

— Он самый... а что ему делать? Читать, писать не умеет... по-русски не говорит, в городе никогда не жил, одно остается — землю копать.

И видя, что я продолжаю недоумевать, К—в спросил:

— Ты где был в 1919 году? Здесь не был?

— Нет. В Красной армии. В России.

— Ну то-то. А я тогда в горах скрывался и всю эту оперетку своими глазами видел. Ты послушай ее да и опиши... Презабавная история. Видишь ли, в середине 1919 года, когда добровольцы заняли весь Северный Кавказ и шли на Москву, здесь, в Чечне и Дагестане, образовалась Горская монархия, или, как она официально именовалась на бумаге, «Северо-Кавказское эмирство» во главе с шейхом Узун-Хаджи, принявшим титул общегорского эмира.

Я конечно в общих чертах знал об этой длившейся не более 8-месяцев истории, но, во-первых, деталей этого «эмирства» я не знал и, во-вторых, впервые соприкоснулся с участником этого политического фарса.

— Да-а... и так слушай. Однажды по аулам проехали гонцы с призывом к «единоверным» сплотиться под знаменем газавата и во имя пророка Магомета итти на священную войну против белых... Воевали тогда с добровольцами и с казаками. Красные были где-то очень далеко. В горах от них остался лишь небольшой отряд Гикало... Но вот тут стали мы, мобилизованные и добровольцы, с'езжаться под знамя пророка в Ведено. Ну, поехали мы, а с нами один в роде наиба, от чеченцев присланный, папаха зеленой чалмой перевита, борода и ногти хной крашены. Едет да все молитвы распевает. У него и грамота была о газавате, подписанная Узуном-Хаджи. Помню даже, как она начиналась... — и К—в, жестикулируя, стал декламировать нараспев: «От сатаны, побитого камнями, к лицу истинного и непреложного бога возвращаемся мы. Ко всем правоверным братьям, ко всем чтящим коран и имя пророка Магомета обращаемся мы...» — да, — внезапно обрывая себя, продолжал К—в, — и так едем мы по Чечне, всюду оживление, толки. В аулах нас встречают как борцов за веру, угощают. Всюду шейхи, муллы... разговоры только о чистоте веры, о шариаге, о тардикате, о зикре. Прямо с ума посходили тогда в горах... А тут еще турецкие эмиссары да офицерство шныряют, агитацию ведут, панисламизм пропагандируют. Чудеса какие-то стали в горах ежедневно открываться, святых, как собак нерезаных, откуда-то подвалило... Словом, тамаша. По дорогам то и дело то мы, то нас обгоняют конные и пешие отряды... Это воинство наше на газават собиралось.

— А кто входил в эту армию?

— Да почти все. И ингуши, и тавлинцы, и кабардинцы, и кумыки, а главным образом конечно чеченцы и дагестанцы. Ну, приехали мы в Ведено, а там уже правительство готово. Сформировано. Знаешь, брат, много я видел комедий, но, честное слово, эта постановочка в горах была исключительной.

Шедевр... никакому Мейерхольду и в голову подобная фантастика не придет. Представляешь себе обыкновенный горский, невзрачный аул, пышно объявленный столицей. Так и именовалась «столица Ведено». Паршивая глиняная сакля — «дворец» или «наша ставка». В нем же и «правительство». Видал сейчас этого министра... так этот еще хоть на человека похож, а были такие, что на «заседании совета министров» вшей в шубах искали да в носу пятерней копались. Всего министров у нас было немного, человек 25, словом, больше, чем в правительстве любой великой державы. Были тут: министр военный, морской, путей сообщений, веронсповеданий, почт и телеграфов, финансов, были и беспортфельные... Да чорт их знает, каких только не было. Мало этого, для тех, кому нехватило должностей, нечто в роде сената учредили... и все сразу сделались генералами. Отдали в приказе—и готово. Ведь у нас в армии считалось 15.000 человек, а генералов да офицеров в ней было 12.000. Нижних чинов не было, все были офицеры. После каждого боя полковники и генералы теклись сотнями. Вот этот «министр» тоже был генерал-лейтенантом. Мы все офицерские погоны носили, — сами с добровольцами воевали и сами же у них в массовом порядке через нейтральных русских серебряные и золотые погоны закупали... Ну, разве на такую ораву их хватит? Так наш главнокомандующий, он же великий визирь, он же светлейший князь Дышнинский, специальным приказом по армии в виду нехватки разрешил разрезать каждый погон на восемь частей и носить на плечах по одному кусочку... Представляешь? Выпустили мы и свои деньги, на которых было напечатано: «Северо-Кавказский эмират. Его Высочество Эмир Шейх-Узун-Хаджи-Хан 1-ый. Под протекторатом Его Величества Султана Турции Магомета Бахэтдина XI». Был обнародован соответствующий манифест, направленный ко всем горцам Северного Кавказа, в котором эмир давал установку и политическое обоснование своей монархии. Вот буквально эти слова: «Итак, с божьей помощью, будем добиваться шариатской монархии, ибо в стране мусульманской республика не мо-

жет существовать на том основании, что признанием республики мы бы не признали халифа, что значит отрицание пророка Магомета, — отрицание же последнего, это значит — отрицание бога...»

— Здорово. Политика ясная... — засмеялся я, — ну и что, неужели пользовалась эта оперетка каким-нибудь влиянием в горах?

— Поначалу — огромным. Ты знаешь, уму непостижимо, что творилось по аулам. Посты, молитвы, зикр, ночные бдения... как наэлектризованные ходили все. Времена Шамиля и мюридизма вновь нахлынули на нас. Уже было решено объявить газават не только добровольцам, но и вообще всем «неверным». Нужно сказать, что сам эмир наш, Узун-Хаджи, был очень строгим и фанатичным человеком. Он целыми днями сидел над кораном, бормотал молитвы. Религия и панисламизм — вот что преимущественно интересовало его, всем же остальным заворачивал Дышнинский — бывший царский пристав, или, как он себя величал, «премьер и военный министр, великий визирь, светлейший князь Дышнинский»...

— И долго длилась эта канитель?

— До конца 1919 года. С приходом же советской власти вся эта ерунда растаяла, как дым. Узун-Хаджи умер в 1920 году в горах, «светлейший Дышнинский» расстрелян. А другие остатки, видишь вон, на себе кукурузу таскают, — засмеялся К—в. — Настолько они нелепы и забавны, все эти бывшие министры, что советская власть не только не тронула, но даже и не замечает их, — с презрением закончил К—в, закуривая папиросу.

Я приподнялся с места и оглянулся назад, ища на горизонте персонажа из сыгранной в горах оперетты, но, увы, б. министра не было видно... Он исчез в степи.

VI

Расширение посевплощади Ингушетии производится двумя способами, — за счет освоения новых земель и за счет сокращения кукурузного клина.

Для человека, никогда не бывавшего в горах, лозунг «Борьба за пшеницу — это борьба за культуру» может

показаться смешным. Однако это так. В горах Северного Кавказа пшеница, засеваемая на местах старого кукурузного клина, является пионеркой культуры, бунтаркой, разрушающей замшелый быт. Здесь, в горных аулах, она проповедует советскую культуру не хуже любой электростанции или школы. Она несет новые навыки и современные культурные способы питания горской семьи. И мне понятна гордость, с которой оперативная сводка по уборке хлеба в Ингушетии лаконически сообщает: «Уборка пшеницы по области закончилась. Всего убрано 3.162 га, из них колхозами — 1.200. Убранную пшеницу уже обмолачивают. Идет уборка яровых — проса и овса».

Когда мне в Пседахинском районе довелось увидеть мощную 30-тракторную колонну «фордзонов», легко, без усилий, словно эта была забавная игра, ползавших по холмам и ложбинам долины, я всем своим существом ощутил нашу удивительную и гордую эпоху. Потом я привык. Новые колонны «ойль-пулей», «джон-диров» и «клетраков» уже не вызывали во мне этого неповторимого, запоминающегося на всю жизнь экстаза.

Несмотря на то, что тракторы были присланы не совсем ко времени и несколько запоздали, все ж их победное шествие по ингушской земле оставило до новой вспашки неизгладимый след... 6.000 га целины, никогда не тронутой рукой человека, были бесцеремонно вздернуты, распаханы и расчесаны зубьями тракторных борон. Жирные куски расплосованной, распластанной земли сочно вылезали из-под ножей «ойль-пулей», и сотни ворон копошились в черной земле, оглашая карканьем хмурые долины Пседаха...

Недосев в этом году по области равнялся 7 проц. Еще с середины зимы бескормица скота сильно подорвала экономику ингушской деревни и в начале весны остро сказалась на посевных работах. Основных кормов, особенно сильных, не стало хватать уже в январе, а к марту скот стал падать. Так же, как и в Осетии, главной причиной этого несчастья надо считать головоотяпство местных работников, решивших во что бы то ни стало добиться в Ростове

признания своих хозяйственных и административных талантов. Несмотря на неподготовленность и слабый прошлогодний урожай, они буквально обнажили от запасов фуража деревню и с победными реляциями отослали эти «излишки» в край. Последствия от столь «мудрой» политики не замедлили вскоре сказаться. Скот стал болеть идохнуть от бескормицы, а затянувшаяся зима не оправдала расчетов совдураков на раннюю весну и зеленый, подножный корм. И когда в конце марта (а кой-где и в апреле) начались ранняя запашка и выезды на поля, то как колхозники, так и единоличники области вышли на работу со слабым, значительно сократившимся рабочим скотом. Это — первая причина. Вторая — бандитизм, весной бывший весьма модным явлением в горах. Часть раскулаченных вкупе с уголовным элементом бежала в горы и время от времени производила налеты на работавших на полях колхозников. Это конечно также отразилось на посевной кампании, тем более, что муллы и кулаки успешно использовали головоуотпяство местной власти и повели усиленную агитацию за отлив из колхозов и невхождение в них. И только статья тов. Сталина «Головокружение от успехов» и ряд мер, последовавших за нею, приостановили массовый уход ингушей из колхозов. Мобилизовав все ресурсы, урвав у Ростова 15 проц. сданного ранее хлеба, вынудив из «неприкосновенного запаса» 15 проц. семян, из'яв все, что было возможно у кулаков, и исшарив до самого дна свои закрома, область приступила к севу.

В Ингушетии 36 колхозов. В них входит около 9.000 человек. На первый взгляд как будто бы немного. Но для культурно отсталой и экономически нищей Ингушетии 9.000 человек, объединивших свои хозяйства, — целая революция, даже больше, это — шаг к социализму.

Проезжая аул Кескем, я услышал страшный визг, напоминавший вопли истязаемой свиньи, и содрогающий воздух рев. Запах сожженного масла, аромат пролитого бензина и вдавленные в землю следы шин говорили о близости колонны. Визг становился все ближе... Пороссячи вопли перешли в равномер-

ное пощелкивание. За поворотом дороги стояла автомастерская. Шла сварка обломившейся оси. Ярко накаленная ось легко и послушно, словно нагретый стеарин, вмазывалась в толстую, побелевшую от жара железную полосу. Рядом в непрестанном беге перед маленьким механическим станком вертелась шестиугольная стальная тарелка. Два больших напильника методически скашивали и обтачивали ее непослушные бока. Свист рвался из-под их голодных, жадных зубов. В засаленных комбинезонах, чуждые всему, что не относилось к тракторам, спокойно, без суетливости работали люди. И в их уверенных, промасленных руках легко и четко спорилась работа.

— Хорош аработник... ей-бог... молодец, — похвалил их, обращаясь ко мне, сидевший на завалинке ингуш. Он с удовольствием подмигнул мне на работавших людей и вновь принялся за свое излюбленное, традиционное занятие — нарезывание стружек...

Ингуш, похваливший работавших шоферов, грелся на солнце и меланхолически маленьким подкинжальным ножом нарезал одну за другою стружки от обломленного ствола. Рядом с ним сидело несколько таких же любителей этого полезного дела, и так же методически строгапи палочки разных размеров, с любопытством поглядывая на остановившуюся в селе автомастерскую ремонтно-тракторной колонны.

Должен сказать, что занятие это не является исключительно ингушским ремеслом, а присуще вообще всем горским племенам. Так например в этом же году, проезжая по Дигории, мне неоднократно приходилось видеть десятки здоровых, праздных мужчин, лениво развалившихся на ихсе (нечто в роде сборища на аульной площади) и с трудом, от разнеженной лени, ворочающих языками. Пальцы этих умиравших от безделья людей энергично строгапи ломанные прутья. Ножи сверкали под лучами солнца, мужи совета «работали», и под их ногами медленно, но верно росли груды наструганных сучьев.

Итак, сельское хозяйство области развивается и одновременно выявляет ясно определяющуюся дифференциацию деревни. Эти два фактора и коопериро-

ванное через многолажки население являются могучим залогом успеха колхозного строительства.

Преобладающей формой колхозов являются товарищества по совместной обработке земли. На 1 июня 1929 г. членов ВКП(б) и ВЛКСМ во всех этих колхозах было 129 ч., грамотных во всей этой массе насчитывалось 57 и малограмотных — 131. Неграмотность — одно из самых уязвимых мест колхозного строительства.

По своему классовому составу ингушские колхозы выдержаны неплохо и состоят из бедняцко-средняцкого элемента с явным преобладанием бедноты, хотя, как и везде, и тут было немало случаев, когда в колхозы проникал не только чуждый, но и явно контрреволюционный элемент (муллы и уголовные, напр. в артели «Солнце труда» Пригородного округа, трудземартели «Единение» аула Сурхохи и т. д.).

По мере роста коллективизации росла и техническая мощь колхозов, имевших в своем балансе к лету 1928 года 10 тракторов, 190 плугов, 23 культиватора, 11 орудий, 1 молотилку, 88 ходов, 3 сенокосилки и 490 рабочих лошадей. Через год, к июню 1929 года, 61 колхоз Ингушетии на своих полях имел в работе (на уборочной кампании) уже 3 тракторных колонны в 43 машины разных систем, при двух ремонтных автомастерских, при чем соразмерно с этим повысился и остальной сельхоз. инвентарь, так например: плугов насчитывалось уже 223, культиваторов — 39, орудий — 12, молотилок — 6 и т. д. Одновременно с этим повысилась и агропомощь и агрообслуживание. В аулы были посланы агрономы и студенты-практиканты Владикавказского сельскохозяйственного института, образовавшие летучие агробазы и стационарные пункты земельной помощи населению. Пришельцев по началу принимали в штыки, несколько человек были даже убиты, но остальные четкой и бескорыстной работой снискали уважение трудящихся горцев.

Говорить о колхозном движении — это значит говорить о классовой борьбе, о жестокоем сопротивлении кулака и методах этого сопротивления. Агитация, убийства, поджоги, налеты и банди-

тизм... Вот основные формы действия горской контрреволюции. Несколько сухих, официальных справок, перечисленных ниже, окажут о том, что горский кулак ничуть не лучше и не слабее русского кулака и что, несмотря на разность веры, языка и внешнего облика, классовая сущность у них одна.

1930 год. 1. Кулаки хутора Зязикова покушались на убийство секретаря ячейки. 2. В Сурхахи произведен поджог имущества вдовы-колхозницы. 3. В Назрани сожжен хлеб одного из колхозов. 4. В селе Сагонш убит предправления колхоза имени Ленина. И таких примеров хватит еще на целый лист.

Уходящее в небытие кулачество отчаянно и беспощадно боится за свою жизнь.

Весной 1930 года на посевной кампании в Дигории, в селе Христиановском, я встретил удивительного человека — Елену Александровну Матину, девушку лет 23, главного агронома колхоза «Социализм». Глубокой ночью, когда Христиановское спало и только в темноте лаяли псы да возле освещенного клуба бродила, смеялась неугомонная дигорская молодежь, я сидел за скудно освещенным столом и заносил в записную книжку факты, таблицы, цифры и расчеты колхоза. Около меня, вооруженная карандашом и деловыми отчетами, сидела агроном Матина, рассказывая о делах Дигорского комбината и колхоза «Социализм».

— Как работаете вам в местных условиях, вам, не знающей языка и быта горцев... Вероятно тяжело, скучновато? — спросил я, сочувствуя молодой женщине, уже 8 месяцев безвыездно сидевшей в Христиановском.

— Почему скучновато? — изумилась собеседница, и по ее удивленному тону я понял, что вопрос мой неудачен. — Наоборот, работы так много, что у меня занята буквально каждая минута... Занята во как, — она провела пальцем по горлу, — ведь сейчас самая горячая пора, подготовка к весеннему севу: семзерно, обобществление рабочего скота, разъяснительная кампания по коллективизации, осмотры сельхозинвентаря, сбор корма и уход за скотом. У-у... — протянула она, — работы интересной столько, что боюсь, всего не

захвачу... У меня вон два помощника, да три студентки-практикантки. Всюду их рассовала, но конечно мало, — народу нехватает. А сейчас вот, вскоре, готовится пробный выезд на поля — опять заботы, тут, знаете ли, не до скуки, — какая к чорту скука, да и зачем она? Ни к чему. Вот хочется мне до чортиков лекции по самой простейшей агропомощи населению прочесть, самые азбучные истины по кормежке и уходу за скотом прочесть, да где там, — работы основной пропасть, а тут еще этой бумажной возней приходится заниматься. — Она кивнула головой на отчеты и огромные разграфленные листы. — Ведь дело наше новое, да, да, советская агрономия это не просто наука о земледелии и скотоводстве, нет, дорогой товарищ, тут и экономика, и политика, и учет, и социалистические методы, и научная организация труда. Попробуйте-ка работать, ведь зачастую приходится все это создавать здесь самой. Инструкций никаких, опыта нет, знающих людей тоже. Для нас все это новое дело. Вот и стараешься, днем на полях да колхозах, ночью над бумагами да теориями... Порою чувствуешь себя не человеком, а маленьким, но чрезвычайно нужным винтиком сложной государственной машины. И этим я горжусь. Я—советская агрономша... — засмеялась Елена Александровна.

— Вы коммунистка? — спросил я.

— Нет... Беспартийная, казачка, а разве это имеет значение? — в свою очередь спросила она. — Разве честно работать для социализма должны только партийцы? Я не хуже их, и мои знания пригодятся так же, как и знания коммуниста. Земля должна превращаться в зерновую фабрику, на которой, по учету и плану, в таком-то году, к такому-то сроку должно родиться столько-то зерна, и к чорту неурожай, его не должно и не может быть при планированном социалистическом хозяйстве. — Она гордо подняла голову и, блестя глазами, закончила: — И я знаю, что это даст стране только коллективизация. А коллективизацию — советская власть, не кто иной.

Я вспомнил эту ночь в Дигории и этот разговор с юной энтузиасткой

М—ной только потому, что вчера, 5 мая, спустя, я вновь здесь в Ингушетии встретился с людьми, напомнившими мне Елену Александровну. Их было двое, — один пожилой, лет под 50, скуластый человек и второй 18-летний студент-практикант из ГСХИ. Первый был агроном, посланный в Г—ский район из облзу и Полевосоюза.

— Вас интересует агрообслуживание области в весенней и уборочной кампаниях нынешнего года? Похвастаться достижениями не могу. Нехватает людей, отсутствует опыт и гибкость в разрешении ряда специфических, местных вопросов. И главная причина — это незнание местного языка и специфический, туземный быт. Вот нас по области 42 человека, из них агрономов с более или менее приличными знаниями и средним практическим опытом — 22 да практикантов из ГСХИ 20 человек, а нужно нас, по масштабу работ, сотни полторы. Рассудите, велика ли наша вина, когда на одного тебя ложится территория с 20 аулами да тысячами га. Первое время, пока я не имел ясной перспективы, я немало времени потерял на всякого рода переговоры с сельчанами и хождения за ними по аулу. А тут еще облзу заливают бумажным потоком, требует и учета, и отчета, и таблиц, и всего. Вижу я, что если так пойдет, то я из организатора-агронома превращусь в чинушу, переписчика по сельскохозяйственным вопросам, — плюнул на это, подумал да изобрел свою собственную методику работы, созвал агроуполномоченных, вызвал из аулов и колхозов активистов и посевтройки, устроил производственное совещание, рассказал о своих сомнениях, просил помощи, совета и в то же время поведал им план текущих работ по району. Сказал о необходимости плановости, учета, о научной организации труда. Словом, разговорились. Вижу, что основным злом является стремление большинства колхозников раздробить свои земельные массивы и начать их использование в меньшем составе. Слушаю и делаю вывод, — надо в противовес этому организационно и производственно укрепить колеблющиеся колхозы. Вижу, отсутствуют вовсе учет и организация труда, что вызывает случаи невыезда и отви-

ливания от работ части несознательных колхозников. Вывод — немедленно же ввести учет. Раз нет учета, нет и правильного использования рабочего общественного скота. Спрашиваю, как руководит и помогает колхозам местный советский, партийный и кооперативный аппараты. Оказывается — никак. Знает, подрыв делу коллективизации. Надо поднажать... И поверьте, провел три таких производственных совещания, глаза словно открылись, многое стало ясным, да и сами колхозники втянулись. Много дельных советов, помощи, внимания оказалось. А тут и молодежь, и даже женщины втянулись. Стали работать, сначала слабо, потом лучше, а теперь так вовсе хорошо. Есть огороды, учреждено свое машинное товарищество, открыт объединенный кооператив, имеем

свои четыре колхозных трактора, сноповязалку, молотилку и пользуемся солидным кредитом в Ингоблкредсельсоюзе. И связи завелись, — единоличники к нам на собрания приходят. Часто ссужаем их то сеялкой, то сноповязалкой, а то и трактором. Одно плохо, гордецом стал, — засмеялся агроном, — никогда раньше в себе этого не замечал, а теперь погляжу вокруг, вижу, как трактора шумят, люди работают, да гектар 80 пудов пшеницы дать обещает, — весело на сердце станет, а в уме мыслишка завоюет: «Недаром работал, старался недаром», а ведь одно время так почти все дело накануне ликвидации было. Ну, а теперь, слава алаху, опять крепко завинтили гайку, да и товарищ-урожай поддержал... — весело закончил агроном.

Литература и искусство

1. А. ДЕРМАН. — Проблема живой речи в художественной литературе. 2. Арк. ГЛАГОЛЕВ. —

„Соть“ Леонова

1. ПРОБЛЕМА ЖИВОЙ РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. Дерман

I

Проблема живой речи в художественной литературе — это прежде всего и более всего проблема речи крестьян, в которой этнографические и бытовые особенности сохраняются наиболее устойчиво; в меньшей степени — это проблема живой речи рабочих, поскольку нивелирующее влияние на нее городской культуры, особенно в послереволюционное время, приближает ее к разговорной речи людей, прошедших школу; и наконец почти совершенно не касается эта проблема живой речи интеллигентов, приближающейся к литературному языку. Поэтому, оставляя вне рассмотрения последнюю, мы сосредоточим внимание главным образом на первых двух, особенно же на приемах передачи крестьянской речи.

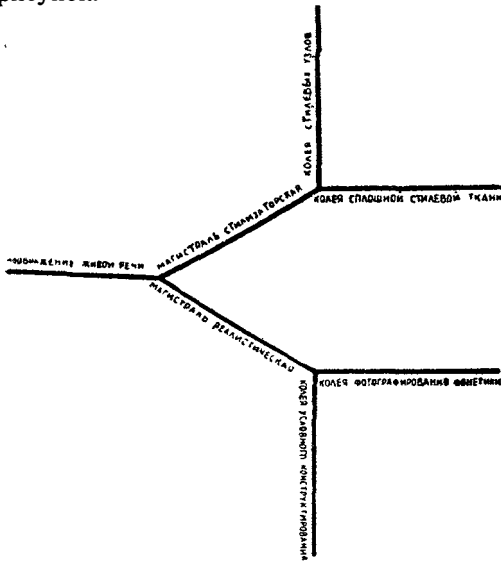
Приемы эти конечно весьма разнообразны. Можно сказать: сколько художников, столько и приемов. Но все же в этом многообразии без труда можно наметить две главнейшие магистрали. Одна — когда художник сознательно и умышленно ставит себя посредником между изображаемым говорящим персонажем и читателем. Художник при этом не только не маскирует и не затушевывает своего присутствия, но даже, наоборот, зачастую его подчеркивает. Это — так называемый сказ, это стилизаторская магистраль изображения разговора.

Вторая магистраль — назовем ее реалистической — характеризуется обратным признаком: художник ставит себе задачу передать живую речь так, чтобы у читателя получилось впечатление непосредственного ее восприятия. Идеальным будет в данном случае такое достижение, когда читателю будет казаться, что он собственными ушами слышит говорящего, другими словами — когда в процессе чтения читатель не вспомнит о художнике как о посреднике между ним, читателем, и изображаемым лицом.

Каждая из этих двух магистралей в свою очередь имеет две главнейшие колеи сообразно двум основным приемам изображения разговора. В магистрали стилизаторской отчетливо различаются: колея стилевых узлов и колея сплошной стилевой ткани. В магистрали реалистической эти ответвления еще резче дифференцированы, и здесь мы имеем, во-первых, колею условного конструирования и, во-вторых, колею безусловного копирования, или фотографирования фонетики. При этом направление указанных ответвлений в первой магистрали совершенно соответствует направлению их во второй магистрали.

Итак, если все эти схематические подразделения (очень конечно грубые) мы попытаемся свести к графическому изо-

бражению, то получим примерно такой рисунок:



Что касается до стилизаторской магистралю, то нам сразу станет ясно отличие в ней приема стилевых узлов от приема сплошной стилевой ткани, если мы укажем на конкретные примеры применения как того, так и другого приема, если мы сравним например знаменитого «Левшу» Лескова с «Аленьким цветочком» Аксакова. Оба эти произведения суть сказы, написанные умышленно стилизованным языком. Но «Аленькой цветочек» в этом стиле выдержан сплошь и целиком, от начала и до конца: «В тоё ж минуто, безо всяких туч, блеснула молонья и ударил пром, инда земля зашаталася под ногами». Или: «...достаёт гостинец средней дочери, тувалет хрусталу восточного...» и т. д. Какое бы место повествования ни взять, в отношении стилевом оно будет вполне аналогично любому другому месту. Совершенно иное дело в лесковском «Левше». Здесь, во-первых, есть целые главы (6-я, 7-я и последняя 20-я), в которых нет никаких следов условной стилизации. Они в стилистическом отношении резко отличаются от всех прочих, и, разумеется, эта разнородность стилей в одном и притом коротком произведении не случайна. Но даже и господствующий стиль этой вещи не является тем ровным условным народным лубочным сказом, каким написан названный выше «Аленькой цветочек». В «Левше», даже

в его наиболее стилизованных главах, вы не можете, взяв «пробу» в виде какою-нибудь абзаца, судить по ней об общем стиле всей вещи, потому что эта лубочная условность дана здесь не сплошь, а вкрапленностями, как золото в руде. В частности это относится и к приемам передачи разговорной речи. Здесь в иных случаях не только царь говорит обычным языком, например: «Оставьте над ним мудрость, пусть его отвечает, как он умеет», но даже тульские оружейники, и те не всегда держат речь в стиле лубка. Например в главе пятой: «Тонкой работы мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить». Но зато, с другой стороны, Лесков совершенно ни с какими реальностями не считается и никакими фактическими «несообразностями» не смущается, когда находит нужным наложить на ткань повествования определенный стилевой узор. Тогда не только сам левша или другие тульские мастера, или даже Платов, но даже англичане начинают говорить языком условного лубка и притом вещи, во всех смыслах явно несообразные. «Мы на буреметр, — говорит, — смотрели: буря будет, потонуть можешь: это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море».

Здесь откровенно неправдоподобно не только стиль сам по себе («буреметр», «Твердиземное море») и не только то, что лубочная, русапетская речевая стилизация вложена в уста англичанина, но совершенно ни с чем несообразно и то, что Англия оказывается расположенной у Средиземного («Твердиземное») моря! И тем не менее все эти нелепости не только не воспринимаются нами как промахи, как несообразности, но, напротив, они-то и усиливают стилевое впечатление своим откровенным грубым комизмом, потому что именно ошарашивающие нелепости и составляют, так сказать, душу самого стиля—безудержно размашистого лубка.

Чрезвычайно характерно различие в восприятии читателя таких вещей, как «Аленькой цветочек» и «Левша». Рассуждая «арифметически», колорит «на-

родности» от вещей первого порядка при прочих равных условиях должен был бы глубже войти в состав читательского впечатления, прочнее сохраниться в памяти и сознании уже в силу длительности, упорства, выдержанности своего воздействия. Но факты говорят обратное: чем длиннее и выдержаннее литературное произведение в стиле «Аленького цветочка», тем незаметнее для читателя его стиливая стихия, тем слабее воспринимает он именно стиль, как стиль. А вот нелепости «Левши» не только запоминаются как таковые, все эти «нимфозории», «буреметры» и «мелкоскопы», но в конце концов в свете их стиливого колорита запоминается вся вещь. Здесь с восприятием читателя происходит приблизительно то самое, что с восприятием звука и шума. На фоне тишины даже удар в ладоши воспринимается резко, а, привыкнув к грохоту поезда, перестаешь различать отдельные звуки, да и о самом грохоте понемногу забываешь.

Надо сказать, что в текущей художественной литературе стилизаторская магистраль изображения народного говора, вообще говоря, представлена довольно слабо обоими приемами. Отдает ей дань Клычков, имел к ней склонность Евгений Замятин, в той или иной степени обращается к ней иногда еще кто-нибудь из современников, но обычно в этих случаях слишком явно сквозит определенное литературное воздействие, по большей части могучее влияние Лескова. Большая дорога современной художественной литературы пролегает по другой, реалистической магистрали. К ней поэтому мы и обратимся.

II

Реалистическая магистраль в деле передачи живой речи, как я выше указал, представлена в современной художественной литературе двумя главнейшими приемами: приемом условного конструирования и приемом фотографирования фонетики. Первый соответствует приему стиливых узлов в стилизаторской магистрали; второй, т.-е. фотографирование фонетики, соответствует сплошной стиливой ткани в роде «Аленького цветочка».

Первый прием состоит в том, что писатель дает читателю почувствовать речевой характер того или другого персонажа, время от времени напоминает о его особенностях, — и только. Если этому персонажу отведено в вещи более или менее значительное место, если ему приходится говорить много и часто, то автор вполне сознательно не следует за всеми особенностями его речи. Если этот персонаж говорит у такого писателя не так, как все, а по-иному, по-особенному, по-своему, то не в смысле особенностей своего акцента, а в отношении словаря и склада своей речи. В смысле же чисто фонетическом он лишь изредка напоминает о том, кто он таков. Совершенно обратное у представителей второго приема. Мало ли, много ли, изредка или из страницы в страницу говорит крестьянин или рабочий у такого автора, он никогда не выходит из чисто звуковых особенностей своего говора.

Дифференциация писателей по двум указанным признакам иногда очень резка, хотя и не всегда можно с полной уверенностью установить степень умысла и расчета при выборе писателем одного из этих двух приемов. Трудно например это установить едва ли не относительно всех художников-реалистов первой половины XIX в. и не только потому, что в их творчестве крестьяне, не говоря уже о рабочих, — вообще явление редкое. Если мы возьмем прозу Пушкина, то крестьян окажется не так уж и мало. Разговор их изображен совершенно по принципам первого приема, т.-е. очень определенно и выдержанно дан склад речи, весьма отличный от склада речи представителей других сословий, и тщательно подобран словарь. Другими словами — орудиями Пушкина служат здесь лексика и синтаксис, но ни в каком случае не фотографируется фонетика. Кузнец Архип в «Дубровском» или Савельич в «Капитанской дочке» говорят в высшей степени «по-своему», совершенно не так, и именно «социально» не так, как например Троекуров или Гринев. В какой мере Пушкин сознательно дифференцировал социальные оттенки речи своих героев, с полной отчетливостью мы можем наблюдать в «Барышне-крестьянке», где превраще-

ния барышни Лизы в кузнецову дочь Акулину неизменно сопровождаются перестройкой склада речи героини. Когда под впечатлением вольности, допущенной собеседником Лизы, она, позабыв на мгновение о принятой на себя роли, произносит фразу языком барышни, то тут же спохватывается: «Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась» — замечает автор. Каким же образом она «поправилась»? Исключительно средствами лексики и синтаксиса. У пушкинских крестьян — свои слова и своя расстановка последних. Но те слова, которые они произносят, и а п и с а н ы Пушкиным точно так, как они изображены, и в том случае, когда их употребляют герои высшей социальной категории.

И тем не менее трудно сказать, была ли эта фонетика умышленно или бессознательно передана Пушкиным. Впервые, и сам Пушкин писал часто так, как говорил: щастлив, Чедаев, молодова и т. д., при чем делал он это не потому, что в ту пору так предписывала грамматика, и не потому также, что в этих случаях Пушкин сознательно игнорировал существующие грамматические правила. Дело гораздо проще: он ошибался. Уже в конце 20-х или в начале 30-х годов он писал: «Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах пять грамматических ошибок (и справедливо); я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место. Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти так, как пишет Гоголь». Общеизвестно, что так называемое «высшее общество», из среды которого выходили писатели, было искушено в тонкостях французского языка, русская же грамматика находилась у него в загоде. Но именно поэтому-то их начертание приближалось в ряде случаев к фонетическому: писали так, как подсказывало произношение. Это обстоятельство не дает возможности ответить с полной уверенностью, по какой причине в иных случаях у Пушкина разговорная речь изображена с теми или иными фонетическими акцентами: потому ли, что таков был его умысел, или же просто это отражало его субъективную грамматику. Во всяком случае, если Пушкин и пола-

гал, что при передаче разговора следует в иных случаях изображать и фонетические акценты, — хотя это и маловероятно, потому что такие формы, как «молодова», «щастье» и т. д. мы встречаем и в его частных письмах к Вяземскому и другим, — то уж ни в каком случае не допускал он с о щ и а л ь н ы х фонетических акцентов, т.-е., как указано выше, нет разницы в начертании одинаковых слов, употребляет ли их в речи Савельич или Гринев, кузнец Архип или Троекуров. Такова была неизменно его практика. Какова была в данном отношении его теория — и была ли у него она по этому вопросу, — мы не знаем: на этот счет ему не довелось высказаться. Но при том чувстве языка, каким он обладал, при его остром интересе к вопросам стиля и формы, наконец при том высоком мнении, какое он имел о разговорном народном языке, который, по его словам, «достоин глубочайших исследований», трудно допустить, чтобы пушкинская практика не опиралась в этом случае на продуманную теорию.

Как ниже будет указано, у некоторых наших позднейших классиков пушкинская система передачи разговора средствами лексики и синтаксиса, а не фонетики была уже безусловно сознательна, теоретически обоснована. Сущность этого станет нам яснее на фоне ряда примеров применения второго приема реалистического изображения разговорной речи крестьян и рабочих, который я называл приемом фотографирования фонетики и который сделал обширные завоевания как раз в современной нам художественной литературе.

III

Чтобы читатель убедился в том, что мы имеем здесь дело с определенным течением и притом довольно широким, я приведу в этой главе более или менее значительное количество выписок из произведений современных наших художников, принадлежащих к различным группировкам, иллюстрирующих указанное применение приема фотографирования фонетики.

«По моему мнению, пускай берут Бруски» («Б р у с к и» Ф. П а н ф е р о в а, стр. 19).

«Как слобода у нас, так пускай каждый по-своему дело правит» (ib. 19).
 «Прятать куда хошь нады» (ib. 24).
 «Бают... может, и так, нарошна... в Илим-городе советкай власти башку уже свернули» (ib. 26).
 «Три тыщи — верна! — подтвердил Чухляев, — и шеснадцать цолковых» (ib. 32).
 «Ну, вот ище глаза вылупила!» (ib. 41).
 «Эх, лутчи бы и не просыпался» (ib. 74).
 «Будет тее» (ib. 83).
 «Да-а-а што тут. Чево завидовать? Трудом ба... а то ведь сметанку где слизнул — ну, и... тово... Неча завидовать» (ib. 87).
 «Шут тея дери» (ib. 141).
 «Намеднись тинжал астрейский украл» (ib. 142).
 «Губернатыр», «ристоран» (ib. 152).
 «Тыщу уш раз сказывали» (ib. 237).
 «Гарнизоваться нады иль што» (ib. 245).
 «Плюнь сее в...» (ib. 329).
 Приведенные примеры не являются исключением в книге Панферова, — это лишь типические образчики обычного приема.
 «Колготит, грю, мужиков, кааянный, грю, мужик» (Сергей Жданов, «Мартемьяниха», Гиз, 1927, стр. 92).
 «Нету, тах-та не можно. Мир поставил, мир сказал с моего сугласу. Как-жа ж мы без сугласу» (ib. 94).
 «По гроп не забуду» (ib. 111).
 «Учительшу — сиклетарля — Наталь Митровну на свою сторону оборотить» (ib. 118).
 «Тетк Дарь, иде сам?» (ib. 180).
 «Дехрета така вышла на станцию, Кундарей станция. Штоб хлебушак к строку. Строки ни седни — завтры» (ib. 182).
 «Грила, Наталь Митровна, не ввязывайси в ту делу, не мирская ты радельничка. Выскакнула бы за Коську, блага старик изьявил суглас» (ib. 187).
 «Внучка навязала щетч и краюху хлеба» (ib. 188).
 «Бох помощь тебе» (П. Замойский, «Лебеда», повести и рассказы, стр. 24).

«За фершелицей надо бы сгонять». «Хыть бы у кого какую-нибудь завялящую». «Да разь жалко, што ль» (ib. 25).

«Чижало тебе будет, мужик» (ib. 38).
 «Присядатель», «сиклетарь» (А. Дорогойченко, «Кандидаты», стр. 21).

«Только смотряй, чур не плакать». «Волка когда еще пумашь» (ib. 93).

«Чихотошный» (ib. 115).
 «У няво рак в желудке». — «В башке у няво рак, а не в жалудке» (Его же, «Живая жизнь», см. «Земля советская» № 10, 1929 г.).

«Даржи карман», «Капказ», «Кажну почтву», «А то што у нас хучь с агромоном? Чего он делат?», «Ученый челэк» (ib.).

«Рассходишь, робя! Неча проклажаться» (Алексей Тверяк, «Ситец», стр. 11).

«Должно всурьез взялся. А приехать беспременно к субботе должен» (ib. 36).

«Поди, пособи сандук вынесь» (ib. 50).

«Анвалид» (Яков Коробов, «Катя Долга», стр. 12).

«За што, мол, про што я жисти решился?» (ib. 13).

«Никакого резонта нет» (ib. 16).
 «Ерманец — ать, он беда» (ib. 17).
 «Надо бы в чувство привести» (ib. 19).

«На мой бы карахтер». «Непривышны мы к этому» (ib. 20).

«Способие выходит» (ib. 22).
 «Обещал целую торбу канфет привести» (ib. 23).

«Карасин есть ли» (ib. 36).
 «Нет уж, низвините» (ib. 42).
 «Микефор Ондreich» (ib. 46).
 «Ты не очунь покрикивай» (ib. 49).

«По нонешнему времю торговля тоже — имей свое удовольствие, никакого припента от нее» (ib. 50).

«Ты иху сторону держишь» (ib. 60).
 «Они как начнут пасалтырь, дак только потшшитывай, сколько в анбаре хлеба» (И. В. Волнов, «Встреча»).

«Убить грозитца! На ково я детенышей спокину? О-о-ох! Ронные, приберите ево, штобы глазыньки мои не видели» (И. В. Никитин, «Уклон», повести, стр. 62).

«Словно ссакунешник (?) деревню-то растревожил» (ib. 109).

«В город бы я уехал на завод, а ево на ково оставить? Что ты в городе будешь делать?—Што-нибудь» (ib. 130).

«Сдорово», «ишто?» (ib. 107).

«Ище-бы!» (ib. 140).

«Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у мене земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили». (Л. Сейфулина, «Перегной», стр. 12).

«Приказ есь» (ib. 28).

«Светат никак... К стенке лягешь ли, чо ли?» (ib. 33).

«Да уж чо, весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!» (ib. 48).

«А може, проловка кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны...» (ib. 102).

«Шашаш!» «Каке ноги есь, тоими и шагаю!» (ib. 117).

«Та на што же ее, скажи мне на милость, бить?» (Ляшко, «С старою», стр. 55).

«Мужика антирес взял: што, дискать, такое?» (ib. 104).

«Хуть и царь ты, а токо, вижу, не мужицкай» (ib. 105).

«За тебя распишится сиклятарь мой» (А. Каравеева, «Флигель», стр. 56).

«Все по хворме было» (ib. 56).

«Каператив» (ib. 68).

«Шашнадцать» (Н. Кочин, «Девки», стр. 35).

«Исперва» (ib. 109).

«Емнастику» (ib. 17).

«Калера» (ib. 11).

Совершенно не приходится охотиться за подобного рода примерами. В той или иной мере прием фотографирования фонетики применяет если не громадное большинство, то во всяком случае весьма значительное число современных писателей, принадлежащих притом ко всевозможным литературным группировкам, — попутчики, крестьянские писатели, пролетписатели и т. д. Перед нами таким образом определенная художественная тенденция, еще правда не канонизированная в смысле теоретического обоснования, но зато с каждым днем

укрепляющаяся на практике, что в области художественного творчества всегда гораздо важнее. И, что еще характернее, практика эта если и не нова принципиально, то нова как явление прогрессирующее.

IV

Если мы снова теперь обратимся к практике виднейших представителей литературы второй половины XIX и начала XX века, то убедимся, что указанный прием почти всегда имел специфическое применение. Единственный случай постоянного, так сказать, принципиального его применения крупным писателем известен мне лишь как исключение и притом чрезвычайно характерное, о котором ниже. Как правило же, крупные писатели к нему не только не прибегали, но, напротив, совершенно недвусмысленно отвергали его как негодный, как фальшивый, в иных случаях даже прямо об этом заявляя.

Чрезвычайно поучителен в этом смысле Толстой с его едва ли не беспримерным чутьем к малейшей фальши в языке. Разговор его мужиков резко всегда отличается от разговора людей других социальных категорий, но никогда он не прибегал для этого к фотографированию фонетики, а исключительно лишь к подбору характерного материала речи и к своеобразию в складе ее, к «лепке» речи. Когда его Каратаев говорит: «Жили хорошо. Христьяне настоящие были», — то этот случай точного копирования выговора имеет у Толстого определенное «достаточное основание» внутреннего значения, специально впоследствии оговоренное. «Когда он рассказывал, — замечает Толстой, — то преимущественно рассказывал из своих старых и видимо — дорогих ему воспоминаний «христьянского», как он выговаривал «крестянского», быта».

В какой мере сознательно враждебно относился Толстой к «точному» воспроизведению мужицкой речи, можно наблюдать в «Двух стариках», на тех страницах, где описывается, как старики «пришли в хохлатчину». Когда Елисей Бодров впервые заговаривает в голодающем селе с жителями, то реплики последних в рассказе даны по-украински: «Чого тобі треба? Чого треба? Нема,

чоловиче, нічого», «Нема чоґо й взяти. Іди собі». «Хліба, бабуся, хліба» и т. д. Однако, как только старику приходится вступить с этими украинцами в более длительное общение, как только им приходится подолгу беседовать, Толстой, показав образ речи украинцев, сразу же это оставляет, и та самая старуха-украинка, которая только-что сказала на чистом украинском языке: «Чоловік на дворі помира, а мы тутечки», — на этой же самой странице продолжает чисто по-русски: «Воды бы принести. Хотела я — вчера ли, сегодня, уж и не помню — принести, упала, не дошла, и ведро там осталось, коли не взял кто». И впоследствии в рассказе, когда второй старик возвращается из Иерусалима и заходит в то же украинское село, девочка зазывает его: «Дід! дідко! до нас заходь» и тут же, рядом, та же девочка вступает в разговор: «Нет, бабушка, он прежде сюда посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал». О том, что среди действующих лиц рассказа такие-то и такие-то — украинцы, которые говорят в таком-то «ключе», Толстой сказал; остальное он возлагает на конструктивное воображение читателя.

Насколько универсален этот принцип у Толстого, видно из того, что точно так же он поступает даже в тех случаях, когда выводит представителей других национальностей. В «Хаджи-Мурате» он позволяет Хаджи-Мурату лишь несколько слов сказать ломаным языком, — все же длинные его речи, имея специфический, свой строй и склад, в смысле выговора слов совершенно чистые. Еще характернее это же самое явление наблюдается уже в первом его произведении — в «Детстве». Здесь Карл Иваныч говорит либо по-немецки, либо чисто по-русски (в фонетическом отношении). А в какой мере сознательно поступает так Толстой еще на заре своей творческой деятельности, дает нам возможность убедиться лишь недавно (в юбилейном издании) опубликованный черновой вариант «Детства». Здесь, после какой-то реплики Карла Иваныча на чистом русском языке, автор замечает: «Он говаривал всегда вы и по-русски, когда сердился, и говорил очень дурно. Но я, приводя его речь, не коверкаю слов, как он коверкал, потому

что такого рода коверканье ничего мне не напоминает, кроме плоских рассказов про немцев, которые беспрестанно все рассказывают, и все слушают с стыдом за тех, кто рассказывает». И тем не менее читатель все время слышит говор немца даже в его русских речах. Чем это достигается? Во-первых, какими-то неуловимыми оттенками в складе его речи. Во-вторых, тот письменный счет, который Карл Иваныч подает отцу героя, уже не сглажен, и в нем мы читаем: «Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках — 6 р. 55 копек» и т. д. Это Толстой считал допустимым, хотя бы уж просто потому, что здесь фотграфия достигает своей цели вполне, точно передавая документ. В устной же речи это и невыполнимо (как увидим дальше), и ненужно с точки зрения изобразительных целей.

Итак, Толстой не допускал фотографирования фонетики в передаче не только обычной русской речи, но и речи представителей других национальностей, и — что особенно характерно! — единственный случай, когда он к этому приему прибегает, это, когда он передает бытово-уродливую речь. Так, в «Плодах просвещения» мы слышим речи трех мужиков. Все они в высшей степени индивидуализированы, но как? У двух — обычным путем передачи особенностей только склада речи. Нервный, робкий и суетливый, так называемый 3-й мужик, передавая деньги за землю и обещая прилату доставить позднее, говорит, заикаясь: «Уж это будь в надежде, себя заложим, а того не сделаем, чтоб как-нибудь, а скажем, как-никак, а чтобы, скажем, того... как должно». 2-й мужик, «грубый и правдивый» по ремарке автора, о том же самом говорит так: «Четыре тысячи получи денежки теперь, значит, а остальные, чтоб обождать». 1-й же мужик, который «ходил старшиной, полагает, что знает обхождение с господами, и любит себя послушать», — свою речевую индивидуальность проявляет не столько в складе (вернее, в отрицательных его моментах, в сумбурности склада) речи, сколько в произношении. Именно его-то фонетику и копирует Толстой, так что та же фраза о деньгах звучит у него

так: «А приплату предлагает мир, чтоб, как летось говорено, рассрочить, значит, в получении в наличностях, по законам положений, 4.000 рублей полностью». У него, что ни слово, то «двистительно», «хворменно», «исделала», «из музыкантшиков» и т. д.¹⁾ То же и в пьесе «От ней все качества», где деклассированный прохожий употребляет словечки в роде «ливорвер», «аграмарный вопрос», «пердагогия», «енерция» и т. п. Именно в этих случаях, когда требуется передать речь, отступающую от нормы, изломанную, изуродованную, Толстой прибегает к приему фотографирования фонетики, да и то в пределах весьма ограниченных по сравнению с тем, как тот же прием применяется часто в современной литературе. Так например даже и в передаче речи 1-го мужика из «Плодов просвещения» или прохожего из «От ней все качества» Толстой пишет такие слова, как «что», «конечно» и т. д. обычным образом, а не «што», «ково», «конешно» и проч.

В высшей степени ясна и поучительна в том же вопросе позиция такого громадного мастера и реформатора в области стилистической работы, как Чехов. Если мы возьмем его ранние, юношеские вещи, то именно в них мы и обнаружим случаи фотографирования фонетики. Например в очерке «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», написанном в 1880 г., т.-е. на заре литературной работы Чехова, мы читаем такой монолог некоего Пантелея: «В городе есть судья Петр Иваныч... Я у них, годов десять тому назад, в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то-есть, а как подвыпивши, то бережись. Бывало, как придут подвыпивши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом, самом месте, коли не верите. Да и меня за компанию» и т. д. В этих первоначальных очерках то и

дело попадают такие начертания, как «комплекция», «жисть» и т. д. Но уже в конце 80-х годов от манеры этой не остается и следа. Если мы возьмем такую обдуманную, зрелую и бесконечно отшлифованную и в то же время суровую вещь, как «Мужики», то здесь мы обнаружим в передаче мужицкой речи все тот же конструктивный прием, ищущий правдивого звучания речи в изображении особенности ее склада, а не точности ее фонетики. Единственный случай, когда Чехов ищет выразительности в особенностях не склада, а фонетики, поразительно аналогичен с примером речи 1-го мужика из «Плодов просвещения». А именно: не мужицкую речь счел нужным фотографировать Чехов, а полицейскую, при чем резко подчеркнул это. Когда пристав забирает у старика Чикильдеева за недоимку его имущество, а старик указывает на свою бедность, пристав говорит: «Я не понимаю, зачем ты это все говоришь. Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечаю?»

Чехов повторил фразу и в ней выделил курсивом эту фонетическую гримасу полицейского пристава. Она действительно необыкновенно выразительна. Только один Чехов умел таким легким поворотом пера зарядить положение социальным содержанием и сообщить ему резкую эмоциональную игру. Ведь в этом «я тебе спрашиваю» совершенно отчетливо слышится и презрение пристава к мужику, и презрение Чехова к приставу! Ведь совершенно очевидно, что обращаясь пристав к равному себе, он сказал бы: «я тебя спрашиваю». В данном случае, подобно умышленной порче речи в разговоре с ребенком, когда, снисходя к нему, инфантизируют грамматику, пристав, презирая мужика, не устаивает его правильного, как со всеми людьми, слова, а коверкает специально для мужика. Именно потому-то Чехов и подчеркнул эту особенность, что она — уродство.

¹⁾ В pendant к этому припомним пылающую патриотизмом Жюли Карагину-Друбецкую, которая пишет к Марии Болконской: «Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору». «Мы проводим время, как можем; но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною желье дни, и мы, несчастные вздоы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры» и т. д.

Ту же самую тенденцию ухода от приема фотографирования фонетики мы обнаруживаем у Чехова при сличении различных редакций одной и той же вещи, при чем позднейшая редакция всегда, как правило, в этом смысле строже

и чище, чем предыдущая. В первоначальной например редакции «Унтера Пришибеева» (1885 г.) таких фонетических «снимков» еще довольно много. Когда Чехов в конце 90-х годов редактировал этот очерк для полн. собр. своих сочинений, изданного впоследствии Марксом, он всюду их вычеркнул: вместо «допускать» он поставил «дозволять», в первой редакции Пришибеев говорит: «Я в Питинбурге служил», в последней: «Я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил» и т. д.

Для нашей темы особенно важно то обстоятельство, что эта «практика» Чехова, уже одна стройность и последовательность которой дает чувствовать в основе своей большую продуманность, действительно опиралась на твердое принципиальное основание. Так в 1889 г., давая в письме к брату Александру советы относительно пьесы, над которой тот работал, Чехов предупреждает: «Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без пушай и без теперича». Тремя годами позднее, получив от драматурга Е. П. Гославского пьесу с просьбой дать об ней отзыв, Чехов, почти всегда в подобных случаях ограничивавшийся суммарными комплиментами, сопровождая их изредка немногими конкретными указаниями на якобы незначительные промахи автора, на этот раз с несколько необычной резкостью останавливается на приеме Гославского, сводящемся именно к фотографированию фонетики крестьянских персонажей пьесы, и дает ему чисто чеховское, сжатое, выразительное, простое и своеобразное определение: «Мы-ста» и «шашнадцать» сильно портят прекрасный разговорный язык. Насколько я могу судить по Гоголю и Толстому, правильность не отрицает у речи ее народного духа. Эти «мы-ста» и «шашнадцать» производят на меня всегда впечатление *mouches volantes*, которые мешают смотреть на ясное небо. Какое-то излишнее и досадное впечатление».

Мы видим таким образом с полной ясностью, что Чехов не только отошел от приема фотографирования фонетики, применявшегося им в первые годы литературной работы, но что сделал он это совершенно сознательно, обдуманно, так

сказать, в порядке преодоления этого приема как негодного.

Еще один великий мастер в области стиля, о приемах которого хотелось бы здесь упомянуть, — это Лесков. Его нельзя обойти в нашей теме уже в силу того, что именно на него могут сослаться сторонники фотографирования фонетики как на своего патриарха, что совершенно неверно.

Языковая работа Лескова была необычайна по упорству, кропотливости и тонкости, и недаром о языке некоторых своих героев он говорил, что «собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях». Надо однако хорошенько усвоить себе то положение, что никогда Лесков не мыслил в данной области роли писателя как своего рода фонетического кодака: «схватывая на лету», «подслушивая», «собирая» слова и словечки, Лесков отнюдь не ограничивал при этом роли писателя обязанностью передать в неприкосновенности весь этот материал. Нет, это был именно только материал, материал прежде всего для самого художника.

В начале этой статьи я уже указывал, как мало считался Лесков с соображениями «правдоподобности» и точности в «Левше», присваивая англичанам такие словечки, как «Твердиземное море» и т. д. Скажут: это он позволял себе лишь в лубке, где гипербола — существенная черта стиля.

Однако это не так. Конечно в лубке это преобразование словесного материала было особенно велико, но и в других стиливых формах Лесков ни в малой мере не усматривал идеала в том, чтобы живую речь передавать в виде какой-то фонограммы, а лишь в том, «чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению». Это он называл «постановкой голоса у писателя», которая «заключается в умение овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с алтов на басы». «О в л а д е т ь г о л о с о м и я з ы к о м» героя — это, разумеется, не только совершенно не то, что подчиниться языку героя, рабски его копируя, а даже прямо противоположное,

в такой же мере противоположное, как работа художника противоположна работе фотографа.

В самом деле. Если мы возьмем самые виртуозные, знаменитые страницы Лескова, где его герой в естественной разговорной речи дает живую картину, то в этих классических образцах речевой живописи мы не найдем ни малейших признаков приема фотографирования фонетики. Это — чистейшая лепка склада речи, в которой мы звуки голоса говорящего конечно отчетливо слышим, но «слушаем» не ухом, а воображением, совершенно подобно тому, как мы «видим» образы словесного искусства. Я отсылаю читателя к одной лишь страничке «Запечатленного ангела», где рассказчик рисует два идеала женской красоты.

Речь в ней насыщена не только национальным, но и социальным колоритом, — не зная, кто ее произносит, все-таки по одному этому короткому отрывку не припишешь ее ни чиновнику, ни интеллигенту, ни военному и т. д. т.-е. ясно почувствуешь социальную принадлежность говорящего (каменщик по профессии, старообрядец). Более того, читая, именно слышишь звук голоса, чувствуешь выговор и т. д. И вот этот-то идеал писательского мастерства, когда «часть» дана с такой определенностью и яркостью, что за нею раскрывается и «целое», достигнут исключительно лексикой и синтаксисом, а не фонетикой, подбором и сочетанием слов, инструментальной, а не звукоподражанием. И точно то же мы обнаружим положительно во всех знаменитых речевых шедеврах Лескова: описание «очарованным странником» цыганского танца, его же два описания лошадей и т. д., и т. д. Замечательно при этом, что та задача, которую ставит себе прием фотографирования фонетики, разрешается художниками, практикующими прием условного конструирования, так сказать, попутно, этот результат получается у них как «побочный продукт» производства. Было бы ошибочно считать, что Толстой, Чехов или Лесков, строя речь своего героя, считали ненужным или маловажным давать представление о его произношении. Лесков прямо указывал, что «внимательно и много лет прислу-

шивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения». Но они достигали этой цели только так, как это диктуется самой сущностью художественного творчества, избегающего копировки в силу того, что оно стремится быть суггестивным, многозначным, в противовес однозначной фотографии. Если говор героя «дойдет» до читателя, то читатель «услышит» и его произношение. И пусть поэтому какое-нибудь слово, произносимое Пьером Безуховым и Платоном Каратаевым, начертанное в книге совершенно одинаково, — звучит оно в наших ушах различно. Был бы образ живой, а уж читатель своим воображением дорисует мелкие (да и крупные) детали его произношения и не заподозрит ни французского прононса у Платона Каратаева или Акима из «Власти тьмы», ни «таё-таё» у князя Нехлюдова или Стивы Облонского. Об этом можно беспокоиться не больше, как о том, чтобы от кипящей воды отделялся пар: тут только за тем и «остановка», чтоб «вода закипела», а уж пар сам будет отделяться...

Итак, три могучих представителя художественно-словесного мастерства, принадлежащих к различным эпохам литературного творчества и к различным социальным категориям, оказались солидарными (в теории и на практике) в своем отношении к указанным двум приемам передачи живой речи.

Это конечно чрезвычайно важное и убедительное обстоятельство. Но справедливость требует отметить, что русская литература знает один случай систематического применения очень сильным художником именно того приема, который отвергался Толстым, Чеховым и Лесковым и который сейчас завоевал себе столько adeptов. Я имею в виду Ивана Бунина.

Да, как это ни странно (а странно это лишь на первый взгляд), именно у этого большого мастера в речах его мужиков мы во множестве встречаем такие выражения, как «будя, бряхучий! Будя, бястыжий! Старый человек, а щобреша! Табе вон на кладбищу поместье давно готовало!», такие стилистические фонограммы, как «зеркало», «жербий», «вспрашиваю», «крипива»,

«исделали», «зук» (вместо «звук»), «энто», «чепь», «квартира» и т. д., и т. д., хотя все-таки не находим всех этих «што», «конешно», «ково», «чево», — для этого Бунин все-таки слишком тонкий художник.

Таким образом позиция сторонников фотографирования фонетики оказывается «укрепленной» принадлежностью к их лагерю сильного художника. Это конечно факт, с которым необходимо считаться. Однако при достаточно внимательном отношении к вопросу «подкрепление» это не только теряет свое значение, но и прямо обращается в собственную противоположность. Мы это в свое время увидим, пока же займемся хотя бы беглым анализом целей, причин и следствий применения указанного приема вообще, в современной художественной литературе в частности и в особенности.

V

Цель у художника, копирующего выговор своего героя, ясна: передать своему читателю этот выговор в полной неприкосновенности, выполняя при этом роль как бы граммофонной пластинки. Именно граммофонная пластинка и является идеалом такой звукописи.

Оставим на время в стороне вопрос о качестве этой цели, — достижима ли она? Достижим ли этот идеал?

Безусловно недостижим. Не только наука, но просто повседневная и ежедневная практика убеждают нас в том, что буквы алфавита являются крайне бедным средством для передачи всевозможных речевых оттенков. Всякая попытка точно передать имеющимися в нашем распоряжении буквами живую речь обрекает либо на бесплодные усилия, либо на фальшивую подделку. И если к имеющимся в алфавите буквам «тонам» добавить согнню-другую буквополутонов, — дело от этого мало выиграло бы, потому что слишком безгранично индивидуализировано то, что требуется здесь передать. Не говоря уж о том, что есть звуки, весьма распространенные и очень определенно звучащие в речи, для передачи которых нет даже приблизительных буквенных аналогов (попробуйте например записать, как произносится слово «приезжаю»: в

нем выпадет «з», а после «ж» очень твердо звучит какая-то несуществующая и непередаваемая буква), не говоря о бесчисленном количестве личных особенностей произношения, — как передать эти, тоже бесчисленные, оттенки национальных и областных звучаний? Самое простое, простейшее слово, в роде «мама», до такой степени иначе звучит в разных языках (хотя буквенные элементы его совершенно одинаковы у всех), что русский например крестьянин не уловит его как знакомое слово в беглом говоре немцев или французов. И не требуется обладать слишком изощренным слухом, чтобы уловить, что даже это самое простейшее «мама» совершенно иначе звучит не только в устах украинца, великоросса и белоросса, но например в устах туляка и нижегородца. И эти различия звучания необычайно велики, гораздо значительнее, чем кажется художникам, пытающимся эту многообразную музыку заковать в тридцать букв алфавита, звучащих у всех тоже по-разному. Ведь грамматика одна и та же от Перми и до Тавриды, и буквы в азбуке те же, а музыка речи порой в соседних селах совершенно иная. Более того, в одном и том же месте, как указывает Д. К. Зеленин, например в Вятском крае, у мужчин преобладает чоканье, а у женщин цоканье. И исчерпать тридцатью грубо условными нотными знаками алфавита все это необъятное море звукового богатства можно никак не с большим успехом, чем если бы пытаться весь видимый мир передать строго ограниченным применением каких-либо тридцати красок. Ведь достаточно привести любую запись речи, более или менее приближающуюся к фонетической, чтобы стало ясно, во-первых, насколько это непреодолимо для чтения, и, во-вторых, насколько «отстают» от фонетической точности добивающиеся ее беллетристы. Вот например две фразы из записи Д. Н. Ушакова:

«Пр'ишла важн'ія мыш ыз гор'да к прастой мышы. Прастаіа мышылà ф'апол'я».

Мне вероятно возразят, что современные сторонники «точной» передачи говора и не пытаются так уж тютелька в тютельку скопировать живую речь, —

они лишь идут в данном направлении дальше других, и только.

Это конечно справедливо, но все дело именно в направлении, в принципе. Факт тот, что они стремятся уйти в этом направлении как можно дальше. Но так как самый идеал этот порочен, то он мстит своим последователям как раз тем, что практику этого приема делает беспринципной. Если звукопись в передаче разговора чеховских например мужиков ничем не отличается от общепринятой, от общих грамматических форм, — то это как раз вытекает из его теоретического положения о недопустимости разных «мы-ста» и «шашна-дцать», это, другими словами, совершенно принципиально. Но если например у Панферова в «Брусках» мы встречаем «ресторан», то ведь совершенно законен вопрос, почему уж в таком случае не «ристаран», что вероятно ближе к «идеалу» точной передачи? Почему «шестнадцать цолоковых», а не «шесна-цать цолоковых»? А насколько все это сбивчиво, насколько все принципиально-беспринципно, можно судить хотя бы по таким примерам, как у того же Панферова в «Брусках» на 49 стр.: «власть, значит, ево», а на 50 стр.: «на осину яво», или на стр. 21: «Шгооо? — крикнул Егор Степанович» и «Ну, что? Вижу, — повернулся Егор Степанович». Почему один и тот же Егор Степанович «крикнул» што, а «повернулся» что, — кто это обьяснит? Почему у Замайского поп говорит: «какова это? Девятова? Кхе... штошь, окстим и девятого». И вот мы недоумеваем: этим отличим «девятого» во втором случае от «девятова» в первом хотел автор передать какой-то оттенок в говоре попа или это просто так, случайно, нехватило терпения выдерживать «принцип» до конца? Или наконец во втором случае, может быть, просто корректор взял да и исправил?

Таких примеров можно привести бесчисленное множество. И если в одних случаях такого рода невыдержанность имеет, как увидим дальше, определенный социальный корень, то в других — это *testimonium paupertatis* самого приема, это обнаружение его беспринципной сущности, его органической порочности. Если спросить у Панферова,

почему на стр. 83 «Брусков» один раз написано «тижоло», а в другой раз — «тижело», то вероятно он ответит: разве это важно? Что же важно? То, что в обоих случаях не просто «тяжело»? Почему у Михаила Карпова в романе «Пятая любовь» герои его говорят «убязательно» и «дайкось пшенисенькова», а не «убизательно» и «дайкась пшаниснинькова», или еще как-нибудь, — этого никто не скажет именно потому, что для подобного рода сюсюканья единственный принцип — это прихоть и случайность.

VI

Итак, цель, которую себе ставит этот прием, даже приблизительно недостижима. А между тем результаты самого стремления к этой цели, движения в данном направлении в высшей степени отрицательны.

Первое важнейшее и самое гибельное следствие копирования писателем фонетики — это отказ от творческого подхода к задаче художественного воспроизведения живой речи. Ясное дело, что фотографирование освобождает от лепки, от совершенствования чисто творческих, многозначных, художественных приемов передачи говора. Всему этому просто нет места там, где якобы имеется граммофонная пластинка с якобы точным отпечатком речи.

Но ведь мы только-что видели, что и пластинка-то эта — миф, самообман! И таким образом получается, что художник отказывается от творчества даже не во имя фотографии, а во имя фальшивки, фотографию заменяющей.

Это может показаться преувеличением лишь на первый взгляд. Возьмите любой простейший пример якобы «точного» звукоподражательного воспроизведения фонетики, проанализируйте его, и получите совершенно беспорядочный результат: художник ради явно невыполнимого и по существу вредного дела отказывается от своего прямого и богатейшего испытанного орудия.

Вот один, первый попавшийся, но достаточно яркий выразитель всей нелепости данного положения. Петр Ширяев, этот интересный и яркий художник, в рассказе «Хмель» передает разговор двух собеседников:

« — Чего хорошего скажешь, а?
— Хорошего ничего нету».

Начнем с того, что, как иначе и быть не может, «прием» не выдержан: почему «чево» и «ничего», но при этом «хорошего», а не «хорошево»? Кто бы ни были собеседники, не подлежит сомнению, что произносят они либо так, как обычно произносят русские, т.-е. «хорошево», либо, если это не русские и произносят они «хорошего», то в таком случае уж и «чего», «ничего», а не так, как мы читаем у Ширяева.

Но допустим, что писатель просто не доглядел (а доглядеть-то при этой мертвой мелочной копировке и нельзя). Что мы имеем в данном случае, если даже игнорировать эту непоследовательность?

Имеем мы вот что: цель копирования — передать в неприкосновенности все звуковые оттенки говора. Казалось бы, при чтении вслух таким приемом записанной речи количество «оттенков» должно быть больше, нежели при чтении ее глазами. Оказывается, как раз наоборот! Пусть даже сам автор прочтет вслух обычно, с обычным произношением, фразу: «чево хорошего скажешь», и никакому слушателю в голову не придет, что в этом «чево» есть какой-то звуковой оттенок. Стало быть:

1. Это звуковой оттенок не для слуха, а для зрения.

2. Разговорная речь, изображенная приемом копирования произношения, при чтении вслух не только не обогащается оттенками, как это должно быть, но даже теряет их.

Другими словами — перед нами в результате применения данного приема какой-то *pensens*, какая-то явная нелепость: грампластинка, которую надо... слушать глазами! Устная речь, которая утрачивает свои «особенности» в устной передаче!

Писатель вместо «что» написал «што», — этим он обманул не только читателя, который в звуковом отношении в обоих случаях получил одно и то же, но обманул и себя: ему кажется, что он что-то «передал», между тем как передал он пустое место. И точно того же свойства и порядка все эти «пшениськова», «конешно» и т. д. Не внося в образы тех, кто их произносит,

ни единой уясняющей, живой, изобразительной черты, они усыпляют внимательность художника к самому себе, они освобождают его от такого громадного, трудного, ответственного, но благодарного дела, как культивирование методов и приемов художественного изображения живой речи, как творческая, толстовско-лесково-чеховская лепка самой структуры, самого склада речи. Иными словами, между изображением фонетических особенностей и особенностей склада речи устанавливается обратная пропорциональная зависимость.

Но это лишь то острие, которое направлено в сторону писателя. Другое направлено в сторону читателя, и оно вредно не менее первого. Этот прием фотографирования фонетики служит одной из главнейших причин создания той корявой и шершавой неудобочитаемой литературы, которую не читаешь, а преодолеваешь, которая вызывает резкие и безусловно справедливые протесты массового читателя. Надобно научиться игнорировать, научиться не видеть в процессе чтения все эти стилистические кочки и ухабы, надо вырваться из этого вязкого и тягостного плена букв, чтобы воспринимать то, что читаешь, воспринимать именно как художественное произведение, а не какой-то фонетический и притом порочно составленный словарь.

Еще года четыре назад, когда по почину МГСПС стали происходить встречи и беседы писателей с организованными читателями, со стороны последних раздались требования на удобочитаемую литературу. «Пишите гладко, ну хоть так, как Толстой писал» — так по форме наивно, но по существу правильно и метко заявила на собрании в МГСПС одна работница-делегатка. Дело здесь конечно не в требовании толстовского умения, а в требовании толстовской простоты. И в данном случае уже невозможен отвод этого требования из тех соображений, что-де простота в представлении мало развитого читателя равнозначна убогости, что читатель должен подыматься до усвоения высших форм искусства, а не наоборот — искусству опускаться до читателя и т. д. Невозможен отвод из этих соображений потому, что в данном случае

читательница выставила такой критерий, до которого подыматься-то надо как раз искусству, и право же с точки зрения эволюции формы не будет большим преступлением, если гг. Панферов, Сейфуллина, Карпов, Жданов, Замойский, Дорогойченко и др. «опустятся» и станут писать «гладко», как Толстой.

Сейчас же происходит то, что читателю ставится искусственная препона на пути его овладения современной литературой,—в какой-то мере этот прием фотографирования фонетики создает для рабоче-крестьянского читателя лишние плюсы в пользу классиков и переводной литературы.

Что касается первого, то я весьма далек от того, чтобы скорбеть по поводу успеха вообще классиков в широких читательских массах. Но та «доля» этого успеха, которая должна быть отнесена за счет отрицательного отношения к текущему художественному творчеству, есть безусловно нездоровое явление. Это своего рода вынужденный консерватизм, в основе которого в сущности нет ни малейшего тяготения к консерватизму как таковому; напротив, в корне его заложен прочный здоровый вкус к простоте в искусстве — и только.

Однако, если в данном случае реакция читателя включает в себе нечто ценное — обращение к классикам, то обращение к переводной литературе имеет совершенно иное значение. Именно с точки зрения той школы литературного вкуса, какую в данном случае проходит читатель.

В том нет беды, что рабочий читатель ищет в переводной литературе сведений и живых картин из жизни за границей, напротив, это естественно и здорово. Но если он ее читает также отчасти и потому, что она «удобочитаема», то это явление безусловно отрицательное. Потому что, каково значение этой удобочитаемости? В чем она выражается? Чем она достигается?

На все эти вопросы ответ один: обезличенностью, т.-е. тем, что равно убийственно для искусства и для воспитания вкуса к искусству. Удобочитаемость в переводной литературе — это гладкость клише, гладкость уничтожения переводом стилистического своеобразия подлинника, гладкость убогости, пош-

лости и бесформенности в точном значении этого слова.

Такова сумма последствий широкого применения приема фотографирования фонетики в современной художественной литературе. Нам остается теперь рассмотреть главнейшие причины, толкающие художников на этот прием, чтобы подвести некоторые итоги.

VII

Таких причин можно указать несколько, но мы остановимся лишь на главнейших.

Возьмем простейший пример речевого фотографирования, допустим, это будет слово «что», которое последователь приема копирования произношения напишет так: «што». Какие для этого могут у него быть мотивы?

1. Это прежде всего может быть сделано бессознательно или сознательно из подражания другим писателям. Если глаз писателя, особенно молодого и начинающего, привык часто встречать в книгах это «што», то он может либо бессознательно усвоить эту же форму для аналогичных случаев, либо даже умышленно ей следовать.

2. Это же самое «што» может быть суррогатом художественной лепки живой речи, другими словами — результатом неумения писателя овладеть ее складом, ее лексикой и синтаксисом. Писатель чувствует, что у крестьян этот склад своеобразен, но он для передачи своеобразия либо не в том направлении ищет соответственных приемов и полагает, что секрет здесь именно в этих «што» и «конешно» («мы-ста» и «шашнадцать»), либо он прибегает к ним потому, что ему не дается самый склад, хотя писатель именно его-то и добивается. Это — случай подмены (тоже либо сознательной, либо бессознательной) реального литературного приема приемом мнимым.

3. Это «што» может у писателя играть роль условного знака социальной принадлежности его персонажа. Художник может отлично сознавать, что и цель точной передачи произношения таким приемом не достигается и что, с другой стороны, это звучание данного слова не является чем-либо специфич-

ческим для данного персонажа, что точно так же его произносят все, но для выделения данной фигуры, для того, чтобы его речь своеобразно звучала в ушах читателя, писатель условно изображает ее по-иному.

4. Наконец бывает и так, что ухо писателя иначе воспринимает одно и то же слово, о д и н а к о в о (относительно говоря) произнесенное людьми разных социальных категорий. Хотя бы взять это же самое слово «что»: его, как «што», произносят не только русские крестьяне или рабочие, но и русские писатели, которые этих крестьян и рабочих изображают, и профессора словесности. Просто таково это произношение у русских. Если иначе произносят это слово питерцы, то это не правило, а нечто книжно-мертво-чиновное, специфическое, и если человек с таким «санкт-петербургским» выговором готовит себя например для сцены, то он переучивается произносить вместо «что» и «конечно» — «што» и «конешно». И тем не менее, совершенно *bona fide*, писатель-русский, сам произносящий «што», пишет в своей книге «что», когда передает говор себе подобных, людей образованных, интеллигентов, и напишет «што», когда заговорит крестьянин или рабочий. И если он сделает это не по тем мотивам, какие изложены в предыдущих «пунктах», то только потому, что ухо его по-разному слышит это слово в зависимости от социальной категории говорящего. Ведь в самом деле, поставим вопрос во всей его строгой логичности: если писатель пишет слово не так, как он привык писать, как повелевает грамматика, то одно из двух: либо данное лицо в произведении объективно иначе это слово произносит, либо сам писатель иначе его воспринимает. А коль скоро мы знаем, что произношение этого слова обычное, то, стало быть, не совсем обычно его восприятие.

Итак, нетрудно видеть, что из четырех перечисленных нами причин употребления «што» (пусть это будет символом данного приема) первые две имеют характер узко и специально литературный, между тем обе последние причины имеют определенную социальную окраску. Тем самым они приобретают и особый интерес и особенное

значение. Но все-таки несколько слов не бесполезно сказать и о первых двух.

Собственно только о второй, ибо что же долго толковать о подражании как о литературном приеме? Ведь художник, как художник, рождается тогда, когда перерезана пуповина его подражательности. Во всяком случае, если говорить о нем не с педагогической, а с литературной точки зрения, то представляет интерес не он, наивный или рассудочный копиист, а тот, кого он копирует, кому он подражает.

Иное дело то же самое символическое «што» в качестве суррогата передачи склада живой речи. Это гораздо серьезнее и важнее, а для писателя может быть и гораздо трагичнее. Надо со всей определенностью заявить, что все эти «што» и «конешно» вместо лепки речи есть суррогат в самом худшем значении слова. Бывает суррогат и суррогат. Когда говорят, что такой-то продукт А, заменяющий продукт Б, имеет лишь 10% питательности последнего, то А есть суррогат. Но если бы он не имел ни одного процента питательности, а только отнимал бы у организма энергию на переваривание, то это был бы суррогат лишь в том смысле, что его употребляют с целью замены, но объективно это был бы чистейший яд.

Вот таким-то «суррогатом-ядом» и является «што» как замена приема лепки речи. Я уже указывал выше (и это на опыте нетрудно каждому проверить на своем чтении), что, читая книгу, где много диалога и где он повсюду передан путем копирования, в худшем случае вовсе не слышишь говорящего (а стало быть, в известной мере и не видишь его), а только вязнешь в этой тине: «пшенисенькова», «убязательно», «суглас», «присядатель», «сиклятарь» и т. д., и т. д. А в лучшем случае, когда перестаешь добросовестно следовать за автором, когда внутренним усилием перечеркиваешь всю его работу копирования, — только тогда начинаешь читать по-настоящему. Другими словами, лишь поскольку пошло на смарку это фотографическое усердие автора, он становится доступен восприятию. Это — не суррогат с 10% питательности, а яд, бесплодно отнимающий у читателя внимание. Усердным читателем такой вещи.

может быть только очень тупой, пассивный, мертвый читатель. Ибо идеальный читатель художественного произведения — это читатель, своим воображением сотрудничающий с автором. Если Чехов заставляет одного из своих персонажей раза два-три произнести слово «бундить», как отличительный знак его речевых особенностей, то хороший читатель должен по этому органу воссоздать организм, по легкому намеку почувствовать склад и характер речи героя. И Чехов умел этого добиться, его читатель был активен, он творил вместе с писателем. Но ведь совершенно нечего «творить» читателю, который способен удовлетвориться «пшенисенским сугласом». Знай лишь держи рот раскрытым и глотай жеваное.

VIII

Все это так ясно, что на эту тему можно и не распространяться. Гораздо существеннее проанализировать третью и четвертую причины применения «што».

Что касается третьей, когда то или иное начертание слова предназначено служить знаком социальной принадлежности героя, то остается сказать лишь одно: самое предположение о таком значении данного приема является у исследователя вынужденным. Это был бы уж слишком дешевый «символизм». Но бывают случаи, когда методом исключения ни к чему иному не приходишь. Например передается диалог, при чем один из беседующих — крестьянин, другой — интеллигент. И вот какое-нибудь слово, совершенно одинаково произносимое обоими, изображается в одном случае так, в другом — иначе, например: «Чево тебе?» — «Ничего». Если только допустить, что это сделано сознательно и умышленно, то мы вынуждены будем заключить, что это своеобразный символизм: это условные знаки, что говорящий — крестьянин или рабочий. Наподобие того, как у старой школы актеров совершенно определенный ряд жестов означал совершенно определенный же, так сказать, каталогизированный ряд высоких или низменных чувств у благородного или ничтожного персонажа.

Но, повторяю, самое допущение в

наше время такого мертвого символизма возможно лишь как вынужденное. Совершенно несомненно, что наиболее чистой, наиболее существенной и характерной причиной применения приема фотографирования фонетики является та (4), что писатель по-разному воспринимает звучание слова, в зависимости от того, кто его произносит. Пользуясь все тем же простейшим примером, писателю кажется, что он слышит «што» и «что», когда произносит крестьянин или профессор, между тем как оба они произносят это одинаково.

Прежде всего — так ли это в действительности?

Тут едва ли могут быть какие-либо сомнения. Если даже отбросить простейшие (я сказал бы, до комизма элементарные) все эти «што», «конешно», «скушно», «ково», «чево» и т. д., которые, как уже указывалось, и сам писатель произносит именно так, как его герой, и которые тем не менее он только в применении к крестьянину или рабочему будет старательно выделять, то останется нечто более крупное и важное, свидетельствующее о социальной специфичности слуха у писателя. А именно: ведь, вообще говоря, обычное произношение интеллигентных персонажей никогда не переносится в неприкосновенности на страницы книги, хотя оно далеко не соответствует общепринятому начертанию слов. Более или менее точное, соответствующее в звуковом отношении грамматической форме слова произношение бывает лишь у иностранцев, которые учатся говорить по книге. Оно же и мертво и обычно производит несколько комическое впечатление, при чем источник комизма ясен: произношение соответствует грамматике, но не соответствует живой норме. Недаром акад. Е. Ф. Карский указывает, что «коль скоро мы попробуем буквально говорить по грамматике, нас поймут с трудом». Возьмите однако любое слово: «обязательно», «говорю», «сад» и т. д., и т. д. и вслушайтесь в то, как произносит его с кафедры профессор, как сами вы его произносите, — у москвича или вообще русского получится приблизительно: «абизатльна», «гаварю», «сат» и т. д. Но какому же сумасшедшему писателю придет в голову при пе-

редаче этих слов в речи интеллигента отступать от общепринятого начертания? А вот пусть заговорит крестьянин или рабочий, и сразу появляется и «бох помочь» (Замойский), и «чихотошный» (Дорогойченко), и «по гроп не забуду» (Жданов), и т. д., и т. п., и такое копирование дойдет до той изощренности, которую иначе как извращенностью не назовешь. Сергей Жданов в своей «Мартемьянике» напишет: «внучка навязала щтеч и крьюху хлеба», — и поробуйте-ка произнести это слово? Ив. Никитин напишет в «Уклоне»: «и с щ е-б ы», — попробуйте-ка произнести! Яков Коробов напишет в повести «Катя Долга»: «обещал целую торбу канфет привести», и остается лишь благодарить судьбу, что конфеты — предмет неодушевленный, вести их невозможно, и таким образом можно догадаться, что мы имеем дело с «художественным штрихом»: вместо «привести» — «привести».

Все эти нелепости — лишь характерные показатели порочности самого приема. Но почему же однако писатели его практикуют в одних случаях и не практикуют в других, когда описывают людей образованных? Более всего потому, что когда говорит человек образованный, то писатель «с л ы ш и т» его одним социальным ухом, а когда говорит необразованный человек, — то другим. В одном случае писатель внутренне, психологически сливается с теми, кого изображает, в других — он им себя противопоставляет. Именно в этом корень дела.

Тут конечно могут быть весьма и весьма различные модусы и степени социально-психологического обособления, которые отнюдь нельзя смешивать. В иных случаях указанное противопоставление может быть весьма резким и по существу враждебным. Такой бесконечно характерный случай мы можем наблюдать на том примере Бунина, какой мы выше приводили. Еще в 1914 г. в своей работе о Бунине, касаясь вопроса о его приемах передачи крестьянской речи, я указывал, что если этот сильный художник прибегает к копированию фонетики, лишь только у него заговорят мужики, то потому, что, «прекрасно зная этот говор, он внутренне чужд говорящим».

Конечно совсем иную окраску, совсем иной характер этого внутреннего обособления мы имеем в тех случаях, когда прием фотографирования фонетики практикуют такие писатели, как Панферов, Сейфуллина, Дорогойченко, Замойский и т. д. В этом случае имеет место не классовая враждебность, а некоторый внутренний отход, при котором может вполне сохраниться вся крепость социальной общности, классовой солидарности. Но необходимо учесть здесь одну особенность в процессе формирования новой рабоче-крестьянской интеллигенции, чтобы понять, что в иных отношениях внутренне-психологическая обособленность может у нее проявляться даже гораздо резче, чем у человека другого класса. Особенность эта заключается в том, что у человека, который бытово, культурно отделяется от той или иной среды, нередко проявляется необычайно ярко выраженная склонность противопоставления культурной стороны своей личности — именно породившей его среде.

IX

Это явление очень частое, глубоко интересное и очень характерное. Оно весьма дискредитировано в этическом отношении тем обстоятельством, что иные конкретные его проявления имеют отталкивающий характер, и они-то окрашивают явление в целом, между тем как по существу оно может быть и этически нейтральным, и этически ценным.

Поясню все это примерами. Лакей Яша из «Вишневого сада», походя лакающий шампанское, избегающий свидания с матерью-старухой, потому что она деревенская, употребляющий в разговоре французские слова и умоляющий свою барыню взять его с собой обратно в Париж: «Здесь мне оставаться положительно невозможно... страна необразованная, народ безнравственный» и т. д. — это одно. Тоже лакей, Чикильдеев из «Мужиков», не сражающийся с невежеством породившей его среды, но чувствующий это невежество и страдающий от него, — уже совсем другое. Самоучка-механик Кулибин из «Грозы», сознательно, обдуманно осуждающий свою среду, но еще не смеющийся вступить с нею в борьбу, — это

еще одна, дальнейшая фаза. Теперь представьте себе этакое деревенского Галилея или деревенского Уриэля Акосту, резкого протестанта, травимого средой за то, что он «лопает» в пост скромное, не ходит в церковь и т. д., и который со своей стороны яростно наступают на сонмища деревенских пред-рассудков и суеверий. Он более страстно, чем кто бы то ни было, ненавидит темноту и бескультурие своей среды и эту враждебность переносит отчасти и на ее язык. Этот «отщепенец», нередко все силы и самую жизнь отдающий породившей его среде, тем не менее будет чувствовать себя в ней глубоко обособленным в бытовом и культурном смысле, и в некоторых отношениях его внутренний отход от этой вчера еще своей среды будет резче, он будет чувствовать свою «инородность» глубже, чем если бы оказался например в среде искони ему чуждой и незнакомой, среди иностранцев и вообще людей другого мира.

Но особенно резко это проявляется как раз в области языка. Нас интересует для данной темы не то однако, как отражается выделение из своей среды на языке самого отделившегося (здесь наблюдается целая гамма, начиная от «двистительно» толстовского мужика и кончая Кольцовым), а то, как отражается этот процесс на его восприятии живой речи, на его слухе. Мы не объективируем, не «слышим» своего говора до тех пор, пока он совершенно слит с нами. Я не слышу, что произношу «ливорвер» до тех пор, пока все вокруг меня произносят так же, пока я даже и не подозреваю, что это кем-либо произносится иначе. Но вот я бытово отделился от своей среды, вокруг меня все говорят «револьвер», я и сам начинаю говорить так же...

Это — целая революция! Человек начинает слышать тысячи новых звуков, новых оттенков, он начинает «чувствовать» речевую стихию прежней среды, подобно тому, как мы «чувствуем» воздух, когда что-то меняется в наших легких: из бессознательно употребляемого, органически свойственного атрибута нашего существования, чему даже и названия нет, о чем никогда не думаешь, чего поэтому и не слышишь, «это» ста-

новится сознательно объективированной звучащей стихией и уже не моей (я уже иной, я уже не произношу «ливорвер»), а чьей-то речью. И тут я уже все «слышу», все воспринимаю иначе, тут уже «ливорвер» окрашивается своим специфическим звуковым цветом самое простое «что» и «конечно» в «што» и «конешно». У меня появляется в слухе навязчивый социальный оттенок, которого я уже и сам не замечаю.

Вот чем и приходится в большинстве случаев объяснять тот на первый взгляд странный факт, что вышедшие из крестьянства писатели дают сплошь да рядом крестьянскую речь в этом, как бы социально чуждом аспекте. Это — явление бытово-психологическое.

Но каков бы ни был генезис этого явления, его объективные формы имеют вполне определенный смысл: это — социальное отчуждение. Какой-нибудь крестьянский писатель может в своих произведениях быть верным выразителем интересов изображаемой им деревни, но если у него в рассказе мужик говорит «чево», а учительница «чего», то это по большей части в силу того, что его ухо социально дифференцирует даже и там, где нет никакой дифференциации. А стало быть, она — в нем самом. Это вывод, от которого не уйдешь. Разумеется, субъективно к мужику относятся совершенно различно Иван Бунин или Алексей Тверяк, но объективно они не только передают, но и воспринимают его произношение одинаково социально отчужденно.

Недаром это восприятие и отливается в литературе в нечто, имеющее специфический социальный привкус.

«Упреждаю вас об эфтом и прошу, штобы нашшет какой моей прорухи, или вобче» и т. д. Так передавал «Будильник» начала 80-х годов письмо купца.

«Коли ежели кто охотник, садись теperича на эту самую тройку, да скажи: Локтев, делай! — Ну, и молись богу! Птица! Намедни в Колино энарала возил — очинно он одобрял». Это якобы из народного быта Горбунова.

«Рассходись, робя! Неча проклажаться!» — а это Алексей Тверяк.

«Подь ты к матери во зелен дуб суместно с ерманским народом... Не мо-

жет тово... А што к облизацин? Рази жалко народу нашенскова?» — это из «Мартемьянихи» Жданова.

Разве здесь есть отличие в приемах? И разве речь эта сама по себе, вне всякой зависимости от того, кто ее произносит, не звучит чем-то социально отчужденным? И наконец скажем прямо: разве не звучит она чем-то обидным? Неужто при передаче живой речи крестьян и рабочих можно признать нормальным совпадение приемов современных художников даже и с горбуновщиной, с этим специфическим жанром столичного балагана высшего разбора, не говоря уже об ужасном стиле наших юмористических журналов эпохи 80-х годов? Разве не напоминают они тех приемов передачи речи представителей отдельных национальностей (особенно евреев и армян), которые сводились даже у наших сильных художников к какому-то издевательскому кривлянию? И разве не показали такие художники, как Короленко (в «Судном дне») и в наши дни Бабель в своих превосходных новеллах, что единственно средствами лексики и синтаксиса, без малейшей примеси фонетической копировки можно достичь высоко художественной, выразительной и характерной правдивости в передаче своеобразных особенностей русской ре-

чи национала? И разве этот путь менее обязателен, когда передается речь крестьян и рабочих?

Резюмируя изложенное, мы не можем не притти к пожеланию, чтобы легкий и потому соблазнительный путь фотографирования фонетики — эта поистине линия наименьшего сопротивления для писателя при передаче живой речи рабочих и крестьян, неизменно поражающая его творческим бесплодием в данной области, — был наконец оставлен. Он после Толстого, Чехова, Лескова, Горького не только регрессивен литературно, но он нам не к лицу социально. Широкая дорога трудного, но зато подлинно творческого, единственно плодотворного овладения искусством передачи живой речи остается и для наших дней только одна: ее условное конструирование, художественное воссоздание ее склада. В этом направлении интересны и полезны будут даже и ошибки, между тем как в направлении копирования мертвы будут даже успехи. Ибо самый слабый музыкант, какой бы малой дробью ни измерялось его умение, с точки зрения искусства уже по тому одному неизмеримо крупнее самого лучшего граммофона, что и самая малая дробь бесконечно больше нуля.

2. О „СОТИ“ Л. ЛЕОНОВА

Арк. Глаголев

«Соть» знаменует значительнейшее творческое достижение Леонида Леонова на пути преодоления достоевщины, приближения к актуальным проблемам нашей современности в деле подлинной творческой перестройки.

Романом этим, хорошо известным читателям «Нового мира», Л. Леонов включает себя в число наиболее передовых представителей революционной интеллигенции, отдающих себя, свой труд, свое творчество великому делу строительства социализма и стремящихся бесповоротно и неразрывно связать себя с пролетарской революцией.

Вместе с этим «Соть» никоим образом не позволяет талантливому художнику «почтить» «на лаврах».

Овладение техникой — одна из боевых задач нашей современности — в сильнейшей степени затрагивает и художественную литературу. По отношению к последней оно обозначает не только борьбу за повышение качества литературного мастерства, литературной технологии, но и борьбу за пристальное изучение нашими художниками социалистического строительства, техники социалистической индустрии. Борьба за технику — значит бороться за повышение идейного содержания художественной продукции, за новую производственную тематику, за подлинный, чуждый всякого верхогляд-

ства, социальной и технической неграмотности показ социалистического строительства. Это значит бороться за создание подлинных художественных образов передовых пролетарских производственников — строителей социализма.

«Соть» Л. Леонова именно и обнаруживает попытку овладения производственной тематикой. Строительство нового бумажного комбината — основной материал романа. Леонов в «Соти» своим художественным лицом действительно обращается к технике, к производству, к строительству.

Вместе с тем, он далек от технического фетишизма, от внесоциального культа вещи, от обожествления «чистой» техники, от «американизма», от чего еще доселе не свободен ряд наших интеллигентских художников, особенно из лагеря «лефовствующих».

У Леонова в «Соти» вещи не заслоняют людей. Он сознательно выдвигает на первый план своего повествования показ социальных отношений. Художник принципиально отчетливо сознает, что новые вещи могут создаваться только в результате новых общественных отношений. Не только строительство новых вещей, но и строительство новых людей, не только индустриализация «Соти», но и ее пролетаризация. «Соображение, что, вырабатывая бумагу, Сотьстрой работал тем самым на культуру, было самым слабым оружием в этой борьбе, одержали верх все те же испытанные потемкинские доводы о пролетаризации Соти». Художник стремится вскрыть социальный смысл строительства. Художник не затушевывает классовой борьбы, но идет к обнаружению ее динамики.

Роман в основных своих частях переносит нас в глухой закоулок нашей страны. Место строительства — дремучая лесная «пустыня» под «первобытным небом», «огромные пространства», покрытые «могучей синей шерстью лесов». Девственная стихия, колоссальные, неиспользовавшиеся человеком и бесцельно гибнувшие природные богатства, древле расейский быт обитателей этой

«пустыни». «Все лес, прорва лесу... стоит, гниет, сохнет. В нем водятся грибы, медведи, пустынники, черти—все, кроме разума и воли»... «Черные избушки в глуши»... «Черные мужики»... Тайные лесные скиты...

Такое обращение к лесной стихии для Леонида Леонова с его тяготением ко всевозможным закоулкам, к «провинциальным историям», к «лесковщине» и т. п. впрочем не особенно удивительно. В этом даже до известной степени можно усмотреть одну из нитей, связующих «Соть» с предыдущим творческим этапом художественного пути Леонова, к последнему по крайней мере весьма близки в стиливом отношении те страницы романа «Соть», кои посвящены скиту, а также Виссарionу.

Таким образом на страницах романа Леонова перед нами выступает прежде всего деревня, мужицкая стихия. Показ социалистического преобразования этой последней, показ взаимоотношений деревни и наступающего социалистического начала — один из основных моментов повествования. Сотьстрой резко социально дифференцирует деревню. Единой, сплошной мужицкой массы, единой «северной» стихии и в помине нет. Строительство протекает в условиях обостренной классовой борьбы.

Художник четко обрисовывает кулацкие элементы деревни, оказывающие сопротивление социалистическому наступлению всеми силами. «Все они были из той части Макарихи, которая в отошедшие времена незримо владела округой». Таковы — Федот и Василий Красильниковы, председель совета Лукинич, Алявдины, Иона и Тимофей, подрядчики и конокрадьей красоты старики... Шибалкин, знаток советского закона и юла... Мокроносов, в прошлом — владелец ассенизационных обозов... и др. Им противостоят представители поднимающейся новой деревни, преимущественно комсомольская молодежь. Не забывает автор «Соти» и широкой середняцкой массы деревни. Леонов дает развернутый конкретный показ этой социальной борьбы на деревне в связи с Сотьстроем, проявляющейся в ряде ярких эпизодов, например в эпизоде переселения деревни, которое требовалось по ходу строительства.

Несмотря на преимущества, какие получала деревня от строительства, в частности от того же переселения, — кроме близости культурного очага, во-лость получала электрификацию, постоянную медицинскую помощь, школы фабзавуча и непрерывную работу на предприятиях комбината, этой столбовой дорожки во всепрелетарскую семью, кроме того, по договору... крестьяне получали готовую деревню в четырех верстах от нынешнего места, школу и клуб и наконец среднюю стоимость урожая по данной полосе, — кулаки прилагают все усилия к организации срыва переселения деревни, стремясь в целях противодействия социалистическому наступлению всячески использовать отсталость середняцкой мужицкой массы, в частности ее слепую привязанность к родимым местам.

«А, может, нам с этого места и сойти невозможно? Может, мы тут корешок имеем и всякий пенышек нам брата милей?.. Мы тут от века живем, папаньку рысь ела, Николахину мамку, беремену, медведь запорол... спекулируют на отсталых настроениях мужиков кулаки и подкулачники, натравливая коренных обитателей Макарихи на пришлых строителей. «А они какие тут жители?.. Они — огни бродячие»... Потерпев поражение в своей попытке сорвать переселение деревни, кулаки тем не менее упорно пытаются бороться против Сотьстроая, энергично используя в своих классовых интересах все заминки в строительстве комбината. Временное сжатие работ на Сотьстрое, — один из ответственных моментов строительства, стоящий в центре повествования романиста, — особенно окрыляет надеждой врагов Сотьстроая. В своей борьбе против последнего кулаки применяют самые разнообразные «методы», используя самые различные средства. Тут и «темные пророчества колченогих бродяжек», и шинкари, и прочие способы разложения середняцкой мужицкой массы. Кулаки усиленно вызывают к «жизни» старую, дремучую, легендарную стихию, шестнадцатый век: «Древняя языческая космогония оживала на глазах у всех; мертвые искали себе дружбы в живых. На поселения поползли крысы, клопы и какие-то летучие тараканы, а в довер-

шение смехот выполз из болотной дебри необыкновеннейший микроб и стал есть матизы в новых избах... Глупость мешалась с дикостью, мертвое с живым, нищета с неистребимой нечистью... гуляда человеческая метель... Под прикрытием всей этой «оживленной языческой космогонии» вырисовывается реальнейшая картина — решительная атака кулаков на Сотьстрой. Кулаки, сомкнувшись с проникнувшим на строительство белогвардейцем, прямым аполетом (и практиком) контрреволюционного вредительства, бывшим офицером Виссарионом Буланиным, становящимся организатором кулацкого сопротивления Сотьстрою, переходят к «плановой» борьбе. «Если б умели обобщить все эти различные явления, стало бы ясно, что во всем, от неудачной летней мобилизации до образования банды, был один четкий план». Не довольствуясь организацией местной «смуты», местного вредительства и бандитизма, сотинское кулачество пытается найти поддержку за пределами своей деревенской «округи», в бюрократических элементах города, в «вонючих канцелярских коридорах»...

Карга кулаков оказалась битой. «Сотинская неурядица» была ликвидирована. «Постепенно темп работ ускорился, и почти в полном соответствии с ним тормозился ход сотинской смуты. Банда затихла, порох ее сырел, ржавела ее ярость». Новая деревня, связующаяся с Сотьстроем, неустанно растет и крепнет, выходя окончательно из-под власти кулачества. «... Не прежнюю деревню заставлял теперь Березятов... Деревня расщепилась, и из расщепя, все шире раздвигая его, новая выбивала людская поросль. Да и тех, кто еще качался на древнем корени, постепенно прямой выгодой засасывала сотинская стройка». В лице Проньки, Егора Мокроносова, Лышева и других мы видим уже крепких представителей этой новой деревенской «людской поросли». «Это был сплоченный отряд, готовый к любому бою».

В целом основные тенденции социального развития деревенской действительности выявляются автором «Соти» верно. У Леонова дифференцированный классовый подход к деревне.

Однако все же нельзя не заметить, что в конкретном художественном показе старая деревня в романе еще доминирует над новой. Скиту, монахам, «российской глухомани», стародавней мужицкой отсталости, деревенским «концам» уделяется несравненно большее художественное внимание, хотя и при надлежащем художественном критицизме, чем новой деревне, «началам». Это между прочим сказывается даже и на самом художественном языке, художественном словаре романиста, — наблюдается обильная стилизация под старомужицкую «расейскую» речь¹⁾. Разумеется, вместе с этим необходимо отметить («оговориться»), что автор «Соти» принципиально не мог обойтись без обращения к старой деревне. Ибо, вопервых, новый мир не рождается подобно античной Афродите из пены морской, а возникает в упорной борьбе со старым. Отказываться в художественной практике от показа остатков старого, «концов», затушевывать внутренние противоречия действительности, это значит идти по линии наименьшего сопротивления, это значит объективно смазывать классовую борьбу, подменять диалектику упрощенчеством. Это — очевидно, и этого правильно сторонится автор «Соти». Во-вторых, внимание писателя к старой деревне, к «глухомани», обязывает в данном случае самый материал романа, — строительство комбината происходит не в центре нашего Союза, а на довольно отдаленной окраине. Посему автора «Соти» следует упрекать не за то, что он дал изображение старой деревни, даже, быть может, не столько за то, что он несколько увлекся живописанием отдельных второстепенных деталей этого старого мира (напр. обитателями скита), сколько за то, что он к этим страницам не прибавил других, более художественно расширяющих облик новой деревни и ее союз с Сотьстроем.



Деревня, крестьянство являются в романе Леонова однако не только «фоном», периферией, окружением Соть-

стройка (хотя бы и крайне тесно с ним связанным), но имеют к последнему еще большее отношение, играют в романе еще более существенную роль.

Основная масса строителей комбината, конкретно показуемая в романе (за исключением верхушки Сотьстроля) не пролетарская, а крестьянская. Это не коренные пролетарии, а «вчерашние мужики», расейские Федосей да Иваны, такая же (как и обитатели Сотгинских краев) потомственная «лаптеносная голь». Вот яркий портрет этой армии леоновских строителей: «Тут шли все те, чьего труда от века не искать было на Руси. Плелись неспешно, сберегая силы, рязанские пыльщики да стекольщики; чинно шагали вятские да тверские каменщики и печники... шустро, в обгонку других, поспешали смешливые вологодские штукатуры; тащились вполпьяна веселые костромские маляры, и кисти их машисто колыхались над малярным воинством; закоптелые, тяжело двигались смоленские грабари, землекопы тож, с руками и лицами цвета земли; проходили кровельщики, бетонщики, кузнецы... пермяки, псковичи, вятчи и прочих окранных губерний жители, где непосильно стало крестьянствовать по стародавним заветам, а новых не было пока. А в хвосте людского потока торжественно, точно плыли, выступали прославленные владимирские плотники, которые по присловью и часы починили бы, каб просунулся в часы топор. Их вел седатый бородач, Фадей Акишин, весь пропахший деревянной щепой»... Эти «ремесленные люди» — типичная крестьянско-средняя масса, еще пропитанная мужицким индивидуализмом и требующая значительной общественно-социальной переработки. Для характеристики этой армии «ремесленных людей» чрезвычайно показателен образ «всеплотницкого старосты» Фадея Акишина, являющегося как бы центральным психологическим представителем широкой массы строителей в «Соти» («... ему представлялось, будто один и тот же Фадей Акишин, милейший человек, разнообразно стоит перед ним, то одеваясь охровой бородой, то чудесно молодея, то становясь на чрезмерно высокие каблуки, то шамкающий вологодским наречием, то тускрослов-

1) А также в пейзаже, отчасти в портретной живописи, дается обширная галерея образов скитских монахов.

ный, то речистый по-костромскому...»). Великий знаток своего плотничьего мастерства, работяга, влюбленный в мощь своего труда, в свой «топор», Акишин глубоко проникнут трудовой стихией. Однако его трудовой пафос не пролетарского характера, а мужицко-ремесленного, индивидуалистического. Акишин далеко не свободен от индивидуализма. «Чей наш?.. Я ничей, я свой... ты меня береги...». «Ты вот его пужай, бумажная душа, а меня не испужаешь». «Мне пьяному-то семь рублей в сутки цена, видите ли что»... «Кто Волховстрой строил... Я! Кто на Кашире всею опалубку вел... Я! На Шатуре кто дома воздвигал»... Подобно тем «ремесленным людям», которых так ярко изобразил М. Горький, их ближайший родственник леоновский Акишин явственно носит в себе элементы исконно «расейского» чудачества, — его «картонная лошадка», «сотир» (был Акишин «знаменит» тем, что при всякой стройке прежде всего осведомлялся: «а где у вас тут сотир будет? Строеньица эти он работал во внеурочное время, не требуя mzды, и, сказать правду, сотиры выходили у него на славу»), пристрастие к разного рода затейливым философствованиям.

При всей своей «расейской», ремесленно-крестьянской природе Акишин — и Акишины также — глубоко трудовая личность, виртуоз своего дела, строитель по всем своим инстинктам в условиях социалистической стройки, дающей ему (и им) широчайший простор для развертывания своей трудовой энергии, принципиально может стать подлинным строителем-энтузиастом, включающим свой трудовой пафос одиночки в социальный энтузиазм пролетарского коллектива, претерпевая тем самым значительнейшую собственную социальную перестройку, постепенно освобождаясь от «ремесленно-мужицкого индивидуализма и вступая на «столбовую дорогу во всепролетарскую семью». Именно под таким углом зрения автор «Соти» и стремится показать нам Акишина, вскрывая возможность для «ремесленно-крестьянского середняка включиться в социалистическое строительство. Прельщенный мощью Сотьстроя, мощью социалистического завоевания стихии, —

«...сила, сила...—повторял он (Акишин) любовно, не отрывая глаз от Соти. — Сила, твоя сила». Акишин близок к внутреннему вовлечению в стройку, близок к возможности постепенного преодоления своего мужицкого индивидуализма, своей цеховщины, входя в контакт с рабочей «тыщей», становясь участником добровольной ударной работы: Увадьев несомненно правильно прощупывает в мужицкой натуре Акишина ростки нового, дающие возможность этому середняку превратиться в честного союзника социалистической стройки. Ряд зарисовок дает отчетливое изображение героической работы на Сотьстрое этой середняцкой массы.

Внимательно обрисовывая деревенское окружение Сотьстроя и социальные взаимоотношения в нем, ставя проблему конкретного участия в социалистической стройке крестьянского середняка, Леонов, подчеркиваем, не дает нам развернутого художественного показа пролетарского ядра рабочих строительства. Конкретно показывая нам «плотников», «землекопов», «маляров» и прочих «ремесленных людей», Леонов минует в своих зарисовках «механиков», «электротехников», «токарей» и других представителей пролетарской части строителей. Об ячейке, рабочкоме, Горешине, о тех, которые осуществляли охрану Сотьстроя в тяжелые дни прорыва и заминок, о тех, которые должны были явиться истинными инициаторами ударной борьбы со стихией и которые явятся в будущем Сотьстроя и уже построенного комбината организаторами соцсоревнования, встречного промфинплана и иных видов ударной большевистской борьбы за социализм, — обо всех них Леонов только кратко упоминает, еще более кратко, чем о нарождающихся новых людях деревенского окружения Сотьстроя. Это качество романа — слабый показ пролетарской сердцевины Сотьстроя — в числе прочего весьма сказывается на характере образа коммуниста-строителя (слагающегося в «Соти» из фигур Потемкина и Увадьева, организатора и руководителя Сотьстроя).

В лице Увадьева и Потемкина автор «Соти» пытается разрешить трудней-

шую для представителей интеллигентского сектора нашей литературы художественную задачу — дать образ коммуниста-строителя. Последний представителем вышеозначенного сектора до сих пор не удавался. Вместо социалистического строителя мы получали образ дельца, отдельного «героя», одиноко стоящего над «массой», и т. п. Мелкобуржуазная природа сего «героя» была очевидна. Схематизм, абстракция подменяли подлинный социальный образ. Леонов в «Соти» стремится преодолеть этот штамп, стремится ближе подойти к реальной действительности. Как же удалась писателю эта его попытка?

В образе Увадьева — биографически коренного пролетария, подпольщика, большевика — Леонов прежде всего художественно подчеркивает его внутреннюю крепость, упор, силу, его внутреннюю рабочую «тугую пружину». Это — «упорный, спокойный человек, битюг революции». «Солдат революции», он несокрушимо, упорно, твердой поступью идет на Соть, смело, деловито, без лишних слов, бросая вызов расейской глухоти. С момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла. Он шел, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна. Он весь пронизан классовой зоркостью и непримиримостью пролетария, чуждого всякого интеллигентского гуманизма, мягкотелости и т. п.: «В дружбе мы подозрительны и осторожны». «Увадьев, напротив, стравливал, высматривая полезных для дела людей, и зарабатывал всеобщую ненависть»... «Я прочел вашего Печорина. Встреться он мне в девятнадцатом году, я расстрелял бы его, да». «Нет в нем мясного состава, но из другого вылит, из красного чугуна» — характеризует Увадьева Потемкин. И Леонов тщательно дополняет эту потемкинскую характеристику «битюга революции» и «от себя»... «Тугодум» с «негибким языком», нескладный, Увадьев кажется монолитно целостным в простоте («В простом Увадьев чувствовал себя крепко...») и мощи своей внутренней силы. Не вносит ли однако в леонов-

ский образ коммуниста-строителя эта «простота» Увадьева элементов литературно-трафаретного упрощенчества («Все, кроме предстоящего строительства, мнилось ему в крайне упрощенном виде...»)? Не превращается ли в романе «Соть» образ социалистического строителя в железобетонную абстракцию, не является ли он только новой вариацией тех «чугунных» сверхмощных «пролетарских» «героев», кои обильно преподносились нам литературой предыдущих лет? Но в романе не только Увадьев, а и Потемкин. Образ строителя в «Соти» в целом слагается именно из этих двух фигур, взятых в совокупности. Потемкин во многом дополняет Увадьева, расширяя и углубляя образ героя нашего времени. Такой же, как и Увадьев коренной пролетарий, Потемкин — горячий энтузиаст, человек широкого революционного размаха, больших замыслов и обширных планов, стремящийся к коренному преобразованию сотинских дремучелесных краев, стремящийся к изменению направления течения «великого крестьянского океана» в сторону социализма... Если от Увадьева на нас веет несгибаемой силой, твердым спокойствием, кряжистостью, физической мощью, прямолинейностью, то Потемкин полон горячего волнения, внутренней динамики, огромного пафоса строительства. Если «в привычке Увадьева было смаху рубить, где и без того было тонко», то «в должности» Потемкина «стояло — мотаться, склеивать, улаживать...». Если Увадьев — «чугун» революции, то Потемкин — ее электричество. Если далее образ Увадьева выдержан в натуралистических тонах, облик Потемкина носит в себе даже черты некоего романтизма («...его называли всяко: энтузиастом, говорунуном от индустриализации, расстратчиком нищей казны республики, патриотом мужицкого Пошехонья, партизаном наших дней, Микулой наизнанку, болячкой, Дон-Кихотом, вибрионом социализма, героем...»). Фигура Потемкина обрисовывает образ «гражданина эпохи» таким образом несколько с иной, чем Увадьев, стороны. Наличие образа Потемкина во многом свидетельствует об отсутствии у автора «Соти» упрощенческого подхода к типу со-

циалистического строителя, свидетельствует о преодолении Леоновым того, чего не могли преодолеть создатели псевдогероев нашей эпохи. Элементы «красной чугунности» в облике строителя нового общества в художественном показе Леонова принципиально не заслоняют социального содержания, социалистического энтузиазма, революционного размаха. Новый человек в художественной трактовке Леонова не только строитель, борец со стихией вообще, но именно социалистический строитель. Если Увадьев справедливо не верит в «душу», противопоставляя ей конкретно материальный мир, — «видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... Я делал их или ел, или держал в руках... я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Из чего это делают?.. где это продают?», — то это выдвигание «ситца», «бумаги», «мыла» отнюдь не обозначает в художественной трактовке Леонова коммуниста-строителя в отличие от создателей Бабичева и Шекснина фетишизации вещи в ущерб социальному содержанию. Образ Потемкина, «под словом Сотьстрой разумевшего не только постройку целлюлозного гиганта, но и внутреннее устройство Сотинского района», ясно показывает, что в художественной обрисовке Леоновым коммуниста-строителя утилитаризм сочетается с социальным содержанием. Крепость, упор Увадьева принципиально в связи с образом Потемкина приобретают социальный смысл. Все вышеуказанные основные черты увадьевского облика оказываются в целом совершенно у места. Их наличие показывает, что автор «Соти» принципиально не сводит потемкинский энтузиазм только к «донкихотству», к чудачеству, элементы какого проскальзывают в облике Потемкина («он... напоминал того чудака, который обходит весь свет в поисках волшебного напитка, необходимого для оживления любимой», и т. д.). Так увадьевский «реализм» до известной степени корректирует, выправляет потемкинский «романтизм», а потемкинский энтузиазм, его социальная направленность ослабляют возможный упрек Леонову в упрощенческом подходе в лице Увадьева к проблеме художественно-

го изображения социалистического строителя.

Однако обретают ли увадьевское и потемкинское начала крепкий внутренний пролетарский упор и социалистический пафос коммуниста-строителя, — в романе Леонова подлинное диалектическое единство, — и вместе с этим действительно ли до конца очищается реализм Увадьева от его натурализма, натуралистического примитивизма, а социалистический энтузиазм Потемкина от романтического чудачества?..

Приходится отметить, что автор «Соти» все же остался только на пути к такому единству. Единый образ строителя все же остается — не только внешне — раздвоенным. Разрыв между широким социалистическим размахом Потемкина и пролетарской несокрушимостью Увадьева художественно все же не преодолен. Вместо художественно конкретного синтезирования увадьевского и потемкинского начал присутствует их художественный увод в разные стороны. Неопределенные мечты Увадьева о будущей жизни еще не знаменуют такого синтеза, они механически воспроизводят романтические черточки Потемкина, отнюдь не корректируя должным образом романтики Потемкина.

Таким образом в целом Леонов дает скорее только материал для художественного воссоздания образа социалистического строителя, предоставляя окончательную работу дополнительно проделать самому читателю.

Образ коммуниста-строителя не свободен в «Соти» и еще от некоторых дефектов.

Стремясь преодолеть упрощенческий штамп, стремясь художественно углубить образ Увадьева, Леонов прибегает к ненужной «психологизации» такового — его влечение к Сузанне. Правда, никакой «трагедийностью» Леонов Увадьева при этом не наделяет, облика Увадьева этот эпизод в целом не искажает, но все же все эти увадьевские временные «неуклюжие признанья», «его внутренняя борьба с Сузанной», «неуместные подозренья», «душевная дрожь», «минутная слабость» и т. п. («... какая-то неутоленная частица его существа все жаловалась и скулила, как увертливая

шелудивая собачонка, которой хочется засыпать глаза песком...») все эти слабости несколько социально не углубляют облика Увадьева как строителя. Они — случайны.

Значительно более существенным дефектом в обрисовке Увадьева является его одиночество, более чем настойчиво подчеркиваемое Леоновым. «Одиночество тяготило», «одиночество томит и радует его», «...в сущности каждый говорил сам с собой, потому что говорил от одиночества своего» и т. д.

«Ты еще любишь вверх глядеть... а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся...» — обращается однажды Потемкин к Увадьеву. И если не Увадьев, то сам автор «Соти» далеко не полностью выполняет этот завет Потемкина. Мы выше указывали на отсутствие в романе конкретного показа пролетарской сердцевины Сотьстроя. В этом объективно и корни одиночества Увадьева. Дав изображение пролетарской части широкой массы строителей, пролетарского авангарда, работников Сотьстроя, Леонов, не впадая в художественную неправду, никоим образом не смог бы говорить об одиночестве Увадьева. Сейчас же Увадьев в значительной степени остается стоящим над массой строителей; художественный показ связи, единства Увадьева со всем пролетарским коллективом Сотьстроя — слаб.

В изображении мелкобуржуазной интеллигенции так же, как и в обрисовке деревни, Леонов в «Соти» стоит на правильной методологической позиции, им проводится четкая дифференциация. Врагам социалистического строительства — воинствующему мещанину, человеку Достоевского, активному вредителю Виссарionу, организатору кулачья, четкое и ясное разоблачение контрреволюционной сущности коего надо поставить в особую заслугу автору «провинциальных историй», «пассивному» обывателю, заплесневелому обломку старого мира Ренне — противопоставляются честные

спецы, искренне отдавшие себя на службу пролетарской революции, — инженеры Бураго, Фаворов, Сузанна, Ренне, хотя и не свободные от целого ряда специфически-интеллигентских, мелкобуржуазных «качеств».

Уделяя значительное художественное внимание старому (расейская глухомань, скит) в сравнении с новым (новая деревня, пролетарское ядро Сотьстроя), срываясь в своем художественном реализме и социологизме в показе социально типичного в сторону индивидуально случайного романтизма (одиночество Увадьева, чудачество Потемкина, Варвары), Леонов в своей художественной методологии обнаруживает значительные достижения: классовый дифференцированный подход (к деревне и интеллигенции), элементы диалектики (показ трудностей строительства комбината) дают значительный художественный материал, обрисовывающий передового человека наших лет, преодолевают ряд идеологических фетишей и трафаретов, характерных для интеллигентско-мелкобуржуазного мышления (свобода от технического фетишизма, от культа вещи, делячества), во многом близко подходят к выявлению социалистической специфики советского строительства (выявление социального героизма сотьстроевских ударников, социальный энтузиазм Потемкина, борьба за темпы, показ классовой борьбы).

Леонид Леонов дал в «Соти» только предысторию Сотьстроя, тем не менее роман в целом оставляет у нас полную уверенность, что Сотьстрой будет построен и социалистическое преобразование Сотинских краев будет победно завершено и что автор, не ограничиваясь «предысторией» социалистической стройки, даст нам и ее развернутый показ. «Соть» рассматриваем как залог дальнейших побед на творческом пути Л. Леонова.

Из прошлого

ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА

Вступительная статья, редакция и примечания Н. Мендельсона

Помещаемые ниже письма Н. П. Огарева входят в состав сборника, который, как один из выпусков трудов Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, приготовлен мною к печати уже довольно давно и должен был появиться к пятидесятилетию со дня смерти Огарева.

Я решился предложить на страницах «Нового мира» часть входящего в сборник эпистолярного материала, сократив вступительную заметку и комментарий и совершенно опустив материалы, относящиеся к характеристике публицистической деятельности Огарева в России.

Письма Огарева поступили в Ленинскую библиотеку в том собрании, которое было приобретено у Е. В. Герье вместе с письмами А. И. Герцена, напечатанными в отдельном сборнике¹⁾

Два письма к Герцену заполняют соответственные пробелы в серии тех материалов, которые печатались в «Русской мысли» под заглавием «Из переписки недавних деятелей», дают небезыңтересные черточки для характеристики Огарева и заставляют вспомнить слова Сатина об Огареве: «Симпатичнее личности я не знал и не знаю».

В самом деле. Он скитается по Европе без всякого определенного дела, переходя от одного занятия к другому. Он учится рисовать, пишет повесть в стихах, четыре цикла лирических стихотворений, переводит Шекспира на русский язык, а Пушкина и Лермонтова на немецкий, изучает языки, штудирует труды Шафарика, занят славянской филологией, замышляет биографию Рубенса, большую статью о Мадонне Рафаэля, изучает феноменологию, логику и историю философии Гегеля, математику, анатомию, физику, химию — нет числа и меры его замыслам²⁾... И всюду только на-

чала. «Этот год, — пишет Огарев Герцену 9 февраля 1845 г., — весь я провел в началах. В логике мне ясна только I часть: das Seyn³⁾».

В анатомии скелет. В химии имеются только предчувствия. Моя неспособность к математике хуже твоей: Ein Lehrbuch der Physik⁴⁾ я не имею возможности читать, — скучаю и не понимаю. Химические вычисления для меня неодолимая работа. Аппараты понять не могу...»⁵⁾ Совершенно бессознательно и очень метко Огарев сам дает превосходную характеристику своих лихорадочных метаний от одного начинания к другому. «Я в таком припадке деятельности, что проговорил бы два дня и две ночи без умолку» — писал он друзьям 18/6 апреля 1843 г.⁶⁾ А личная жизнь между тем разбита. Жена оставила его, но он не имеет силы порвать с ней разом, готов признать своим ребенка, рожденного ею от С. Воробьева. Рядом с этим — пьянство и то, что Огарев, прикрываясь витиеватой терминологией Надеждина, называл «скоканием играющей чувственности». «Где же способность труда постоянного, постоянного внимания и углубления в предмет? Способность учиться?.. Развалины Рима хороши, — тут были дивные здания. Но быть развалиной, никогда не бывши зданием, — ужасно!» — восклицает Огарев в письме к друзьям от 28/16 марта 1843 г.⁷⁾

Друзья тревожились и волновались еще больше самого Огарева.

Но стоит прочесть два письма Огарева к Герцену, помещенные ниже, не обращаясь совсем к огромной серии его посланий в «Русской мысли», чтобы, во-первых, поверить в искренность и правду его утверждения, что, беспустуя, он носит в душе «чистейшую, восторженную нравственность», а во-вторых, уви-

¹⁾ А. И. Герцен. Новые материалы. К печати подготовил Н. М. Мендельсон. Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. М. 1927 г.

²⁾ «Из переписки недавних деятелей» («Русская мысль», 1889, кн. XI, 12; XII, 4, 9, 20; 1890, кн. VIII, 16—17; IX, 1—2; X, 6—7).

³⁾ Бытие.

⁴⁾ Учебник физики.

⁵⁾ «Р. мысль», 1892, VII, 32.

⁶⁾ Там же, 1889, XII, 19. Разрядка наша.

⁷⁾ Там же, 1889, XII, 4.

деть, насколько в иные минуты он среди беспутства бывал выше своих друзей.

Герцен пишет, что Грановский в письме к Фролову бросил в Огарева камень. Но Огарев этого «не заметил» и находит, что это «глупое слово: бросить камень, когда друг высказывает то, что его оскорбило в друге»; упреки Грановского он принимает «со всею откровенностью прямоты и с полной верой в его дружбу».

И на другой упрек, касавшийся отношений с женой, Огарев отвечает с подкупающей искренностью и в тоне подлинной человечности, чем пожалуй не всегда могли похвалиться упрекавшие его друзья. Трудно расстаться с женщиной, если когда-нибудь была к ней горячая привязанность, — говорит он, — а к тому еще надо прибавить «слабость характера, весьма глупую, и нежность, весьма человеческую».

Немудрено, что друзья в конце концов все прощали Огареву, что Герцен писал о наличии у Огарева того «магнитного притяжения, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собой сродство».

«Сродство», о котором говорит Герцен, с особенной силой сказывалось между Огаревым и Грановским.

Сущность «сродства» хорошо определил Огарев, в 1843 г. писавший Грановскому:

Душевный мир и сердца муки
В твоей душе нашли себе
Так странно родственные звуки,
Как будто свыше нам одна
Обоим жизнь была дана...

Одно, что я в себе ценю,
Основу дружбы нашей вижу
(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу),—
То женски-тихий, нежный нрав,
Не знаю, прав я, иль не прав...¹⁾

Конечно Огарев был прав. Первые два из помещенных ниже писем, относящиеся к 1841—42 гг., показывают, как исключительно дружески сошлись Огарев и Грановский именно на почве близости их натур, их душевных переживаний.

М. О. Гершензон в своей работе о Грановском²⁾ проследил историю его отношений с Огаревым до 1846 г. и вскользь коснулся печального конца их дружбы.

«С Огаревым, осенью 1846 года уехавшим в деревню, — писал М. О. Гершензон, — Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку; во всяком случае их отношения оставались братски-дружескими по-прежнему».

Большинство печатаемых нами писем Огарева к Грановскому как-раз относятся ко времени после 1846 года и не были известны М. О. Гершензону.

Лето 1846 года, проведенное дружеским кружком в Соколове, ознаменовалось «теоретическим разрывом» между Грановским, с одной стороны, Огаревым и Герценом — с другой. Нет надобности пересказывать фактическую историю разрыва, подготавливавшегося исподволь, говорить о его причинах. Все это рассказал Герцен в XXXII главе «Былого и дум» и, воспользовавшись еще некоторыми штрихами, сообщенными П. В. Анненковым, И. И. Панаевым и Т. А. Астроковой, повторил М. О. Гершензон в упомянутой работе.

Два первых письма Огарева за 1847 г., от 17 января и 14 февраля, служат интересным дополнением к воспоминаниям Герцена. На ряду с подчеркиванием предельной идейной близости между Герценом и Огаревым они оттеняют разницу психологических портретов друзей. Герцен прямее, резче; он мужественнее смотрит правде в глаза. Интересно, что, внося в «Былое и думы» рассказ о «теоретическом разрыве» с Грановским и Коршем, который подготавливался исподволь, и обратившись к своим старым дневникам, Герцен взял из них не запись под 14 августа 1844 г., где он удивляется «неверотерпимости» Белинского, полного нежности и в то же время «при малейшем разногласии готового обругать человека», где он говорит, что дружба должна быть «снисходительна и простодушна, должна любить лицо, а не идею», — а другую запись, под 18 декабря, где он скорбит, что личные отношения много вредят прямоте мнений, и завидует силе Робеспьера, подписавшего приговор Камиллу Демулену³⁾. Сопоставляя это место с письмами Огарева к Грановскому от 17 января и 14 февраля 1847 г., нетрудно решить, кто мог бережнее, мягче и осторожнее подойти к внутреннему миру друга в то время, когда рана была еще свежа.

В неизданном письме к М. Ф. Коршу, относящемся к 1847 году, Грановский писал между прочим: «От Огарева получаю часто известия и большею частью утешительные. Знаете ли, что он нашел наконец жизнь по себе, т.-е. деятельную и благородную. Он много работает, заводит школу, строит барки для перевоза своего хлеба и вина и в самом деле поправляет свои обстоятельства. Тучков, едущий за границу, поручил ему управление своим имением. Весело читать его письма. Видно, что ему хорошо. Он ждет меня к себе, но мне нельзя будет ехать, хотя желание большое. Наши отношения стали чисты и ясны по-прежнему, хотя в письмах наших есть полемический элемент».

Но, кроме «полемического элемента», особенно сильно сказавшегося в двух первых письмах Огарева за 1847 год, есть в его акшенских письмах другая интересная сторона. Акшенская жизнь с 1846 по 1849 г. была наиболее длительным периодом непосредственного соприкосновения Огарева с крепостной дерев-

¹⁾ «Р. мысль», 1892, VII, 32.

²⁾ Стихотворение «Огарев — Грановскому» (Стихотворения Огарева под ред. М. О. Гершензона, т. I, стр. 282).

³⁾ «Т. Н. Грановский. Мироззрение. Личность» (в сборнике статей «История молодой России». Изд. 2-е. Госиздат. 1923).

¹⁾ Сочинения Герцена под ред. М. К. Лемке, III, 345, 368.

ней: до 1846 г. взрослый Огарев лишь наездами бывал в родовом своем Белоомуте, где еще в 1839 г. начал восторженно, но безалаберно дело освобождения своих крепостных.

Дополняя сведения об акшенском периоде жизни Огарева, которые мы имеем в опубликованных до сих пор письмах его к Е. Ф. Коршу¹⁾, в плане «Ecole polytechnique populaire» (народной политехнической школы), напечатанном в работе М. О. Гершензона²⁾, в материалах IV тома «Русских пропилеев», помещенные ниже письма к Грановскому дают возможность ближе подойти к пониманию Огарева-помещика и Огарева-человека.

Социалист и помещик крепостной России, вынужденный жить не по своим убеждениям, — вот основа личности Огарева, как она вскрывается в письмах, относящихся ко времени после 1846 г.

Он прежде всего барин, помещик. Средства, доставляемые трудом крепостных, дают ему возможность и в крепостной глуши, как давали за границей, метаться от одного занятия к другому. Правда 25 апреля 1847 г. он пишет Грановскому, что занимается лишь тремя делами: хозяйством, химией и ее приложениями и литературным трудом. Но внутри этих упрощенно-сжатых рубрик большое разнообразие, да и не все его занятия в них укладываются. Так в них не войдут его занятия медициной, многочисленные следы которых сохранились в его тетрадях, не войдут его занятия ботаникой, о чем говорит посланный им Грановскому заказ на книги, вне этих рубрик останутся и попытки музыкального творчества.

Он пишет. Слыша это из уст поэта, можно подумать, что речь идет о стихах и о художественной прозе. Оказывается, он пишет не только стихи, но и полухудожественную, полупублицистическую прозу, статьи содержания научного и чисто публицистического (см. письмо 5 и 7).

Он занимается «химией и ее приложениями». Диапазон и здесь очень широк: от грандиозных замыслов изучить «историю планеты и организма» Огарев идет через исследование «кристаллизации карбона» до... хлопот над «искусственной мадерой», которая в случае удачи не только может дать хороший доход, но и «заменить гибельную водку» и тем самым даст возможность Огареву совершить «цивильский поступок» (см. письмо 7).

Он хозяйничает. В этой области тяжелое положение человека, вынужденного соединять мечты и замыслы раннего русского социалиста с хозяйственной деятельностью в крепостной деревне николаевского времени, сказывается особенно сильно.

Хозяйственная деятельность постоянно сталкивает Огарева с крепостной мужицкой массой. Впечатление удручающее. «Апатия этого народа наводит на меня ужас» — пишет он Коршу и приводит яркие примеры того, как му-

жики не хотят работать толком и на себя самих, как унижительную порку они предпочитают нескольким дням принудительной работы на заводе, как они неспособны понять собственную выгоду, как они в злобе «шваркают об землю» маленьких детей¹⁾.

Он «оскорблен... идиотством в массе народа», оскорблен настолько, что теряет веру «в важность практической деятельности» (см. письмо 5).

Но бывали и другие моменты. «Идиотство» крепостной массы не забыто, но уже не вызывает намерения отказаться от всякой деятельности. Наоборот, вспоминается Фурье, новые методы обучения, является желание бороться против «формальной религиозности помимо всякого нравственного содержания», против рабских привычек, против унижения личного достоинства мужика. Тогда-то и пишется обширный, подробный план упомянутой выше «политехнической народной школы», основанный на таких началах, которые пожалуй только в наши дни могут получить реальное осуществление.

«Среда и организм» — грустно оправдывал Огарев на склоне дней свою незадачливую жизнь. То же оправдание, повидимому, готов он применить и к народной массе. Он просит Грановского очень поблагодарить Корша за перепечатку в «Московских ведомостях» статьи Бэра. Несомненно ему понравился самый конец статьи. Там рассказывается, как одни и те же жители русского севера, члены промысловых артелей, являют собой пример идеальной честности и бескорыстия на Новой Земле и становятся совсем иными, вернувшись домой и столкнувшись с полицейскими властями (см. письмо 5). Быть может, в сочувствии Огарева к статье Бэра сказалась та ранняя «русская окраска» социализма Огарева, о которой говорит П. Н. Сакулин²⁾ (ведь в статье идет речь о членах артелей), хотя нельзя забывать и того, что в 1847 г., как это видно из школьного плана Огарева, он был противником общины, этой наиболее «по-русски окрашенной» формы народной жизни, из которой он впоследствии выводил свои социалистические построения.

Хозяйственная деятельность Огарева в Акшене после 1846 г. совпала с моментом, когда мощный массив крепостного права стал давать особенно заметные трещины под влиянием настоячивых жизненных указаний на невыгодность крепостного труда. Свободолюбивые мечтания далекой молодости, убеждения раннего русского социалиста осложнились размышлениями под уроками действительности.

Отсюда интерес Огарева к «индустрии», к работе Тейра, покупка фабрики, стремление перестроить свое крепостное хозяйство на новых началах так, чтобы у него была «большая ферма, а мужики остались бы совершенно сами по себе, на земле, ими ныне для себя обрабатываемой, платя долг в Совет», а он впоследствии «будет продавать или в наймы отдавать, или сам обрабатывать ферму» (см. письмо 7). В этой же связи стоит и публицистическая деятельность Огарева в «Московских

¹⁾ «Помощь голодающим». Научно-литературный сборник. Изд. «Русских ведомостей». М. 1892, стр. 521—525.

²⁾ Н. П. Огарев. 1. Помещик. 2. Поэт («История молодой России», 1923, стр. 283—292).

¹⁾ «Помощь голодающим», стр. 524—525.

²⁾ «Русская литература и социализм», ч. I. М. 1922, стр. 145—146.

ведомостях», выходявших под редакцией Е. Ф. Корша.

Хозяйство хлопотливо, с мужиком трудно. Но это не мешает ни «нежным заботам сердца», — то о какой-то женщине, вывезенной с Нижегородской ярмарки, то о гр. Е. В. Салиас, то наконец о Н. А. Тучковой, — ни возможности «целый вечер пробренчать на клавирах», ни длинным письмам к другу, полным «рефлексирования», толкам о скептицизме, о Dies-seits и Jenseits¹⁾, ни наслаждениям вином, хорошей сигарой, верховой ездой, прелестью весенней деревенской природы, — не мешает, одним словом, барской помещицкой жизни.

Любови к Н. А. Огаревой, отъезду с нею в Крым без согласия ее отца, без венчанья, так как первая жена отказала Огареву в разводе, сплетням, связанным с этим событием и поссорившим членов когда-то дружного кружка, отдалению Огарева от Грановского посвящены три последних письма, которые мы не помещаем здесь по недостатку места.

Огареву не пришлось помириться с Грановским.

«Грановский умер 4 октября 1855 года, — писала Н. А. Тучкова-Огарева в неизданном письме Е. С. Некрасовой, — внезапно, разрывом сердца. Мы ехали в Москву с Огаревым, моей сестрой и ее детьми. На последней станции мы получили письмо от Сатина, где он

извещает о кончине Грановского. Это был ужасный удар Огареву: я никогда не забуду, как ему было тяжело перенести эту потерю вероятно еще потому, что был с ним в размовке... В Москве он каждый день ездил на могилу и непременно один».

После одного такого посещения могилы Грановского Огарев написал одно из лучших своих стихотворений — «Мертвому другу», то самое, которое Герцен вставил в свои страницы о покойном Грановском в «Былом и думах» и про которое говорил, что выпросил его «в дар нашим воспоминаниям».

И ехал я на примиренье,
говорил Огарев,

Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощанье
И от тебя его принять...
Но было поздно!..

Письма Огарева печатаются по новой орфографии, с точным соблюдением особенностей языка подлинников. Недописанные части слов и слова, пропущенные явно по ошибке, заключены в квадратные скобки. Все ссылки с римской цифрой тома и арабской цифрой страницы относятся к полному собранию сочинений А. И. Герцена под редакцией М. К. Лемке.

Н. МЕНДЕЛЬСОН.

1. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Вот я и в Пбге, Гран[овский]! — Я думаю, ты чувствуешь влияние, которое он на меня производит, без того, чтоб я тебе рассказывал. Ты — я уж говорил тебе — удивительно симпатический человек, и я уверен, что ты знаешь, что теперь во мне, потому что с тобой было бы точь в точь тоже. Чорт знает! даже маленькие привычки у нас одни и те же на пр[имер] гаданье. Сходство натур великая вещь! Давно я так не привязывался к человеку, как [к] тебе. Если бы мне уступил немного способности трудиться — может, я был бы счастливее. Это разница между нами, которая для меня удручительна. Ничего не делаю, да и только. Здесь даже почти не пишу. Встанешь по утру — туман; выйдешь на улицу — холод; встретишь людей — суета бесцельная. Грустно! С вами у меня был какой-то внутренний мир, в котором я уживался; — здесь (на некоторое время, вероятно) какая-то разочарованность. Действи-

тельность и вера в большем раздоре, чем когда нибудь, чувство бессилия, безвыходности — ну словом — гадко! Не сердись за литании. Я знаю, что, в самом деле, для меня нет ни одного положения безвыходного. Я слаб характером, но не духом. Я довольно сохранил чистоты, чтоб ни в чем не теряться; довольно убеждений и спокойствия, чтоб стоять твердо, скрестя руки, и смотреть в даль без отчаянья. Но в моем индивидуе собственно много разнорванности и есть минуты, которые очень тяжелы. Что ты? Мой Ромео! Напиши мне о том, что ты думаешь и как ты любишь. Ты право хорошо любишь.

— Я ходил на могилу моей матери и не нашел ее. Пойду еще. Неужели ее срыли? Вся семья тут, а ее нет. Вот уж рассержусь то. Я никогда не знал моей матери. А эта любовь — наилучшая. — Что сказать тебе об людях? Ничего пока не умею. Один — беснуется; другие тепло чувствуют. Все мне нравятся. Но... я не дома. Фигура Кра-

¹⁾ Посюстороннем и потустороннем.

ев [ского] не произвела на меня приятного впечатления, хотя он собой не дурен. Пирожки хороши — да чорт ли в них? я и без них обойдусь. Виссар [ион] говорит, что здесь лучше, чем в Моск[ве], потому что думать нельзя. Положим что это достоинство — но весьма отрицательное. Китаизма же я, признаюсь, у нас не вижу. Что Виссар [ион], пока был у нас — был похож на бонза, — этому виноват он сам. А впрочем он славный человек. Ничто человеческое ему не чуждо. Он глубоко страдает вопросами, которые его тревожат. Знаешь что! — здесь и картины, и музыка — а в людях какое-то отсутствие глубокого внутреннего эстетического смысла. Этого довольно, чтобы я был не *einheimisch*¹⁾. — Насчет моей судьбы еще ничего не знаю. — Однако, прощай — друг мой! — Еще надо писать и отвезить посылку.

Доставь прилагаемые письма по адресу. Доставь Тучкову сам; да своди к нему Реткина. Не оставляйте этого человека, так надо. Каковы стихи Лермонтова в 4 №; а стихи на прах Наполеона — превосходны. Не знаю, будут ли напечатаны. Кланяйся. — Прощай!! — Кланяйся Блажной — я скоро к ней напишу. —

Marie жмет тебе руку; мы часто говорим о тебе.

Упоминание о лермонтовских стихотворениях датирует письмо апрелем 1841 г. Стихи на прах Наполеона — это «Последнее новоселье», напечатанное в № 5 «Отечественных записок» за 1841 г. (цензурное разрешение — 30 апреля). В № 4 напечатана лермонтовская «Отчизна» (цензурное разрешение — 1 апреля). Огарев с первой своей женой, Марией Львовной, был в Петербурге перед отъездом за границу, куда они отправились около 1 июня 1841 г. Впечатления, вынесенные Огаревым от этого посещения Петербурга, нашли свое выражение в первых строфах 2-й части «Юмора».

Мой Ромео... хорошо любилшь... «Помнишь, ученый друг, когда я тебя знал Ромео? Ты и любилшь действительно, и верить можешь, и можешь верить, что ты любил», писал Огарев из Карлсбада в письме, начатом 19 июля (1 августа) 1842 г. («Р. мысль», 1889, XI, 12).

Ходил на могилу матери... нет. Мать Огарева, Елизавета Ивановна, урожденная Баскакова, погребена на Лазаревском кладбище Александровской лавры. Очевидно памятник на ее могиле поставлен после 1841 г. Краевский Андрей Александрович

вич (1810—1889) — издатель «Отечественных записок», приобретенных им в 1838 г. от П. П. Свирина (1788—1839). Виссар ион — Виссарий Григорьевич Белинский (1811—1848). Он переехал в Петербург в октябре 1839 г., переживая полосу «примирения с действительностью», почему Огарев и говорит, что в Москве он был похож на китайского бонзу. К 1841 г. от этого настроения Белинского не осталось и следа.

Тучков Алексей Алексеевич (р. в 1800, приблиз. дата смерти — 1879). Отец Наталии Алексеевны Тучковой (1829—1913), которая в 1849 г. соединила свою судьбу с судьбой Огарева, а в 1853 г., после смерти его первой жены, обвенчалась с ним.

Реткин — Петр Григорьевич Редкин (1808—1891), приятель Огарева, Герцена и их кружка, профессор-юрист сначала Московского, потом Петербургского университета.

О — так подписывал свои стихотворения Ив. Петр. Ключников (1811—1895), поэт кружка Станкевича. Подпись эта — первая буква греческого слова, означающего бог. Другья Ключникова в пору его мистических увлечений в шутку дали ему это прозвище.

Блажная — прозвище Мар. Фед. Корш (1809—1883), близкого друга Герцена и его кружка.

Marie — Мария Львовна, первая жена Огарева, урожденная Рославлева († 1853).

2. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Как жадно слушал я признанья
Любви глубокой и святой!
О! как ты полон упованья!
О! как ты бодр еще душой!
Ты счастлив, друг мой, дай мне
руку...

Но, брат, пока ты говорил —
Какую тягостную муку
Я про себя в душе таил!
И не скажу о чем тоскую...
Я затворен в себе самом;
Я сердца ран не уврачую,
С участием буду незнаком.
К чему пишу? и сам не знаю;
Но хочется комунибудь
Сказать, что втайне я страдаю,
И что тяжел мне жизни путь;
Тебе же внутренних движений
Оттенки так понятны, друг...
Но мне не надо сожалений,
Лекарств не требует недуг.
Не спрашивай, о чем страданье
Души моей и от чего;
Но на меня ты, при свиданьи,
Не говоривши ничего,
Взгляни печально, и, быть может,
Руки пожатые мне поможет.

Долго думал, посылать или нет. Теперь стыжусь быть недоверчивым. Не

1) Здешним человеком, туземцем.

обвиняй никого в тяжелом чувстве, которое вытянуло из меня эти стихи. Никто в нем не виноват... судьба и вечно мучающийся нрав — вот что виновато. Но я убежден, что это глупое расположение скоро пройдет. Нельзя долго оставаться в безверии. — Как сказано, ты мне ничего не говори об этих стихах и отнюдь никому, ни другу ни недругу, не показывай. Моя доверенность к тебе основана на необыкновеннейшей симпатии.

Блох(?) хочет ужасно с тобой познакомиться. Не сделаешь ли ты мне удовольствие съездить со мной к ней сегодня в 1 по полудни? Отвечай! Заехать или заедешь?

Письмо в подлиннике не имеет обозначения адресата, но написано несомненно Грановскому. Л. Э. Бухгейм, которого я искренно благодарю, передал мне копию начинающего письма стихотворения. Она снята им в 1908 году с оригинала, принадлежавшего М. К. Рейхслю, где стихотворение озаглавлено: Грановскому.

Точную дату письма определить затрудняемся. Оно могло быть написано или весной 1841 г., в Москве, незадолго до отъезда Огарева с женой в Петербург, а оттуда за границу (см. предыдущее письмо), когда Грановский ждал только согласия своего отца, чтоб объявить о своей помолвке с Е. Б. Мюльгаузен, или в январе—феврале 1842 г., когда Огарев, оставив Марию Львовну за границей, вернулся в Россию и жил в Москве, часто встречаясь с Грановским, который женился в его отсутствие, 15 октября 1841 г.

3. А. И. ГЕРЦЕНУ

Марта.

Сегодня мое письмо будет не длинно, хотя бы мне хотелось сказать много; но внутри так тревожно, иногда мучительно, иногда чудесно хорошо. Жизнь моя отчасти сбилась с толку и — нося в душе чистейшую, восторженную нравственность — я на деле довольно беспутствую. Отдых ли это от целой зимы, проведенной в работе, или еще раз детское увлечение в *Walpurgienacht*¹⁾, — чорт знает! Но работаю мало. Перечитываю старые романы. Не считайте это бездельем, *carissimi*²⁾; я слежу все, что произвела скорбь в это столетие. Может, напишу статью об этом.

Я переживаю старые скорби и нахожусь в тяжелом расположении духа. Но как сказал — ношу в себе нравственное чувство и на дне брожения, которое переживаю чуть ли не в последний раз, глубоко чувствую, что я молод и силен. Я даже знаю, что слабость характера исчезнет, лишь бы я попал в такую атмосферу, где мне не нужно лукавить с самим собой. Действительно могучие характеры преодолевают ложь, — нашему брату надо *éviter le mal*¹⁾, найти положение, где бы трудно было делать дурно. Сообразовать жизнь с внутренними средствами — художественная задача жизни... Что за сентация! воскликнет *profes[sor] in spe. Gar nichts, mein Freund!*²⁾. Выпьем пожалуйста. Александр говорит, что нездорово! Я не ожидал от него такого *premier Paris*³⁾. Мы останемся при нашем мнении — не правда ли? Все здорово, что дает душе ширь. Да ведь и он только от того это говорит, что язык без костей. Впрочем ваше письмо навело на меня унылость. А всего более в вашем письме то, что барон плох здоровьем. Что же касается до прений литературных, чуть ли это не с обеих сторон мастурбация. Сухую тоску навели на меня эти прения. Я почувствовал сильное отвращение, будто проглотил скверную микстуру. Признайтесь, что в этом ничего нет живого и даже с вашей стороны. Вы натягиваете себя к спору, но он не одушевляет вас. Чувство презрения заглушает охоту спорить. Мне было жаль вас. Я был сух, печален и напился немножко с знакомыми и с знакомкою. Но вот другой день я воскрес опять. Пью пиво — ради дешевизны, перемешивая его некоторыми крепкими напитками, чтоб дойти до цели, т.-е. быть *mezzo arrivato*⁴⁾, самое благородное состояние. — Сегодня письмо от Риттера и от Ив[ана] Павл[овича] — все здоровы. Милый Риттер! С какой нежностью я люблю этого человека — трудно пересказать вам. Я его люблю, как сестру. — Фрол[ов] трудится над естественными науками.

¹⁾ Избегать зла.

²⁾ Будущий профессор. Совсем нет, друг мой!

³⁾ Передовой статьи.

⁴⁾ Слегка выпивши, — так можно приблизительно перевести шутовское выражение, пародирующее музыкальный термин.

¹⁾ Вальпургиеву ночь.

²⁾ Дражайшие.

Мысль Лавуазье дело важное. Но заметь, что Quantum¹⁾ вещества — eine schlechte Unendlichkeit²⁾. Вот тут-то помирим мне вечность и schlechte Unendlichkeit. Вопрос, который мне мучительно пал на душу. Скажи мне значение квалитета (вещества как квалитета) — в этой скучной бесконечности пространства и нигде не останавливающего[ся] развития.

Говорят — Крюков умер. Крюков! Полуденский! — вечная память!.. Schwer ist die Endlichkeit und die Unendlichkeit nicht leichter — wenn sie mir als schlechte Unendlichkeit erscheint³⁾. Помирим мне с сей последней недвижимую абстрактность идеи.

Ну! полно об этом. Но мне их жалко ужасно. Крюкова знал я мало, но привык его уважать. А Полуд[енского] я любил, как близкого по доброте души. Ну! куда же выйти из этого?..

Получил ли ты письмо, которое я тебе адресовал, чтоб доставить Ал[ексею] Ал[ексеевичу]? Я надеюсь, что ты понял нужность росписки в деньгах; но надеюсь, что ты также понял, что все, что в них не лично до тебя касается, не может быть принято на твой счет. Это было бы для меня обидно. Я просил в письме Ал[ексея] Ал[ексеевича] о высылке мне 12 т. р. Без этой суммы я не могу уехать никак, т. е. не могу возвратиться. Пожалуйста поскорей вышлите — иначе остановится моя поездка, которая также необходимость. Этот месяц я доживу порядочно. Но мне бы нужно 1-е Апреля, много 2-е н[ового] ст[илия], уехать, иначе я опоздаю. Займись сим. Да если братья в самом деле должны еще — выплаты хоть из мне назначенной суммы; нельзя же их оставить в долгу, но напишу им, чтоб впредь сего не было. Все собираюсь писать к ним и не сберусь.

Я к вам писал недавно довольно длинное послание. Получили ли его или нет?

Обедал недавно с Депре. У него премила дочь; я так давно не говорил с хорошенькой дамой по-русски, что обрадовался родному языку. И сам

Депре преславный homo¹⁾. Пито было Кампанейское.

Больше ничего не хочется говорить. — Profes[sor] in spe.

Если я тебе недостаю, то посуди, сколько вы мне недостааете. Я иногда так чувствую одинокость, что впадаю в странную хандру. Мне надо к вам. Теперь я знаю, что так надо к вам, что я едва вынесу до осени наше существование врозь. Мучительно стремлюсь к вам. Обнимаю вас крепко, крепко! Dio santo!²⁾ Ну! да доскажите себе сами все, [что] мне хочется сказать вам.

С чего вы взяли, что я плох здоровьем. Я только прогулялся по двум планетам и явился на нашу землю здоров, как Юпитер в том виде, в котором увозил Европу. Самый был гусарской поступок со стороны Юпитера.

Addio!³⁾ ручку сестра. Благодарю за маленькие, миленькие и меленькие строки — цалую трех nepotes⁴⁾ — а за сим пойду бродить.

[В ы р в а н о] знает! в предлинное послание напи [в ы р в а н о] иттеру.

Moscou

Monsieur Herzen

Его высокоблагородию

Александрю Ивановичу

Герцену.

В Старой Конюшенной, в приходе Власия, в доме Г. Яковлева.

Письмо отправлено из Берлина 8 марта 1845 г. Место отправления, месяц и число определяются по почтовому штемпелю, год — по упоминанию о смерти А. П. Полуденского и Д. Л. Крюкова: оба скончались в 1845 г., первый — 30 января, второй — 4 марта.

Барон — Никол. Христовор. Кетчер (1806—1886) — близкий друг Огарева, Герцена и всего их кружка, врач, переводчик Шекспира.

Прения литературные... Огарев имеет в виду раздоры между славянофилами и западниками, особенно обострившиеся в связи со стихотворным доносом Языкова, защитной диссертации Грановским и появлением первых «Писем об изучении природы» Герцена (см. отражение этих событий в дневнике Герцена за 1845 г., т. IV).

Риттер — Никол. Мих. Сатин (1814—1873), которого в дружеском кружке прозвали Ritter aus Tambow, рыцарь из Тамбова. Поэт,

¹⁾ Количество.

²⁾ Дурная бесконечность.

³⁾ Тяжка конечность, да и бесконечность не легче, если она является мне, как дурная бесконечность.

¹⁾ Человек.

²⁾ Святой боже!

³⁾ Прощайте.

⁴⁾ Племянников.

переводчик, приятель Герцена и Огарева с университетской скамьи.

Иван Павлович—Галахов (1809—1849), приятель Герцена и Огарева, один из ранних русских фурьеристов.

Фролов Никол. Григорьев (1812—1885)—близкий знакомый всего кружка Герцена и Огарева, особенно близкий к Грановскому, Географ, философ, переводчик «Космоса» Гумбольдта. Его дом в Берлине, где он жил с 1837 по 1847 г., был центром русской колонии.

Мысль Лавуазье. В третьем «Письме об изучении природы» Герцен приводит знаменитый закон Лавуазье: «Вес вещества не может никогда утратиться; количество материи постоянно; отвлекаясь от качественных изменений, мы остаемся при неизменном весе» (IV, 55). Названная статья появилась лишь в VII кн. «Отечественных записок» за 1845 г., и Огарев пишет о законе Лавуазье не в связи с ней, а очевидно в связи с упоминанием о Лавуазье в недошедшем до нас письме своего друга.

Говорят — Крюков умер... Полу денский! Дм. Льв. Крюков (1809—1845) — московский профессор-классик. Александр Петр. Полуденский (1817—1845)—близкий приятель Герцена и Огарева. О смерти Полуденского Огарев узнал от Сатина, писавшего ему 3 марта 1845 г. из Парижа: «Сазонов прислал сказать, что он получил известие о смерти Полуденского» («Из переписки недавних деятелей», «Р. мысль», 1892, VIII, 5, где письмо Сатина ошибочно датировано 1844 г.).

Получил ли... доставить Ал [ексею] Ал [ексеевичу]? Об этом письме Огарев писал Герцену из Берлина 29/17 декабря 1844 г. («Из переписки недавних деятелей», «Р. мысль», 1891, VI, 21).

Если братья в самом деле должны... не соберусь. В автобиографических незаконченных заметках, хранящихся в Ленинской библиотеке, Огарев дает два списка крепостных музыкантов своего отца, Плат. Богд. Огарева, где между прочим поименованы: Вас. Ив. Немвродов, скрипач и капельмейстер, его сын Иван—первая скрипка, а впоследствии, видимо, и дирижер, и другой сын—Михаил, второй контрабас. Вспоминая об этих крепостных музыкантах, Огарев писал в упомянутых заметках: «Я с этими людьми с детства, т. е. лет с 12, жил в величайшей дружбе и возмел страсть к музыке, а лет 15 и старше, в особенности с скрипачом Иваном Немвродовым, который был один из самых талантливых скрипачей и даже композиторов, каких я знал в мою жизнь; я 15 лет уже с ним напивался до пьяна водкой. Таким образом я на этих людей хорошего влияния иметь не мог, а они имели на меня влияние, которого впечатления сохранились на всю мою жизнь, т. е. я остался плохим музыкантом и закоренелым пьяницей». Кроме Ивана и Михаила, у жены В. И. Немвродова было еще два сына, рожденных от Пл. Б. Огарева: Григорий и Петр Немвродовы. О них и идет речь в настоящем письме, как шла ранее и позже в письмах Огарева и Герцена. В письмах к Герцену от 6 ноября (24 октября) 1844 г.

Огарев просит Герцена «от отклонить их от вступления в университет, бог бо крепко ограничил их умственные способности» («Из переписки недавних деятелей», «Р. мысль», 1891, VI, 9). 29/17 декабря того же года Огарев объясняет Герцену, что, советуя братьям поступить на службу, он «не столько думал о банкирстве, сколько о commis¹⁾ по какой-нибудь отдельной внутренней торговле оптового купца», о бухгалтерии у Боткина и т. п. («Р. мысль», 1891, VI, 21). Герцен 1/13 января 1845 г. писал другу, что «Немвродовы будут по писанному» (III, 434). Но так случилось очевидно не сразу, так как, во-первых, Огарев 2 февраля 1845 г. писал: «С братьями поконтите же, полно им шаяться» («Р. Мысль», 1892, VII, 34), а во-вторых, 17 апреля 1845 г. Герцен писал А. А. Тучкову, управлявшему делами Огарева, что «Навуходоносоры» просят переслать их письмо, что они нуждаются, что места нет (IV, 183).

Я... писал недавно... Вероятно письмо из Берлина, начатое 2 февраля 1845 г. («Р. мысль», 1892, VII). Герцен отметил его получение в дневнике под 2 марта 1845 г. (III, 449).

Депре — известный московский вино-торговец.

Прогулялся по двум планетам... здоров. В письме из Берлина от 29/17 декабря 1844 г. Огарев писал Герцену: «Занятия были прерваны довольно долго «скаканьем играющей чувственности» (Надеждин), вследствие чего я не скачу и глотаю всякую дрянь» («Р. мысль», 1891, VI, 2).

Сестра... nepotes... Нат. Ал. Герцен (1822—1852) и ее дети: Александр (1839—1906), Николай (1843—1861) и Наталия (здравствующая донья, род. 1844).

4. А. И. ГЕРЦЕНУ

26 Декабря. Париж.

Наконец получил твое послание и рад был ему, несмотря на его горечь. Что сказать тебе в ответ? Себя я защищать не стану, во-первых потому, что не хочу защищать себя несправедливо, а во 2-х, что там, где это и возможно, издали человек. Годы прошли, вид человека неясен в памяти, жизнь его неизвестна—ergo²⁾ он должен играть странную роль перед судом даже и дружбы. Но прежде всего я делаюсь адвокатом одного человека, на которого сыплются не обвинения, а желчные нападки. Я говорю о графе. Если ты судишь его по маленькой записке, на которую ты жаловался, то pièce d'accusation³⁾ слишком недостаточно. Если ты судишь по сло-

¹⁾ Доверенном.

²⁾ Следовательно.

³⁾ Содержание обвинения.

вам Панаевых, то я им с своей стороны советую вообще удерживаться от всяких суждений на счет людей за неимением в себе достаточных средств для этого дела. С чего же ты судишь человека, которого ты просто забыл или не знаешь. Я к нему не имею никакой юношеской привязанности, никакой исторической дружбы; я с ним тысячи раз ссорился и расходился: но не могу разойтись и после каждой размолвки сближаюсь более, по действительной симпатии к нему. Я признаю в нём благородный характер и великую силу мысли. Если кто скажет, что он ничего не делает, то я только один вопрос предложу обвинителям: от чего же он имеет если не столько же, то более сведений чем они сами? А потом спрошу их, какое право они имеют осуждать человека, из действительной внутренней жизни которого они не знают ни ноты? Я знаю и его хорошие, и его худые стороны (вероятно, в этом смысле нет ни одного человека одностороннего) и готов его отстаивать против каждого со всей горячностью симпатии и со всей твердостью действительной дружбы. Тем более готов отстаивать его перед тобою, что слишком хорошо знаю откровенность твоих суждений, и что ты не побоишься взять слово назад, если это слово неправда. — Разумеется, когда мы будем лицом к лицу, факты и люди сделаются яснее. Вот главное, что я на эту минуту хотел сказать тебе против того, что меня всего более оскорбило в твоём письме, и надеюсь, что ты поверишь странице, написанной от души и с полным убеждением. Dixi! ¹⁾).

Я к тебе также писал письмо, которое бросил и которое было не так пусто, как то, которое ты получил и пустоту которого я сам очень хорошо знаю. Но то письмо сняло бы с меня обвинение в привязанностях к былому. Я его не послал оттого, что не захотел, оно мне самому было тягостно, как тягостно всякое отрицание.

Еще намерен одно заметить относительно старого обвинения за старое дело, — говорю о М[арии] Л[ьвовне]. — Есть люди, редкие люди, которые просто счастливы в супружестве, которые

счастливы с той женщиной, которую они одну любили и ни прежде, ни после ни одна женщина не входила и не войдет в их жизнь. Есть люди, которые имеют достаточно характера, чтоб скрывать страдание даже от самых близких людей и оставаться в этом положении. Признаюсь, я иногда жалею, что не имел силы на последнее, не из привязанности к М[арии], а оттого, что своевольные привычки устранены в домашнем быте, а подчас чувствуется великая потребность к порядку в жизни. Надеюсь устроить его и так, solo ¹⁾), хотя мне это трудней чем комунибудь, и, разумеется, не каюсь в том, что я одинок и почитаю это все же более благородным, чем всякие лицемерные условия ради спокойствия жизни. Но отсутствие семейства — действительно — наводит очень тусклый колорит на жизнь и допускает брожение, которое мне самому надоело. Что же касается до трудности, с которой я расставался, в этом обвинять не годится. Если когда-нибудь была горячая привязанность к женщине, то оно становится трудно; прибавь к этому слабость характера, весьма глупую, и нежность, весьма человеческую. Я прошу на этот счет indulgentию и забвение. Зачем ты вводишь себя в сравнение — я не понимаю, потому что даже из этого факта, что наша дружба не поколебалась ни на минуту, можно устранить сравнение. — Что я не достиг совершеннолетия и может не достигну его, в этом каюсь. Также каюсь, что скверно быть в географическ[ой] зависимости насчет труда; я сам разругал за это человека посильней меня. Но к сожалению это факт; в иной атмосфере иначе, легче дышится, и внутреннее спокойствие и светлость поддерживают труд. В другой атмосфере это иначе делается. Я не умел жить выше климатических условий и виноват. Однако я не совсем без дела, хотя и не занят наукой. Много письма в виду и кое-что делают; но говорить об этом не хочу ни с кем. Странно! Но мне кажется что с каждым днем далее все интимное более и более заключается внутри и не хочет высказываться. Я не люблю этого одиночества, но, видно, в самом деле я теряю юное и больше

¹⁾ Я сказал.

¹⁾ Один.

затворяюсь в самом себе. Не хочу принимать это *in sich gehen*¹⁾ ни за силу, ни за зрелость, это просто горечь осела на дне души. Но *sufficit*²⁾ об этом. — Я не заметил, что Гран[овский] бросил в меня камень, выпрошу его письмо у Фрол[ова], чтоб перечесть. Ты изобрел глупое слово: бросить камень, когда друг высказывает то, что его оскорбило в друге. Ты же не камень в меня бросил, друг мой, а высказал то недовольство мною, как я его высказываю часто самому себе, и тем больше заставляешь меня видеть в тебе моего *alter ego*³⁾. Я даже и насчет тебя согласен, что ты диллетант в науке в сравнении с милым профессор[ором], но не совсем; он — мой самый симпатичный из смертных — сам отдает тебе справедливость. Обнимаю его горячо. Камень его принимаю со всею откровенностью прямодушия и с полной верой в его дружбу. *Carissimi*, я менее, чем диллетант в науке. Часто ее запросы спят во мне, и я могу работать только тогда, когда они пробуждаются. А без внутреннего запроса, не хочу работать, это *sui generis [dolce] far niente*⁴⁾. Может быть я долго еще не перейду к труду, который существует в намерении, т. е. к труду в науке, но этому, причиной будет не лень, а занятие иным, занятие, которое слишком сильно занимает мысль и сердце, чтоб не сделаться исключительным. *Ergo* — ну! да из этого ничего еще не следует. Зачем барон становится брюзгой? Неужто лета должны изменять... нет! ошибаюсь. Лета только выдвигают угловатости, лежавшие под прикрытием юности. У каждого свои. Снесем их терпеливо и с любовью.

Деньги получены и еще кое-что приполучится. Около 12-го выедем. Вышли поскорее тысячи две в Берлин, адресуй *Herrn Schroeder, Buchhandlung, Unter den Linden, № 23* для передачи мне. Это из опасений, чтобы не застрять на дороге, но не замедли. —

Прилагаю письмо от Фрол[ова] к тебе. Сат[ин] сам припишет. Обнимаю вас всех крепко, и тебя, сестра, и де-

тей. Отчего я по вас плачу и все не еду? — Чорт знает. Раз только рационально хотел поступить, уехав сюда, а не к вам, а вышло довольно глупо, а с тех пор все деньги мешают. Вот и не все, что бы сказать хотелось, но письму *finis*¹⁾.

Приписка Н. М. Сатина.

Письмо твое горько, но справедливо! Прости мне, что я отчасти принял его и на свой счет, хотя очень знаю, что я ни насколько не входил в твои упреки... Потому-то, может быть, они были для меня еще горчее! Я давно перестал жаловаться и знаю, что приходит время, когда человек должен нести всю ответственность на самом себе или гибнуть. Рад, что хоть ты и Гр[ановский] будро несете ее, и оттого еще более хочется скорее быть с Вами. Здесь я знаю только одного человека, который живет истинно и в обществе которого вольнее дышется; и с тем я не умел сойтиться ближе. Но скоро увидимся, ежели здоровье мое, которое все плохо, не задержит меня по дороге. Непременно пришли денег в Берлин, насколько не мешкая; ежели что задержит, то по крайней мере сделай так, чтоб мы нашли твое письмо в Берлине. Обнимаю всех Вас и тебя, милый друг Наташа, с детьми.

Датируется 1845 годом, так как несомненно представляет собой ответ на письмо Герцена от 23 ноября (4 декабря) 1845 г. из Москвы (IV, 387—389).

Граф. Так же, как и комментатор письма Герцена, затрудняюсь сказать уверенно, о ком здесь идет речь. Свое предположение по этому поводу оставляю до сборника.

Панаевы — Ив. Ив. Панаев (1812—1862), писатель, в 1847 г. вместе с Некрасовым купивший у Плетнева «Современник», и жена его Авд. Яков. (род. около 1820 г., † 1893) по второму мужу Головачева.

Старое обвинение... Друзья упрекали Огарева за слабость характера, мешавшую ему решительно порвать всякие отношения с первой женой Марией Львовной, на которой он женился в 1836 г. Супруги расстались в 1843 г. По вызову жены Огарева в 1844 г. ездил к ней из Парижа в Италию, где она жила с художником Сократом Воробьевым. Огарев готов был признать себя законным отцом ожидавшегося ребенка, который родился мертвым.

Грановский бросил в меня камень. Речь идет о письме Грановского к Н. Г. Фролову от 17 октября 1845 г. с упреками по адресу Огарева, в жизни которого че-

1) Уход в самого себя.

2) Довольно.

3) Мое второе я.

4) Своего рода [сладкое] безделье.

1) Конец.

редуются «искания мелких, дешевых наслаждений», «припадки раскаяния и успокоения себя в сознании собственного бессилия» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, 420).

5. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

17 января. Акшено.

Вчера возвратился из Инсара с рекрутского набора. Сегодня получаю твое письмо и пишу к тебе. Спасибо за твое письмо, и за его содержание, и за скорость ответа на мое. Много хотелось бы поговорить с тобою, Грановский; постараюсь поговорить на бумаге, сколько могу. Прежде чем стану говорить о нас самих, скажу несколько слов о впечатлениях, принесенных мною с поездки в Инсар. Я в первый раз был в рекрутском присутствии, а ты никогда не бывал, и тебе трудно вообразить, как тяжело это зрелище. Грудь сжалась, и голова закружилась, я думал, что у меня или слезы хлынут, или я упаду. Но ни того, ни другого не случилось, а случилось то, что я через полчаса привык и понял, что большая часть присутствующих членов должны оставаться совершенно равнодушными решителями судьбы этих голых людей с видом испуга или отчаяния, окруженных рыдающими женщинами и трепещущими стариками. Если Ал[ексей] Ал[ексеевич] где действительно полезен и гуманен, это при наборе. Честь ему и слава! — А между тем, Грановский, что за идиотство в массе народа, это также трудно представить. Это меня очень оскорбило. Я мало верю в важность литературы, а теперь равно мало верю в важность практической деятельности, и меня обдает каким-то хаосом, в котором я чувствую себя затерянным, и рад-рад, когда, приехав домой, ухажу в расчет о кристаллизации карбона (несмотря на то, что ты уверен, что я не сделаю бриллианта) или без жалости к бараньему поколению с величайшей подробностью вскрываю овец.

Еще раз перечитываю твое письмо и жму тебе руку. Я знаю, что мы не разошлись, что любим друг друга. Что я сердился потому, что хотелось вполне быть согласным, и это правда. И я прав, потому что этот вопрос для меня главный в жизни, и если я неловко брался за споры, то это в самом деле

потому, что я был зол. Грановский! Теперь *sine ira et studio*¹⁾ несколько слов о рефлексии. Я уважаю рефлексию, но не тогда, когда она делается систематическим самооправданием. Я не могу признать твою терпимость за скептицизм. Это просто терпимость, чувство самое раздражительное, когда хотят его сдвинуть с места. Я это говорю по собственной рефлексии. Я сам одарен этой терпимостью, хотя менее, чем ты, но это чувство едва ли носит в себе примесь уважения к чужому лицу, к чужим убеждениям. Но просто темперамент, который вот как ни бейся, не хочет допустить до себя известной степени вперед толкающей силы, т. е. той силы, которая действительно дает силу в жизни, дает личность отрицающую все враждебное. *Esprit de partie*²⁾, Грановский, еще не есть односторонность точно так же, как терпимость не есть многосторонность. Терпимость, переведенная на простой язык значит: «я не трогаю ваших мнений, не троньте моих». Это ли скептицизм, Грановский? Скептицизм, равно отрицающий направо и налево, любит бить направо и налево, а не давать места и тому, и другому. Скептицизм насмешлив, Грановский! Нет, *caro*³⁾ — ты не скептик! И в известном главном вопросе ты несогласен с нами не из скептицизма, а потому, что ты любишь другое мнение; и этого мнения ты не выдаешь за правду не из скептицизма, а потому, что ты в самом деле не убежден, и только любишь его. Оно не нужно для твоего счастья — может быть; но оно для тебя утешительно, особенно в иные минуты, когда сердце доступно нежности и грусти. Грановский! Я уже лучше бы хотел, чтоб оно нужно было для твоего счастья, и чтоб ты стоял за него, как за правду. Ты говоришь о другом убеждении, довлеющем твоему счастью, и забываешь, сколько то и другое в настоящую минуту связано. Я понимаю то убеждение, где мы неразрывны, где мы одно. Но вот я чего боюсь, Грановский, что принявши последнее за центр, а развитие за расходящиеся радиусы (если ты сколько-нибудь помнишь Гео-

1) Совершенно спокойно.

2) Дух партии.

3) Дорогой.

метрию), то как бы близки в начале ни были эти радиусы, в дальнейшем продолжении они все больше должны расходиться. Но, положив руку на сердце, я решил ничего не принимать за центр, кроме нашей личной близости и любви, и потому в заключение крепко обнимаю тебя. Наши споры впереди не должны носить отпечаток желчности, хотя ровный характер искреннего искания правды едва ли в них возможен. Если последнее было возможно, мы были бы грандиозные люди, Грановский. Да мимо идет желчность; но если придется в книге или в аудитории вести спор, мы найдем в себе силу биться с неумолимым упорством, но не как человек с человеком, а как убеждение с убеждением. Для этого надо ужасно много силы и любви друг к другу, страшно много, Грановский! — Рефлектирую, я добился до истинного значения силы характера. Это обладание своей деятельностью, это ровность, Harmonie mit sich selbst¹⁾ в своих поступках, несмотря ни на какую обстановку в жизни; это то, что называется в полководцах хладнокровием, и что вовсе не есть хладнокровие, а поставление себя выше страха, и озлобления. В науке это будет не беспристрастие, а поставление себя выше увлечений; это может только дать истинное убеждение. Но заметь, что тут нет ни увлечения, ни сожаления. Рефлектирую — и хочется себя пересоздать и добиться до силы, о которой говорю, и между тем слабость моего характера тебе достаточно известна. Как выпутаться? Нужен метод. Я решил избегать всякого конфликта, где бы воля моя не устояла, до тех пор пока сознание, мысль, идея той силы характера не возрастет до пафоса; тогда я стану искать тех конфликтов; результат должен быть — постоянная привычка действовать в желанном настроении. Жизнь страшно важна, Грановский, с тех пор, как в ней надо развить le salut de l'ame²⁾.

Das Anzulängliche
Hier wird's Ereigniss!

Чтоже наконец Г[ерцен], уехал или нет? С сей почтой стану писать ему в Питер. Вы провожали его и пили! Я не пью, Грановский, т. е. не больше, даже меньше бутылки в день. От этого мне жить легче стало. Я думаю, что вовсе отвыкну пить, стану разве только при действительно симпатичных встречах. Иначе стану пить только до той степени, до которой вкус требует вина «залить горячий жир котлет». В известной настроенности и один выпью лишний стакан, но это редко случится, потому что одному вино редко придает жизни. Пусть жизнь сама собой растет.

Зайди, но пожалуйста немедленно, к Розенштрауху. Я писал Ив[ану] Ив[ановичу] Лудвигу (знаешь его, сидельцу — моему приятелю) о немедленной высылке мне сигар, тех, что я брал по 33 р. сотню; если нет, пусть каких нибудь prensades вышлет от 30 до 45 р. за сотню, — 500. Я уже давно жду; у меня осталось только 15 сигар. Надо выслать по почте и поскорее.

Обними от меня Корша за статью Бэра, да скажи ему, что я еще газет на этот год не получал, а просьбу о высылке и деньги выслал к нему, не помню когда, а кажется давно, а, может, и недавно. Обними Кавел[ина] за статью в «Современнике». Я намерен писать на нее замечания, — не критику, этого я не в силах, а замечания, какие в голову пришли, с просьбой о дополнении его статьи, и скажи ему, что таки очень много собираюсь с ним говорить об ней и, может, напишу к нему, только едва ли, по многим причинам. Во-первых, потому, что Панаев мне не высылает «Современника» и следовательно мне нельзя иметь статью под рукою. Видно, Панаев не надеется на мою стихотворную плодовитость; я, пожалуй, и деньги внесу. Вот я ж его за это завтра же обделаю. Кстате о моей поэтической деятельности. Она равна нулю. Химия и Физиология поглощают все время. Но один цикл лирических стихотворений расширился в концепции, и я надеюсь, что выйдет не дурно. Только печатать не хочу, вскоре по крайней мере. Поэтому Панаев прав, если не ждет от меня стихов, а если ждет, то как бы не ошибся. Если нужна какая работа, пожалуй, возьмусь, лишь бы не

¹⁾ Гармония с самим собой.

²⁾ Душевное благо.

срочная. — «Тройка» Некрас[ова] чудесная вещь. Я ее читал раз десять.

— Юношеские потребности + недоверие к собственному чувству значат немогут, Грановский. Вот почему я и заподозрил в романтизме то, что может вовсе и не романтизм. О рефлексия! Я не имею недоверия к собственному чувству, Грановский, а юношеского чувства тоже не имею. Чувство приняло иной характер. Слабее ли оно, хуже ли? Нет. Но оно иначе происходит, внутренний процесс иной. Вот что, caro! — вернуться к юному нельзя, но совершеннолетнее и не хуже, и не ложнее. Зачем же недоверию к собственному чувству и желанию чувствовать юно, тогда как чувствуется мужественно? Я мало верю в твою старость. Болезненность имеет огромное место в нашей жизни, но она ложь; она является под известными впечатлениями, которых сила должна больше и больше исчезать с возрастанием ясного сознания. Любить и жить dans le vogue (в котором есть гибельно увлекающая поэтичность) становится с каждым днем невозможней. От этого грусть с ее *Mondscheinfarbe*¹⁾ переходит, может быть, в тяжелое горе, но которое выносить ясно и мужественно становится как то хорошо. В поэзии этого горя есть какая то интеллигентная *Sonnenlichtfarbe*²⁾. Может это романтизм нашего времени, который ближе к действительной жизни, aber die Harmonie des Lebens ist noch nicht errungen³⁾.

Вперед, вперед моя история!
Nur Beharrung führt zum Ziel,
Nur die Fülle führt zur Klarheit,
Und im Freyen wohnt die Wahrheit⁴⁾.

Извини, что я сделал весьма скверный стих для избежания слова *Abgrund*⁴⁾, который не представляет моему воображению ничего кроме болота. А что я заменил его словом для *das Freye*⁴⁾, в этом дам отчет: Zwischen Realität und Wahrheit ist ein grosses Unterschied. Die Realität ist bloss saggend, ohne sich zu bekümmern, ob sie wahr oder falsch ist. Nur das frei hervorgebrachte, d. h. das bewusste Wirken, nur

das Menschliche, das aus der Indifferenz der Realität sich befreite, kann eine Wahrheit sein¹⁾.

Прощай, caro! пиши скорей и чаще. Ты теперь ближе по дистанции, чем другие, а я один. Письмы от тебя придут скоры и свежи; а от других посмотришь — писано 1-го, получено 15 следующего месяца. Это очень обидно.

Напиши подробности об отъезде Герц[ена].

Кланяйся жене. Скажи ей, что я твержу *adagio D-dur*гой (так!) сонаты. Addio. —

18 Генваря. Распечатываю и еще приписываю, списываю слово в слово то, что я написал сейчас Герцену о весьма важной для нас новости; *oscoltate*: «Иван Галахов женится на племяннице мужа *M-me Kenney*, на той Элизе, которая у них живет. Это меня бесит. Добрая, но скучнейшая из скучнейших англичанок. Что за сумасшедший! Она, говорят, в него влюблена, да неужели же из сострадания жениться? Верно, Фролов его уговорил упрочить свое благоденствие любовью женщины тихой, скромной и, прибавлю, весьма некрасивой и тупоголовой, да еще скверно поет вдобавок».

А где Гал[ахов] не знаю, говорят в Пиринеях. Брат его был при наборе, но я его уже не застал.

Датируется 1847 г. по упоминанию о проходах Герцена и «Тройке» Некрасова, напечатанной с посвящением И. И. Маслову в № 1 «Современника» за 1847 г. Ответ Грановского на это письмо см. в книге «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 448—449. Ответ, как видно из сопоставления его со следующим печатаемым нами письмом Огарева, дан не полностью. Попытки отыскать в Москве подлинник письма Грановского оказались безуспешны: в бумагах редактора переписки Грановского, А. В. Станкевича, хранящихся в Историческом музее, есть лишь сделанная рукою В. Н. Щепкина копия напечатанного отрывка из письма.

Если Ал[ексей] Ал[ексеевич]... при наборе... Н. А. Огарева сохранила в своей записной книжке копию вопросов, сделанных ее отцу в III отделении после ареста

¹⁾ Между реальностью и истиной — большая разница. Реальность говорит просто, не беспокоясь о том, истина она или ложна. Только свободно произведенное, т. е. сознательное действие, только человеческое, освободившее себя от безразличия реальности, может быть истиной.

¹⁾ Красками лунного света.

²⁾ Краска солнечного света.

³⁾ Но гармония жизни еще не достигнута.

⁴⁾ См. примечание после письма.

1850 г. Шестой вопрос был таков: «Правда ли что вы вмешиваясь в обществ. дела К- Кр— восстанавляли их против начальства, а во время рек-наборов научали Кр. подавать неосновательные жалобы?» («Русские пропилен», IV, 107). См. также «Воспоминания Н. А. Огаревой-Тучковой, стр. 31 и сл.

Расчет о кристаллизации карбона... вскрываю овец. Следы занятий Огарева химией, физиологией, анатомией сохранились в нескольких его тетрадях, принадлежащих ныне Ленинской библиотеке. В одной из них, под заглавием: «Analyse Substances divers»¹⁾, начат между прочим качественный анализ воды какого-то источника, близ Яхонтова (имение Тучковых) — «Source d'une eau minérale, près de Jachontovo. Analyse qualitative»²⁾. В другой тетради — химические отметки по книге Грэгга.

Das Anzulängliche
Hier wird's Ereignis—

два стиха из заключительного «Chorus mysticus» во 2-й части «Фауста»:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Anzulängliche,
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ists getan;
Das Ewig-Weibliche
Lieht uns hinan.

Огарев переводил этот хор так:

Все преходящее —
Только сравнение;
Недостижимому
Здесь выполнение;
Невыразимое
Здесь совершается,
А вечно-женственным
Душа пленяется.

(«Стихотворения» Н. П. Огарева, изд. Сабашниковых, т. I, стр. 407).

Герцен уехал или нет? Герцен уехал за границу 19 января 1847 г.

Обними от меня Корша за статью Бэра... Евгений Федор. Корш (1810—1897)—один из наиболее близких Огареву и Герцену членов их кружка, с 1842 г. редактировал «Московские ведомости». В № 157 газеты за 1846 г. была помещена статья: «Честность русских промышленников на Новой Земле (из статьи академика К. М. Бэра об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности)». Статья описывает быт промысловых артелей на Новой Земле, подчеркивает исключительное бескорыстие и честность членов артелей и кончается так: «Можно представить себе, в каком восхищении, видев промышленников Новой Земли, я прибыл потом к поморцам Белого моря. Но здесь меня уверили, что те же люди, столько честные, верные и бескорыстные далеко на

севере, делаются хитрыми и лукавыми в сношениях с полицейскими властями. Там они почитают свои обычаи необходимостью, здесь же видят в законах только препоны, которые надобно обойти».

Обними Кавелина... о дополнении его статьи. Имеется в виду статья Конст. Дм. Кавелина (1818—1885), впоследствии выдающегося русского историка, юриста, публициста и общественного деятеля, «Взгляд на юридический быт древней Руси» («Современник», 1847, № 1), вызвавшая большой интерес и оживленную полемику. О ней сочувственно писал друзьям и Герцен из Берлина, 8/20 февраля 1847 г. (см. А. И. Герцен. «Новые материалы». Труды Публичной библиотеки МСССР им. В. И. Ленина. М. 1927. Стр. 28).

Цикл лирических стихотворений — вероятно «Монологи», напечатанные в т. III «Современника» за 1847 г.

Вперед, вперед, моя История!

Und im Freyen wohnt die Wahrheit
—русский стих—начало 4-й строфы VI главы «Евгения Онегина», немецкие — три заключительных строки из стихотворения Шиллера «Spruch des Confucius» с указанной Огаревым заменой слова Abgrund (пропасть) словом das Freye (свобода). А. Мейснер перевел строки Шиллера так:

Помни, что с твердостью только упорной,
Дойдешь ты к желанной мечте.

Что истина кроется в пропасти черной,

Что ясность живет в полноте.

Иван Галахов женится... на той Элизе. Иван Павлович Галахов (1809—1849) — приятель Герцена и Огарева. Был женат на англичанке Элизе Боуен (Bowen). M-me Kenney — Мария Павловна, урожденная Галахова, сестра Ив. Павлов. На другой сестре, Елизавете Павловне, был женат Н. Г. Фролов.

Брат его... не застал. У И. П. Галахова было два брата: Александр (род. в 1802 г.), впоследствии петербургский обер-полицеймейстер, и Сергей, лицеист выпуска 1823 г. Речь идет вероятно о втором (см. непоступавшую в продажу книжку: «Генерал-лейтенант Гавриил Аристархович Галахов» 1826—1899. Биографический очерк с приложением родословной семьи Галаховых и портрета. Издание исключительно для членов семьи и друзей покойного. Составлен И. Г. Галаховым. СПб. 1899).

6. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

14 февраля. Акшено.

Сегодня я воротился от Ал[ексея] Ал[ексеевича], у которого провел дней 15, ничего или почти ничего не делая. Надо было отдохнуть. Я было заработался и вдруг впал в какой то декуражмент и не мог оставаться один. Теперь это прошло. С некоторого времени я еще больше полюбил А[лексея] А[лек-

¹⁾ Анализ. Различные вещества.

²⁾ Источник минеральной воды около Яхонтова. Качественный анализ

сеевича], т. е. с тех пор, как вижу ближе внутренний процесс его жизни. Живое лицо и его История делаются для меня предметом глубокой искренней симпатии и вместе с тем эτούдой. Сколько трагического в каждом человеке, Грановский! И вот возле, вижу, растет молодое поколение, которое я знал в детском возрасте, и что-же? — оно как то фаталистически стремится опять к трагедии и вырабатывает все трагические элементы, которыми самая обыденная жизнь нестерпимо богата. Но теперь не стану об этом говорить, хотя это начало и имеет соотношение с остальной частью моего письма. А эта часть заключается в ответе на твое письмо. Я твоим письмом весьма доволен, потому что мы, кажется, можем теперь хорошо войти в полемику.

15 февр[аля]. Вчера вместо того, чтобы продолжать писать, целый вечер пробрянчал на клавирах и рано лег спать, потому что предпрошедшую ночь провел напролет без сна — в дороге, которая становится отвратительна. Сегодня целое утро провозился над одним химическим процессом, которого результат никак не умею определить.—

Теперь речь о твоём письме. Не знаю, как начать, чтобы яснее выразить, что думаю. Начну вот с чего, — с обвинения меня в романтизме. Это приведет к цели. 1 — Я несколько отстаиваю себя в романтических побуждениях известного разряда, но не в тех, в которых ты меня обвиняешь.

Ты обвиняешь меня в высокомерии, которое тебе тем страннее кажется, что является после безверия в литературную деятельность и безверия в практическую деятельность. В гордости я несколько не извиняюсь; может, это мой самый сильный порок, и хотя он происходит от весьма страстной ненависти против не моего убеждения, но все же, вероятно, порок. Но не в том дело. Оставим язык уверений о самих себе, которые могут быть и произвольны, чтобы говорить языком понятней, которые должны сами собой убеждать; иначе мы не придем к правде и будем вращаться в сфере самолюбий, которые могут заставить нас сердиться и нехорошо, узко сердиться. — Ты пишешь о Кир[еевском], который перенес свои желанья в загробную

жизнь; ставишь меня в параллель, как перенесшего свои желанья в 3-е или 4-е столетие и бог знает куда и говоришь про себя:

Auf dieser Erde blühen meine Freude.

Caro! когда же я тебе говорил, что перенес свои желанья куданибудь вне себя? Вероятно, этого в моем письме не было, потому что это schnurstraks¹⁾ противоположно моему убеждению. Я точно так же мало принадлежу к стремлению Кир[еевского], сколько к тому, которое ты мне навязываешь. Jenseits²⁾ для меня равно абстрактно как в том, так и в другом. А Diesseits³⁾ существует одно: индивид с его гуманным содержанием и исторической обстановкой. Пружина деятельности одна: стремление разрешить те вопросы, к которым историческое развитие (жизнь) и логическое развитие приводят индивида. Это одно существенно и неотъемлемо, и нужды нет, верит индивид в будущие успехи человечества или нет. Индивиду нужно разрешить те вопросы общечеловеческие и личные, к которым он пришел по своему развитию, иначе ему дышать нельзя. Человек даже ничего внешнего не может понять иначе, как через себя. Никто не мог ни жить, ни умереть ради чегонибудь внешнего или ради других, но только ради своего убеждения и своей любви. Вот единственный факт, единое понятие, во что я верю и в чем я убежден. Оно так должно быть а priori из понятия индивидуальности, и так есть по опыту, потому что мы не видали еще людей, которых жизнь вся поглощена практической деятельностью, не видали, чтобы они, разуверясь в своем влиянии, перестали работать на практическом поприще. Какое бы ни было разуверение, но они делают, потому что не делать они не могут. Вот тут мы с тобой и согласимся, что абсолютной истины нет, и я никогда тебе не проповедовал абсолютную (мне впрочем неизвестную) истину. Истинно может быть многое, но истины абсолютной быть не может; абсолютная истина была бы принцип в его полнейшем развитии; а где же эта апогея развития? А если она грань

1) Прямо.

2) Потустороннее.

3) Посюстороннее.

принципа, то вместе с своей апогеей принцип доходит до конца, до своей смерти, что всегда и бывает с истинами относительными. Из этого не трудно заключить, что абсолютная истина есть сама в себе противуречие и ergo существовать не может. Но относительная истина последующая враг истины предыдущей. От этого [хотя я далеко не смею назвать себя скептиком, не смотря на высокомерное желание попробовать собственную внутреннюю силу (в чем каюсь)]¹⁾ — от этого я в скептицизме вижу признание чегонибудь неадекватным истине, хотя эта истина и неизвестна; а это непризнание (это $2.2 \neq 5$) не может терпеть, чтоб чтонибудь выдавало себя за истину ($2.2 = 5$), не может терпеть ни в других ни в себе, а тем менее держать чтонибудь подобное pro domo suo!²⁾, для личного удовольствия.

Вот ты опять на меня рассердишься! Нет! пожалуйста не сердись, Грановский! Мне, верно, не хочется уязвить тебя; я думаю, ты такой мерзости от меня и не ожидаешь. Но мне больно, что ты считаешь задушевым, личным то, что признаешь больным (твои слова); это меня и бесит и оскорбляет. — Ты говоришь, что фантазия не ослабит практической деятельности. А ты думаешь, что фантазия, которой человек задушевно предан (верует) не отнимает die Kraft der Negation³⁾. «Жестокый анализ чужих убеждений возможен только в века праздные, подобные нашему...» пишешь ты. Не от этого ли древний мир казнил Сократа, вздумавшего учинить жестокий анализ его убеждений? — Cogo! где же ты видел век, в котором бы убеждения ходили на свободе? Может, в наш век они ближе к тому, чем в древнем мире, мы терпим людей, но все же мы терпим людей, а не мнения. Мы можем уважать Еврея, но враждовать с Моисейским законом. Да как ты хочешь примириться с чужим убеждением, или оставлять его в покое, когда из убеждения строится все, — жизнь, наука и цивилизация? Es lebe die Partei!⁴⁾, хотя бы эта Partei был один человек.

Есть в человеке то, до чего я не допущу анализ не только постороннего, но и самого близкого: это его отношение к лицам. Я не трону, но от всей души полюблю человека, который привязан к другу, к отцу, к матери, к любовнице, несмотря на их недостатки. Но убеждение — достояние общее. — И что за раздел теории и практики? Разумеется, практика — язык теории, но ведь он ее-то и выражает. — Ах! Грановский! Ну! как же еще ты пишешь: «у меня есть известное число идей»... Но как будто можно на этом остановиться и в нерешенных вопросах оставаться на том, что они нерешенные вопросы? А между тем лелеять их, как любимые фантазии?

Скептицизм, говоришь ты, идет не одним путем насмешки и иронии, но и путем скорби. Совершенно согласен. Но определим слово: скорбь. Высшая скорбь отстать от своего верования, потому что оно не адекватно истине. Эту скорбь действительно носит в себе скептицизм. Это скорбь человека, который видит себя принужденным жертвовать историей разуму, убеждением по преданию убеждению логическому.

Скептицизм — высший представитель неумолимости разума. Не подумай, чтобы я защищал абстракцию. Разум есть только сознание факта, оправдание существующего законно — перед произвольным. В неумолимости скептицизма действительно ужасно много скорби и трагического. Нет, например, ничего труднее и скорбнее как признаться, что не любишь женщины, которую долго любил; а это дело скептицизма. Нет ничего скорбнее, как не позволять себе увериться в том, чему желаешь верить. Это дело скептицизма. Наконец, в науке нет ничего скорбнее, как отстать от мысли, которую лелеял. И это дело скептицизма. — Скептицизм еще не есть сомнение во всем; это было бы maaslos¹⁾ и неопределенно. Скептицизм — сомнение во всем, что не имеет causa sufficiens²⁾, проверка факта разумом и рассуждения фактом; скептицизм есть негация прошедшего и настоящего (о будущем он не имеет права гово-

¹⁾ Квадратные скобки — в подлиннике.

²⁾ Для себя лично.

³⁾ Силу отрицания.

⁴⁾ Да здравствует партия!

¹⁾ Лишено меры, безмерно.

²⁾ Достаточной причины.

ритель, как о деле, которого он не знает)... Скептицизм есть действительное движение и безбоязненность скорби. Он ищет ясности и определенности и не терпит никаких теорий и фантазии, не адекватных истине (хотя она ему неизвестна!)...

Но что же это я пишу акафист скептицизму?.. Я в самом деле не скептик, я не достиг до высоты скептицизма, хотя стремлюсь к ней. Я в самом деле, саго, может быть, только алхимик даже в самом скептицизме. Но я еще не убежден, чтоб трудом не можно было сбросить алхимическую фантазию и добиться ясности в теории и жизни, т. е. отсутствия сумерек.

Вот я напутал тебе какое-то длинное письмо наскоро, а тут меня прерывают разного рода поверенные. Это страшно скучно; никак не могу принудить себя к делам; просто чувствую неодолимое отвращение. Всякую почту собираюсь написать письмо, которое может покончить мои дела, и всякую почту не могу решиться — по лени и потому, что мне внутренне неловко решиться на известный поступок. А надо.

Еще: ты не подумай в самом деле, что я Алхимик там, где можно было быть алхимиком, т. е. в химии и естественных науках. Химия становится с каждым годом определенной, и трудно выйти из нее в Алхимию, как бы из Математики. История образования планеты и организма — вот задача, которую решает один опыт без примеси фантазий. Я желаю ради этой задачи трудиться сколько жизни хватит и в методе занятий иду осторожно. Бриллиант, о котором я говорю шутя, в самом деле для меня важен, потому что путь, по которому природа творит, важен; тут не ставь в параллель искания делать золото из всего на свете, тут просто искание привести известные (сopnus) элементы в известное состояние. Химия лучше всякой науки доказывает, что каждый синтезис есть анализ. Впрочем, я не хлопочу о бриллианте, потому что слишком много вещей надо узнать, и некогда еще приниматься за новое. В жизни я страшный Алхимик, Грановский! и ты в этом прав.

Прощай! мне не хотелось посылать письма, потому что как-то еще много сказать хочется, но не хочется и почты

пропустить, да и в город надо посылать больного к медику, потому и спешу. Сигары получил. Цены не знаю, да и им цены не знаю: так они хороши.

Прощай еще раз. Крепко жму руку.

Речь о твоём письме... — см. примечание к предыдущему письму. Датируется 1847 г.

Киреевский—Ив. Вас. (1806—1856)— один из виднейших представителей славянофильства. По словам Герцена в «Былом и грядущем» (XIII, 145), «совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена».

Auf dieser Erde... Freude — и на этой земле цветут мои радости. Быть может, Огарев здесь неправильно цитирует (что с ним часто бывало) стих из первой части «Фауста»:

Aus dieser Erde quillen meine Freuden,
т. е.: из этой земли проистекают мои радости.

7. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

25 Апреля. Акшено.

Надеюсь, что твоя головная боль прошла прежде моей лени писать письма. Ты вздумал мое молчание приписать тому, будто я сержусь за которое-то из твоих писем. Нет, друг мой, по чистой совести этого не было. Я ни на одно письмо не сердился. Да казнит тебя стыд за это предположение! А не писал я потому, что не писалось. А не писалось потому, что я довольно долго жил у Ал[ексея] Ал[ексеевича], который все собирается ехать за границу, так что не знаешь, когда придется с ним проститься. Знаешь, что он непременно поедет, а между тем или откладывает или молчит об этом предположении. Я его узнал короче в это время, Грановский! Какой это чудесный человек, и сколько в нем утратилось бесплодно силы от тысячи разных скорбей — этого ты вообразить не можешь. Я больше живу у него для того, чтобы ему было жить легче. Это я говорю *inter nos*¹⁾, разумеется. Но возвращаюсь к моему долгому молчанию. Дома мне почти некогда писать письма, ибо я делаю три вещи: хозяйничаю, занимаюсь химией и ее приложениями и пишу. —

Хозяйничаю! Ты подумаешь, что я шучу. Нет, саго, вовсе не шучу. Я надеюсь — и бо поступаю совер-

¹⁾ Между нами.

шенно чистосердечно — к будущей осени устроить так, чтобы у меня была большая ферма, а мужики остались бы совершенно сами по себе, на земле ныне ими для себя обрабатываемой, платя долг в Совет. Это я надеюсь устроить через год (т. е. почти полтора) здесь; а через три года во всех моих доменах. Ergo это не игра, которая не стоит свеч и ergo я совершенно отказался от продажи. А впоследствии, ничуть не изменяя весьма задушевному убеждению, буду продавать или в наймы отдавать или сам обрабатывать ферму. Дай только доказать всем и каждому на деле возможность этого, и тогда я доволен, и могу ехать в Москву и дальше с убеждением, что сделал дело.

По прикладной химии хлопочу делать искусственно естественное виноградное вино, а именно мадеру. До сих пор стою на разложении этого вина и не совсем безуспешно. Надежды есть и виды на возможность продавать по 50 коп[еек] ассиг[нациями] бутылку, что при содействии начальства может обратиться в народный напиток и много заменить гибельную водку. Поэтому я тут хлопочу как о цивическом поступке.

— Пишу я повесть в стихах. Одной написана одна глава, но в ней местами кой-чего не достает еще, и начата 2-я. Заглавие: «Деревня». 1-я глава: Приезд, 2-я: Отъезд (хотя и не тот несчастный Отъезд, который Панаеву с Некрасовым, чорт знает зачем, хотелось напечатать). Я готовлю ее для «Современника», но едва ли решусь напечатать, по крайней мере скоро, хотя и кончу в Июне. — Потом занимает меня другая пиима в драматической форме (хотя все же не моя заветная драма, до которой я не дотрагивался), и я ее соображаю. — Потом — я начинаю бродить по лесу. Уже некоторые цветы показались. Но листьев на деревьях еще нет. Птицы есть. Как-то хорошо становится. Набираю гербарий. Сделай дружбу, вышли мне при первой возможности, т. е. с почтой, или передай для пересылки моему поверенному Ивану Яковлеву, который к тебе за этим явится, следующие книги: 1) От Арльта а) Ein gutes Werk über die Forstwissenschaft, в) Ein gutes Werk

über die Viehzucht und с) ein Werk über die Cryptogamen das von Fries oder was neueres. 2) Флору русскую mit Rücksicht¹⁾ медицинские растения и вообще. Если такого издания не имею (я спроси знающих), пришли хоть Московск[ую] флору Двигубского; но постарайся достать что-нибудь лучшее. Для больницы мне фармацевтическая Rücksicht очень нужна, а для прогулок все нужно, да еще mit einer besondern Rücksicht auf die Cryptogamen. Попроси Мюльгаузена поговорить о сем с Ласковским. 3) Попроси у Кетчера следующий мне по его дару экземпляр Терапии Нейманна и мои лексиконы, которые мне ужасно нужны. А ему они теперь ни к чему, ибо он перевод кончил.

Арльту скажи, чтобы книги тотчас же прямо выслал по почте на мое имя. Он знает. А остальное отдай Ивану Яковлеву и деньги на книги от него получи. Dixi комиссии... Теперь опять о себе. Брожу я по лесу до ночи, и, право, хорошо, Грановский. Внутренно мне довольно тяжело и mangelhaft²⁾, но я переживаю какую-то поэтическую эпоху моей жизни. Даже деятельность хозяйственная не мешает мне; в ней стало для меня какое-то живое дело, которое поддерживает во мне деятельность мысли, чувства и даже фантазии. После завтрака я отправляюсь верхом по полевым работам или по лесоводству. В этом проходит часа четыре. Потом дома что-нибудь поделаешь. Погом обед. Потом иду бродить. Прихожу и распределяю работы на завтрашний день, при сем толкую с час с мужиками. Потом пишу или учусь (как же назвать иначе чтение человека, который все еще школьник в науке?) часов до 3-х или четырех ночи. Встаю в 10 и опять тоже. Вина я употребляю мало, т. е. не бываю пьян и иных нежных забот почти не имею. Нервические припадки мои совсем исчезли, голова свежа и, несмотря на глубокую болезненную Mangelhaftigkeit³⁾ чего-то, на душе полно,

¹⁾ 1. а) Хороший труд по лесоводству, в) Хороший труд по скотоводству и с) Книгу о тайнобрачных растениях — Фриса или что-нибудь более новое. 2. Флору русскую, где было бы обращено внимание на...

²⁾ Неполно.

³⁾ Неполноту, недостаток.

и в поступках больше ревности и твердости, чем прежде. Ты ничего тут не примешь за Selbstlob¹⁾, надеюсь, нет! Грановский, внутреннее удовлетворение, которое доставляет деятельность и разумность поступков (разумеется это не beständig²⁾, что было бы даже скучно) и das harmonische seiner Selbst — не Selbstlob, а Selbstentwicklung³⁾, — и я внутренне оживаю.

Ну, прощай, Грановский! Жму тебе руку и Коршу, и Кавел[ину]. — Кланяйся Павлову — тебя удивит это, или не удивит, это вследствие его ответа Гоголю. —

От Герц[ена] получил небольшую записку из Пар[иж]. — Ужасно давно не писал и к нему по тем же причинам. Получил письмо от Мюллера. Ужасно мне захотелось съездить к нему в Берлин.

Кланяйся жене. — Прощай!

Боткину кланяюсь, что его рука?

А как в доме пусто без женщины!

Послал в Современник статью (вероятно, в Смесь), письма из провинции (pseudonym). Не совершенно удовлетворен художественной отделкой, но ругаюсь за местность и достоинство статьи, если ее не испортят.

У Желтух[иных] дочь родилась.

Нельзя ли собрать у Герцена мою библиотеку? Я пришло в Москву за Кортиком, и тогда ее привезут.

26 Апреля. Хотел писать к Сатину и Герцену, но никак не успел. До следующей почты. Кланяйся Сатину и скажи ему сие.

Упоминание о сборах А. А. Тучкова за границу и о письмах Н. Ф. Павлова к Гоголю (см. ниже) датирует письмо 1847 г.

Х о з я и н и ч а ю... Излагаемые Огаревым хозяйственные планы вносят дополнительные штрихи в его письма к московским друзьям, напечатанные в сборнике «Помощь голодающим» (изд. «Русских ведомостей», М. 1892, стр. 521—527), а также в характеристику Огарева-помещика, данную М. О. Гершензоном («История молодой России», Госиздат, М.—Л., 1923).

З а н и м а ю с ь х и м и е й... Тетради Огарева, хранящиеся среди его бумаг в Ленинской библиотеке, позволяют заключить, что его занятия химией были довольно настойчивы и продолжительны.

Пишу я повесть в стихах. Вероят-

¹⁾ Самохвальство.

²⁾ Постоянно.

³⁾ Гармония с самим собой не самохвальство, а саморазвитие.

но, речь идет о стихотворной повести «Господин». Ее герой — Андрей Потапыч — несомненный автопортрет Огарева-помещика. Она была напечатана в «Полярной звезде» на 1857 г., в лондонском издании стихотворений Огарева 1858 г. и с цензурными пропусками 31 стиха, в «Стихотворениях Н. П. Огарева» под ред. М. О. Гершензона (М., 1904, изд. М. и С. Сабашниковых).

Заглавие: Деревня. Речь идет о повести «Деревня», тоже носящей автобиографический характер. Напечатана впервые в «Стихотворениях Н. П. Огарева» под ред. М. О. Гершензона по рукописи, конец которой, повидимому, утрачен. Напечатанные главы носят заглавия: «Приезд» и «Письмо Юрия». Последнее, вероятно, входило в главу «Отъезд». М. О. Гершензон предположительно относил написание «Деревни» к 1848—49 гг. Печатаемое нами письмо устанавливает более точную датировку.

Несчастный отъезд... Огарев имеет в виду стихотворение «Отъезд», впервые напечатанное в I кн. «Современника» за 1847 г. (см. «Стихотворения Н. П. Огарева» под ред. М. О. Гершензона, т. I, 305).

Панаев, Ив. Ив. (1812—1862) и Некрасов, Никол. Алексеев. (1821—1877) — издатели «Современника».

Пиима в драматической форме... соотнобразяю... При чрезвычайном обилии литературных замыслов Огарева, трудно сказать, о какой «пииме в драматической форме» и о какой «заветной драме» идет речь. За одиннадцать лет до настоящего письма его занимала мысль о драме «Художник», и он в 1836 г. писал: «Я хочу писать драму «Художник» и разоблачить в ней будущность искусства... Форма драмы будет оригинальна. Мой художник — энциклопедист: поэзия, музыка, живопись участвовали в его образовании. Конец — сумасшествие» (см. Анненков «Идеалисты тридцатых годов», в книге «Анненков и его друзья». СПб., 1892, 53—54). Около 1843 года он собирается приняться за исторические драмы. «Замысел огромный: — пишет Огарев, — 1-е оба Иоанна, из которых IV будет разделен на две части; 2-е Федор (до Годунова боюсь дотронуться), Шуйский и патриарх Никон» (см. «Из переписки недавних деятелей», «Р. мысль», 1890, VIII, 9—10).

Пришли хоть московскую флору Двигубского... И. А. Двигубский (1771—1839)—московский профессор ботаники. Огарев, желавший иметь флору русскую, «mit Rücksicht на медицинские растения», вероятно, ошибся, назвав «Московскую флору» вместо другой книги того же автора—«Изображение растений, преимущественно российских, употребляемых в лекарстве». (М. 1828).

Мюльгаузен, Богд. Карлов. (1820—1878), профессор сравнительной анатомии и физиологии в московской медико-хирургической академии и Университете, затем главный врач в странном приемном доме гр. Шереметьева. Тесть Грановского.

Ласковский—Н. Э. Ласковский (1816—1871), московский профессор фармакологии и фармации.

Кланяйся Павлову.. ответа Гоголю. Никол. Филипп. Павлов (1805—1864), беллетрист, получивший известность «Тремя повестями» (1835) и «Новыми повестями» (1839). Издатель газеты «Наше время» (1860—1863), основатель и первый редактор «Русских ведомостей». Его «Письма к Н. В. Гоголю», вызванные появлением «Выбранных мест из переписки с друзьями», были напечатаны в №№ 28, 38 и 46 «Московских ведомостей» 1847 г. Там их и читал Огарев, так как перепечатка их в «Современнике», того же года, началось с № 5, который еще не выходил в свет ко времени написания настоящего письма Огарева. Белинский считал письма Павлова лучшей статьей, направленной против книги Гоголя. В 1890 г. они были перепечатаны в «Русском архиве».

От Герцена... из Парижа. Записка Герцена в печати неизвестна.

Письмо от Мюллера... Мюллер-Стрюбино, Герман († 1893), хороший знакомый Герцена, Огарева, Бакунина, Гургенева, Жорж-Занд. Знаток классической древности и искусства. В ранней молодости был приговорен к пожизненному заключению за участие в организации вооруженного восстания во Франкфурте-на-Майне, но через 7 лет амнистирован. Деятельнейший участник революционных событий 1848 года в Берлине. Кроме «Былого и дум» Герцена (XIV, 314—322) и «Воспоминаний» Тучковой-Огаревой (М., 1903, стр. 43), нельзя не отметить из русской литературы о Мюллере прекрасных некрологических страничек Г. Б. Иоллоса в «Письмах из Берлина» (СПб., 1904, стр. 134—137), который ссылается на статью Л. Пича в «Vossische Zeitung» за август 1893 г.

Вас. Петр. Боткин. (1810—1869) — близкий друг Герцена, Огарева, Белинского, писатель по вопросам искусства и литературы.

Послал в «Современник» статью. Очевидно это та самая статья, о которой Панаев писал Огареву 6 октября 1847 г.: «Напрасно сомневаешься ты в том, что письма твои не будут напечатаны в Соврем. — Они превосходны — и будут служить украшением (так сказать) нашего журнала. Они поместятся в Декабрьской книжке. Бога ради, пиши продолжение их. Такого рода вещи очень и очень полезны, полезнее иных художественных произведений». М. О. Гершензон, напечатавший письмо Панаева в I вып. «Новых пропилеев» (М., 1923), отметил, что в декабрьской книге «Современника» за 1847 г. никаких писем Огарева нет, нет их и в первой книге за 1828 г. По всей вероятности, это же произведение Огарева тщетно разыскивала Е. С. Некрасова (см. ее статью об Огареве в «Почине», сборник О-ва любит. росс. слов. на 1895 г., стр. 46). В напечатанных письмах Н. А. Тучковой-Огаревой к Е. С. Некрасовой неоднократно идет о ней речь. Н. А. Огарева упорно утверждает, что статья была напечатана, но не может вспомнить — где: в «Современнике» или «Отечественных записках». Она напоминает в общих чертах ее содержание («перезеды мнимые, конечно, Огарева, от одного помещика к другому, все полно иронией и вместе добродушно»), говорит, что она

была подписана псевдонимом, который после долгих припоминаний и называет: Акакий Горюнов. Июски в обоих журналах за 1847—1849 гг. оказались безрезультатны.

Вероятно, речь идет о «Письме из провинции», напечатанном не в «Современнике» или «Отечественных записках», а в «Полярной звезде» на 1857 г. с датой — 15 марта 1849 г., — может быть, ошибочной, а может быть, указывающей на позднейшую переработку «Письма». Письмо подписано псевдонимом «Антон Постегайкин» (Огарев, между прочим, упоминает об этом своем псевдониме в письме к Е. Ф. Коршу, напечатанном в сборнике «Помощь голодающим»; изд. «Русск. вед.», М. 1892, стр. 523).

Желтухины — Алексей Дмитр. (1820—1865) и Елиз. Никол., деревенские соседи Тучковых (см. «Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой, стр. 38—39).

Кортик — верховая лошадь Огарева.

8. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

Секретно. 25 Апреля.

С большой горестью надписываю это слово, Грановский! Мне кажется, что так было хорошо быть со всеми откровенным, а нет! сил нехватает. Не хочется через откровенность доставить другим неприятное ощущение; не хочется перед другими выставить свою больную сторону. Итак, я надписал: секретно, чтоб ты случайно не дал кому не следует читать этой записки, как то случилось с Герц[еном]. В этой записке 2 пункта. Слушай!

1-е) Вчера я получил от Сатина письмо, получение которого перед ним я пройду молчанием, а напишу ему *sine ira*¹⁾, чего я и не имею (сегодня), как будто не получал. Дело идет о деньгах Белинск[ому]. Действительно, я виноват, что долго не отвечал. Но еще более виновато то, что доверенность на получение денег, посланная мною Ключареву, оказалась в Москве негодною и была возвращена мне, переправлена и вновь отправлена; а время ушло; а я здесь не имел гроша денег. Это объяснение я даю тебе, взяв с тебя честное слово не сказывать этого тем, кто сомневается в моей готовности делиться не только с близкими, но даже с каждым хорошим человеком, который встретится на пути. Тут я действительно лично, помимо всех теоретических убеждений, горд и потому не хочу давать отчета сомневающемуся. Пусть

¹⁾ Спокойно.

смотрят на меня, как и им угодно. А в письме Сатина был букет этого сомнения, хотя оно и не было высказано. На первую минуту мне это было очень оскорбительно. Теперь... горько, не без злобы. Я оттого и пишу к тебе это, что это мне горько и хочется сказать это чувство тебе, потому что ты, верно, не сомневался во мне и, верно, знаешь, что я достаточно презираю деньги, как деньги, чтоб не дорожить ими. Ну! довольно об этом. Но ты можешь заключить, что многие отношения доходят до высшей степени натянутости, я не знаю, что с ними делать, тем более, что я не желал бы разорвать их для кого-нибудь оскорбительно и не могу не поддерживать со всевозможным дружелюбием чувство, которое ужасно далеко от близости. А потому я перехожу ко второму пункту.

2. Скоро каникулы, Грановский! Где ты будешь лето? Я прошу тебя, приезжай ко мне. Я тебе отвечаю, что мы хорошо проведем время, в не совсем дурных местах; а мне тебя очень хочется видеть. Очень хочется, Грановский. Многое проверилось бы между нами иначе, нежели это было. Опыт и рефлексия мне доказывают, что мы не так поступали друг с другом, что мы горячились, и что, проживши год (а в наши лета не даром же он проживается), мы даже о том же можем толковать более плавно, даже с большею важностью и — как бы выразить мою мысль — *auf eine mehr erhabene Weise*¹⁾. Моя симпатия к тебе часто сильно пробуждается, и мне ужасно хочется видеть тебя. Я прошу тебя — приезжай. Если и жена твоя приедет, я отвечаю, что ей не будет ни неудобно, ни скучно, и даже она найдет целую библиотеку музыкальную, весьма хорошо составленную.

...Мне еще хочется видеть Корша. Но я знаю, что ему нельзя. А тебя мне просто душевно нужно. В Москву я приехать до осени никак не могу. Дела и проекты не позволяют. Осенью я, может быть, приеду на месяц или два — и только. А там опять сюда. Мой труд лежит у меня на совести. — Приезжай, Грановский, прошу тебя. Да ведь и лучше же тебе жить здесь, чем в Соколове, или ехать в Орел лобызаться

с патером. Жду нетерпеливо твоего ответа. —

Я думаю, ты понимаешь без комментариев, почему мне не хочется, чтоб этот пункт читался другими, и почему мне хочется, чтоб мое приглашение осталось между нами; да ты и то понимаешь, что мне хочется быть именно и только с тобой, и что непринужденность, возможность быть каждую минуту откровенным важна для... нескольких месяцев (недель?) душевной отрады. — Твоя жена иное дело, она слишком хорошо должна понимать эти струны.

Датируем письмо 1847 годом: весной этого года друзья больного Белинского, при особенно деятельном участии В. П. Боткина, собирали средства, необходимые для его поездки за границу. Оно написано в один день с предыдущим письмом. Не желая отвечать Сатину под свежим впечатлением причиненной им обиды, решившись — по крайней мере в данный момент — обойти письмо друга молчанием, сделать вид, что совсем его не получал, Огарев с намерением сделал к предыдущему письму приписку, помеченную 26 апреля.

Проживши год... — с большею важностью... Огарев разумеет год, прошедший со времени его возвращения из-за границы. Какова была встреча, оказанная Огареву друзьями, в частности Грановским, об этом можно судить хотя бы по следующим строкам последнего к Фролову от февраля 1846 г.: «Несколько лет прошло со времени отъезда Огарева. Тогда мы все еще были юношами, если не по летам, то по взгляду на жизнь. Теперь прошла пора обещаний, пора выполнить их, а Огарев даже обещать перестал, хотя не приступив ни к какому делу. Более всего оскорбляет меня глубокий вздох, который обличается такою прайдностью. Идем их (т. е. Огарева и Сатина) приезда в Москву. Мы решились не скрывать истины, не умалчивать нашего убеждения» («Т. Н. Грановский и его переписка», стр. 426). К этому присоединилось «теоретическое расхождение» между Грановским и его друзьями, намечавшееся еще и ранее, но особенно резко обнаружившееся летом 1846 г., в Соколове, и расколовшее крепкий когда-то дружеский круг (см. XIII, «Былое и думы», ч. IV, гл. 32).

9. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

5 Июня.

Caro Грановский! Благодарю за присланные Арльтом книги; все чрезвычайно zweckmässig¹⁾. Я начал большие эксплоатации леса по всем правилам теории и замечаниям туземных практиче-

¹⁾ Более возвышенным образом.

¹⁾ Целесообразны.

ских людей (т. е. крестьян). Теперь еще комиссии насчет книг, которые, немедленно добыв, передай Александру Кобылину, ибо от него ко мне имеется окказия с путешествующим из Москвы сюда Кортиком. Книги нижеследующие.

1) Кнапп. Lehrbuch der chemischen Technologie¹⁾.

2) Müller - Pouillet. Lehrbuch der Physik²⁾.

3) Atlas zu den Cryptogamen³⁾. [4] Ein Buch über Viehzucht⁴⁾.

5) Русскую флору.

6) Перевод Муравьева Теэра.

7) Статистику России, все, что найдешь на русском и иностранном языках.

8) Спроси у Корша: как выписать Губернские ведомости: Нижегородские, Архангельские, Пермские, Харьковские, Волынские, и Одесский и Кавказский вестник? —

Пожалуйста не пропусти окказии и отвечай мне на последний вопрос. — Деньги за книги Альту и за Руские я вышлю тотчас, как ты мне напишешь, сколько они будут стоить.

Жду я от тебя письма с великим терпением. Вероятно, ты занят экзаменами. Ну! чужо? Я подожду, не сетую. Я стал ужасно терпелив, Грановский, с тех пор как нахожусь в необходимости настойчиво приказывать, избегая грубого обращения. Я учусь терпению и деятельности и являюсь школьником в практическом мире. Иногда бывает очень тяжело, но я не унываю. Всего тяжеле одиночество и отсутствие всякого элемента нежности; но я в своих поступках убежден и добровольно беру на себя обязанность привести к концу все начатые дела.

Мне тебя непременно нужно видеть, caro mio. Но я в Москву не могу приехать прежде половины Ноября по многим причинам: 1) все предприятия требуют денег, 2) я должен провести около 2 месяцев на сахарном и винокурном заводах en qualité d'ouvrier⁵⁾. Из недо-

статка первых для собственных трат и из необходимости знать de facto¹⁾ работы я не могу двинуться с места до 1/2 Ноября. — Впрочем делаю трату рублей на 700 собственно для себя тем, что отделяю себе квартиру, т.-е. 3 комнаты в моем доме с некоторым комфортом.

Я сегодня в какой то herzensweichen Stimmung²⁾ и должен делать усилие над собой, чтоб заняться делом.

Прощай, Грановский.

От Герц[ена] давно не получал писем.

Погода чудесная. В лесу хорошо бывает.

Его Высокоблагородию

Тимофею Николаевичу

Грановскому.

В Москве.

На Трубе, против церкви Николы в Драчах, в доме Мильгауэна.

Писано в 1847 г. Огарев благодарит за присланные книгопродавцем книги, — очевидно те, о которых он просил Грановского в письме от 25 апреля 1847 г. Кроме того, по содержанию (и даже по некоторым одинаковым фразам) печатаемое нами письмо стоит в несомненной связи с письмом Огарева и Е. Ф. Коршу от 28 июня 1847 г. (см. «Помощь голодающим», стр. 521—523).

Кнапп... Technologie. Разумеется, «Lehrbuch der chemischen Technologie», 2 тома Braunschweig, 1847. Müller — Pouillet. Physik — книга Клода Пуйё, «Traité de physique expérimentale et météorologie, переведенная на немецкий яз. Мюллером — Lehrbuch der Physik und Meteorologie».

Перевод Муравьева Теэра. Теэр, Альбрехт-Даниель (1752—1828), знаменитый немецкий агроном, основоположник плодосменного хозяйства. Огарев пишет о его книге, вышедшей по-русски под заглавием: «Теэр А. Основания рационального сельского хозяйства с примечаниями Н. Н. Муравьева и Е. Крюда. Перевод С. А. Маслова и А. Ширяева. М. 1831—1835». Е. Крюд — французский переводчик книги Теэра; его «примечания» повторены в русском издании. Ник. Ник. Муравьев (1768—1840) — председатель общества математиков в Москве, преобразованного затем в школу колонновожатых, основатель Московской земледельческой школы и Московского общества сельского хозяйства. Интерес Огарева к книге Теэра нашел отражение в автобиографической повести «Господин»: Андрей Потапыч, приехав в деревню,

¹⁾ Кнапп. Учебник химической технологии.

²⁾ Миллер-Пуйё. Учебник физики.

³⁾ Атлас к тайнобрачным растениям.

⁴⁾ Книгу о скотоводстве.

⁵⁾ В качестве рабочего.

¹⁾ На деле.

²⁾ В каком-то размягченном настроении духа.

...вынул привезенных книг
Запас, суливший много толку,
И в шкаф расставил их на полку:
Творенья Тэйра и других
Новейших лет индустриалов...

Вероятно, внимание Огарева, который вместе с Тучковым мечтал «о разных путях обогащения путем индустрии» (см. ниже письмо от 26 сентября 1848 г.), особенно привлекали такие «примечания» Муравьева: «Весьма бы полезно было для всех, еслиб помещики, имеющие деревни в черноземных Губерниях, вместо хлебных посовов, завели бы свекловично-сахарные заводы, а хлебопашество предоставили бы тем, где земля удобряется и следовательно не так способна к возвращению свекловицы. Ежели имеем примеры неудач в таковых заведениях, то их приписать должно тому, что некоторые особы вздумали возвращать свекловицу целыми полями на таких почвах, где и хлеб едва родится; напротив же пример почтеннейших наших соотечественников — хозяев Ивана Антоновича Герарда и Ивана Акимовича Мальцова должны удостоверить в успехе такового предприятия — в Малороссии же, где винокурение свободно, там сахарные заводы от обращения патоки в спирт должны дать немощную прибыль; впрочем нужно только за сие взыться с благодарением, настойчивостью и попечительностью, и сахарные заводы сделаются у нас столь же обыкновенными, как и винокуренные, и со временем будем сахаром снабжать не только Россию, но и все Европу. Какой обширный сбыт и какие богатства тогда сосредоточатся в России!» Та же книга была известна русской публике и ранее. Она была переведена Вас. Алексеев. Левшиным (1746—1826) под заглавием: «Основания теоретического и практического сельского хозяйства Альбрехта Таера. В шести частях. Ч. I, М. 1828, ч. II, М., 1828 г.» (остальные части, повидному, не вышли в свет).

10. М. Ф. КОРШ.

Мерси за ваши строки, милая Марья Федоровна! Печальную скажу вам повесть: Гранов[ский] с тех пор, как я к нему писал, исполнил все мои поручения, кроме одного: отвечать на мое письмо. Поэтому я не знаю до сих пор, приедет он ко мне, или нет? А уж как же бы хотелось, вы себе не можете или очень можете представить. В утешение за молчание Гран[овского] скажу вам, что получил письмо от Евгения и ужасно был ему рад. Я его сильно люблю, а заочно, думая об нем, еще больше люблю. Пишет он и о Феде, что Федя растет и теряет младенченность; и жаль это Евгению; и знает он, что этот переход необходим. А Саша сидит на моих креслах и говорит: а я Агаёв.

Ну-с! потом что сказать Вам? Да уж

теперь не знаю что; все совестно, из письма к Герцену. Хочу только крепко пожать вам руку и проститься. — Пишите побольше, и я напишу побольше. Дайте мне увидеть, что с вами, что вы думаете, что смотрите, что радуется, что не радуется, — вот чего я хочу. А то я только и знаю, что вы очень отсюда далеко, в большом городе, который я очень люблю, живете себе, а как — совершенно не знаю. Пишите же.

Вероятная дата этого письма — июнь 1847 года, когда М. Ф. Корш вместе с семьей Герцена была в Париже.

Евгений — брат М. Ф. Корш.

Федя и Саша — сыновья Е. Ф. Корша: Федор Евгеньевич (1843—1915), впоследствии известный профессор-классик и академик, и Александр Евгеньевич (1845—1898).

11. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ.

10 Сентября.

Письмо твое получил, carissimo! Много спасибо; я так давно не был с тобой в переписке, что это наконец становилось глупо и нехорошо. Я сам узнал от Кобылина в Нижнем, что тебе нельзя ко мне приехать, и опечалился; да и Кобылина проводил за золотом с столькими раздумьями, что день был уныл. А потом жизнь и пошла своей колеей. Я вообще веселый человек, Грановский; сблизясь с действительной жизнью, я отвык грустить с приятностью; гораздо более привык к сухой и очень неприятной досаде и скорби, которая когда отлегает, я бываю очень весел и рожусь. Жить мне довольно хорошо; о моей воспитаннице теперь не намерен говорить, а при свидании; скажу только, что она очень доброе существо и потому я ею доволен. Свяжет ли она меня впоследствии — не знаю; но я пока желал бы поддержать отношение, которое мне не мешает жить во все стороны. Мысль весьма эгоистическая — конечно; но как же быть, carissimo? Когда не предвижу действительного счастья, то хочу спокойствия в ежедневности, и если моя воспитанница будет продолжать вести себя так, как теперь, то я буду считать себя на этот счет обеспеченным и не захочу расторгнуть какого-то нежного чувства дружбы и попечительности, которое меня к ней привязывает, кажется, даже более, чем физиологическое увлечение, без которого я тоже не могу существо-

вать. — Но довольно об этом. В настоящую минуту я только одним недоволен — переделываю дом и живу в одной маленькой комнате, что меня до такой степени теснит, что я к столу, на котором пишу, подхожу с какой то ненавистью и целый день ношу заднюю мысль досады на медленность работников, которая нестерпима. Встарь иной бы утешился мыслью, что все эти работники свои, а меня это бесит, особенно когда вижу, что работа, которую можно кончить в 10 дней, продолжается месяц.

Два бича гуляют над нашей головой: засуха и холера. Первая совершенно изменяет план моего хозяйства на год, грозит голодом и споспобствует второй; а вторая близка. Вчера верст за 50 от меня человек 12 пали ее жертвой. Спешу устраивать мою больницу, запасаясь лекарством. Кажется, мне дадут округ под попечение, и тогда пойдет для меня работа, которую я все же более люблю, чем хозяйство, и я надеюсь, что в моем округе смертности будет меньше, ибо действительно буду хлопотать о больных. А потом — каюсь — наблюдения вместе с медиком (довольно знающим) меня очень приманивают.

Твои анекдоты о Фридрихе мне очень нравятся. Жду твоих статей с нетерпением. К сожалению, сентябрьскую книжку «Современника», вследствие отличных распоряжений М. А. Языкова, получу не прежде 10 октября. Что касается до моих статей, то, кажется, им не суждено увидеть свет. Это мне очень жаль, потому что статью, которую давно уже послал в «Совр[еменник]» от души люблю сам. Хотел сегодня послать Коршу статью о статистическом распределении России (замечания на статью в 98 № Моск[овских] Ведомостей), но едва ли успею сегодня переписать и исправить так, как хочется; поэтому откладываю до следующей почты. А на следующей почте непременно пошлю. Я не думаю, чтобы она была совершенно бесполезна, и надеюсь, что и вы с моим взглядом согласитесь. Итак в субботу пошлю ее, — пошлю — и уеду в Симбирскую губернию на три дня. Покупаю фабрику писчебумажную — вот цель этого путешествия. — В Москву надеюсь приехать в ноябре (по первому пути); если что попрепятствует, то, разумеется, ты уж ко мне приедешь. Но на-

деюсь, что препятствий не будет; мне же хочется со всеми повидаться. Как скоро пойдет винокуренный завод (а у меня уже 50 т. ведер поставки и еще будет), то и стану собираться. Сегодня пишу к Герцену. Прощай, carissimo.

Друг Фролов! Напиши хотя страничку. Мы так давно не переписывались, что я не знаю, что ты и как. Обозначь себя, хотя в немногих словах, и вступим снова в корреспонденцию. Я даже не знал, куда тебе писать. Писал к Галахову; но ответа еще не имею. Что он? и где он? Знаю об нем через Герцена и люблю его попрежнему. — Где ты побывал? Жду от тебя с нетерпением известий. Пиши скорей. Обнимаю тебя крепко.

Примечание. Грановскому. Верно, твой человек, когда носил твое письмо на почту, ненарочно сломал печать и потом уже сам так скверно припечатал, что отвратительно было взламывать печать. Заметьте это Архипу, Г-н Профессор! Чтобы он вперед таких поступков себе не позволял.

Его Высокоблагородию

Тимофею Николаевичу

Грановскому

В Москве.

На Трубе, в Драчевском переулке, в доме Мильгаузена.

Ряд фактических указаний письма, о которых сказано в дальнейших примечаниях, датируют его 1847 г.

Я сам узнал... в Нижнем. В письме к Коршу от 20 августа 1847 г. Огарев писал: «На-днях я приехал из Нижнего, где был на винных торгах и ужасно прокутился на ярмарочной жизни» (см. сборник «Помощь голодающим», стр. 523).

О моей воспитаннице... говорить... Речь идет о той самой женщине, привезенной Огаревым с Нижегородской ярмарки, о которой он писал и Коршу в только-что упомянутом письме. Е. Ф. Корш, напечатавший письмо, говорит в примечании к нему, явно намекая на граф. Е. В. Салиас-де-Турнемир: «Женщина, о которой идет речь, была замужем за одним виконтом и пользовалась потом некоторою известностью в русской литературе». Это неверно. Во-первых, даже основываясь только на тексте письма к Коршу, вряд ли можно допустить, чтобы Огарев говорил о граф. Салиас, что он «занимается ее воспитанием», что она «ведет себя так хорошо, как он и не ожидал», текст же печатаемого нами

письма совершенно исключает предположение Корша. Во-вторых, гр. Салиас с детьми приехала к Огареву в 1848 г., уже после возвращения Тучковых из-за границы (см. «Зеленую книгу» Н. А. Огаревой в IV т. «Русск. пропилеев», стр. 108—109, и хронологическую канву к биографии Герцена, XXII, 245). Вернее всего предположить, что женщина, приведенная Огаревым из Нижнего, принадлежала к той среде, которую он изобразил в «Истории одной проститутки» (см. сборн. «Недра», кн. 11, где повесть напечатана под редакцией и с примечаниями Н. Л. Бродского). Близко может, личный жизненный опыт Огарева, несомненно легший в основу повести, связан с упоминаемой в обоих письмах женщиной.

Холера... наблюдения вместе с медиком... приманивают. В бумагах Огарева, хранящихся в Ленинской библиотеке, находятся четыре тетради, озаглавленные: «Etudes anatomiques, physiologiques, pathologiques et thérapeutiques». Они помечены 1850 г., но дата сделана несомненно позднее, судя по цвету чернил, и как будто не рукой Огарева, так что тетради можно отнести и к более раннему времени. Мы находим в этих тетрадях рукописную таблицу аптекарского веса, собрание рецептов д-ра Шпильмарка (того самого «опытного медика», о котором идет речь в письме, и который часто упоминается в письмах к Тучковым, напечатанным в «Русских пропилеях»), истории болезней, изложение диагностических разногласий с д-ром Шпильмарком, алфавит медицинских терминов. Разнообразные записи. Одна из них имеет отношение к ожидавшейся холере. Под заглавием «Chemín du choléra asiatique»¹⁾ дан конспект какой-то статьи, — вероятно, помеченной в скобках: «Victor Mogoulsky, Rigasche Zeitung, 1847, № 20».

Жду твоих статей... Статьи Грановского «Историческая лигература во Франции и Германии в 1847 г.», начатые печатанием в сентябрьской книжке «Современника» за 1847 г.

Что касается до моих статей... люблю сам... Вероятно, Огарев разумеет прежде всего статью, посланную им в «Совре-

менник», о которой упоминает в письме к Грановскому от 25 апреля 1847 г. (см. примечание к этому письму), а затем небольшую публицистическую статью, о которой писал Коршу из Акшена 20 августа 1847 г.: «посылаю тебе статью в ответ на статью Чихачева, помещенную в Земледельческой газете, и прилагаю копию со статьи Чихачева, чтобы ты знал, в чем дело» («Помощь голодающим», стр. 523). Статья эта, подписанная Н. Огарев, носит длинное заглавие — «Замечание на замечание г. Чихачева, помещенное в № 59 «Земледельческой газеты» 1847 года, на статью в 72 № «Московских Ведомостей» 1847 года, под заглавием «Два слова о работах господских людей». Огарев предвидел, что Корш, может быть, не захочет поместить его статью в «Московских ведомостях», и просил тогда переслать ее в «Земледельческую газету», «Современник» или «Отечественные записки». Статья появилась впервые в «С.-Петербургских ведомостях» (1847 г., № 227, от 5 октября), а оттуда уже была перепечатана «Московскими ведомостями» (1847 г., № 122, от 11 октября). Статья будет помещена мною в сборнике.

Хотел сегодня послать Коршу... на статью вх. 98 № Моск. Ведомостей. В 98 № «Московских ведомостей» за 1847 г. (от 16 августа) был помещен со ссылкой на заимствование из «Журнала министерства внутренних дел» «Опыт статистического распределения губерний и областей Российской Империи». Огарев свое намерение исполнил, и в № 116 «Московских ведомостей» (от 27 сентября) за подписью Н. О. напечатал «Замечания на статью, помещенную в 98 № «Московских Ведомостей», под заглавием: «Опыт статистического распределения Российской Империи». Статья будет помещена мною в сборнике.

Покупаю фабрику. — Писчебумажную фабрику Огарев купил совместно с И. И. Маршевым, своим «незаконным» братом. По воспоминаниям Н. А. Огаревой-Тучковой в ее «Зеленой книге» («Р. пропилеи», т. IV), Маршев впоследствии писал доносы на Огарева, и последний, чтобы развязаться со своим компаньоном, занял у Сатина 25 тыс. рублей.

¹⁾ Путь азиатской холеры.

За рубежом

РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ

Е. Гнедин

Сигнал

ОТ Мадрида до Москвы не так далеко, как это думают,—писал на второй день после свержения монархии в Испании французский национал-фашист Эрве в своей газете «Виктуар». И действительно от Москвы до Мадрида значительно ближе, чем это казалось нам еще совсем недавно. На любом рабочем собрании один из первых вопросов, задаваемых докладчику о международном положении, это—что происходит в Испании? Весьма возможно, что в странах, значительно ближе расположенных к Пиренейскому полуострову, нежели Социалистический союз, интерес к Испании не проявляется так живо, настойчиво, как в нашей стране.

Интерес к Испании — это проявление непосредственных, живых связей между страной Советов и борьбой международного пролетариата. Интерес к Испании — это интерес к развитию мировой революции. Интерес к Испании — это внимание к борьбе угнетенных, в какой бы стране она ни происходила. Мысль о том, что «Гренадская волесть в Испании есть», волновала еще бойца-партизана, героя песни поэта М. Светлова. В этом несколько сентиментальном напоминании—краткая формула наших настроений в связи с революцией в Испании. Контраст между жаркой, «экзотической» Испанией, между маленькой, заброшенной на самый край Европы страной и громадной, охватывающей все климатические пояса, замыкающей Европу с востока страной Советов, — этот контраст только сильнее подчеркивает сходство: и в Испании Гренадская волесть имеется, и в Испании надо идти воевать, чтобы землю крестьянам отдать, и в Испании рабочие должны выйти на улицу, чтобы докончить революцию, как это случилось в царской России. Интерес к Испании — это выражение классового товарищеского сочувствия, это проявление величайшей силы современности: международной пролетарской солидарности.

Но есть еще одна причина, более непосредственно связанная с сегодняшним по-

литическим днем, побуждающая с особым вниманием следить за событиями в далекой Испании. Свержение монархического строя в Испании,—это первый крупный политический переворот, произошедший после того, как небывалый в истории экономический кризис потряс до основания капиталистический мир. Когда пришла весть о революции в Испании, у всякого следящего за международными событиями должна была возникнуть мысль: быть может, уже начинается новый тур революций, который должен в международном масштабе завершить дело, начатое в 1917, 1918, 1919 годах, дело мировой социальной революции.

Еще на XVI съезде тов. Сталин указал, что экономический кризис в капиталистических странах неизбежно должен будет перерасти в политический. Это явление наблюдается во всем капиталистическом мире. Но обнаруживается этот процесс с особой определенностью в странах, представляющих наиболее слабые звенья капиталистической системы. Фашистская Польша живет на вулкане, в Румынии никак не удается создать устойчивое правительство, и вспышки крестьянских восстаний все чаще озаряют разваливающиеся здания румынской государственности, из Югославии корреспонденты газет сообщают, что в этой стране каждый день можно ожидать неожиданных событий, в крупнопромышленной Германии вся зима — одна из самых тяжелых зим, пережитых германскими рабочими, — прошла под знаком глубоких внутренних потрясений, и в это время приходят известия о перевороте в Испании. Мы говорим себе: это сигнал о надвинувшихся больших событиях в Европе, это во всяком случае зарница еще скрытой за горизонтом, но близкой грозовой тучи. Мы спрашиваем себя: свержение одной из самых древних в Европе королевских династий, одной из самых последних в Европе монархий, это — предвестник того, что в скором времени удастся свергнуть и режим буржуазной диктатуры, облеченной в форму республиканской «демократии» или откровенного фашизма?

Программа Коминтерна, утвержденная на VI конгрессе, делил страны капиталистического мира на четыре группы: страны высокого капитализма, страны со средним уровнем развития капитализма, колониальные и полуколониальные страны и страны зависимые, наконец еще более отсталые страны, например некоторые части Африки. Испания относится ко второй группе стран. Это—страна «с имеющимися налицо значительными остатками полуфеодальных отношений в сельском хозяйстве, с известным минимумом материальных предпосылок, необходимых для победоносного социалистического строительства, с еще незавершенным буржуазно-демократическим преобразованием. В одних из этих стран возможен процесс более или менее быстро перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую; в других — типы пролетарских революций, но с большим объемом задач буржуазно-демократического характера».

То, что произошло в Испании, представляет собой несомненную буржуазно-демократическую революцию. Во многих отношениях эта революция сходна с событиями, происходившими, в России в 1905 году. Это—революция без революционного участия буржуазии, революция, в которой буржуазия имеет в своем тылу угрозу крестьянской революции под руководством пролетариата, революция, по ходу которой буржуазия неустанно находится под давлением революционных выступлений промышленного пролетариата. Говоря языком Ленина, как он оценивал революцию 1905 года, в Испании началась буржуазно-демократическая революция, перерастающая (имеющая тенденцию перерасти) в революцию социалистическую. Как быстро пройдет этот процесс, мы не беремся сказать в нашем кратком очерке. Но мы будем говорить о тех обстоятельствах, которые должны облегчить решение этого основного вопроса, возникающего при оценке событий в Испании.

Гнилой режим

Монархический строй, закончивший свое существование в Испании 14 апреля 1931 года, уже в течение ряда лет находился на краю могилы. Испанская монархия представляла собой совершенно гнилой режим, уже давно не справлявшийся с теми задачами, которые ставили перед ним правящие классы. Государственный аппарат совершенно развалился, возглавлявшая его верхушка уже была не в состоянии овладеть событиями. Еще до войны политическое положение в Испании было крайне неравномерным. Во время войны и первые годы после ее окончания Испания существовала на проценты, которые ей приносил нейтралитет в войне. Но уже марокканская война, поражение, нанесенное испанским войскам рифскими племенами в Марокко, и в дальнейшем углубляющийся кризис нанесли решительные удары народному хозяйству Испании.

Пережитки феодализма все больше связывали испанскую буржуазию. Но боязнь социальной революции побуждала господствующие классы по возможности оттягивать время решительных действий. У государственного кормила оставалась прослойка, которая не только не могла укрепить устойчивость режима, но, наоборот, своей беспомощностью, своей испорченностью, своей неспособностью управлять страной еще более ослабляла господствующую систему. Придворная камарилья (слово, имеющее своей родиной именно Испанию), придворная клика вместе со спекулянтами и авантюристами, биржевыми игроками, вместе с католической церковью, вместе с продажными генералами тщетно пыталась избегнуть неотвратимой гибели.

Французский публицист Анжель Марво, оценивавший положение в Испании с точки зрения французского империализма, в своей книге, вторично изданной в 1922 году, дает господствующую характеристику режима, господствующего в Испании. Об аппарате управления страной он пишет следующее: «муниципалитеты зависят от министра; бюджетные ассигнования зависят от министра; дороги, железнодорожное строительство, порты, наконец все, что может интересовать города, и все то, что открывает широкое поле для наживы, ажиотажа, для испорченности, — все зависит от министра... Министр, это—центр, вокруг которого группируются все личные интересы и претензии... Выборы представляют собой не что иное, как компромисс между центральной властью и профессионалами-политиками. Ни на один момент со времени установления парламентского режима в Испании выборы не отражали ни в какой степени подлинного настроения в стране».

Господами положения по всей стране являлись фактически так называемые «касики», ставленники дворянства, крупных помещиков, от которых фактически зависела судьба населения. Тот же Марво пишет по этому поводу следующее: «Касикизм в этой стране поднялся до уровня настоящего постоянного учреждения. Имеются касики, которые осуществляют свою власть в течение 30 лет, служа одинаково и консерваторам и либералам (две основные испанские партии). Под властью касиков, которая распространяется на целый район, находятся в городах, в самых маленьких селениях другие маленькие местные тираны, которые добиваются власти в центре, ибо эти посты приносят материальные выгоды часто самого скандального характера. Касик — является он депутатом или нет—располагает всеми преимуществами, которые дает неограниченная власть: он назначает меров, провинциальную администрацию и лиц им подчиненных; он вмешивается в назначение судей и государственных чиновников. В лице губернатора он имеет верного союзника. Сеньор губернатор сам является не чем иным, как избирательным агентом, обязательным посредником между правитель-

ственными и местными властями, касиками всякого рода, которые должны обеспечить тем или иным способом победу официальных кандидатур».

Английский писатель Чемберлен, написавший книгу об Испании под псевдонимом Казалло, следующим образом характеризует взгляд правящих классов на систему управления в Испании: «Необходимо, чтобы провинции были бедными и в рабочем положении, чтобы губернаторы действовали как настоящие проконсулы (диктаторы), чтобы администрация была скверной и зависимой, потому что только в этом случае министры внутренних дел могут управлять по своему усмотрению, не с точки зрения общего интереса, а исключительно к выгоде своей партии».

Эти испанские партии, имевшие своих ставленников в лице королевских министров и всей администрации, представляли интересы ограниченной прослойки крупного землевладения, тесно связанного с привилегированными частями армии и католической церковью. Само собой разумеется, что по мере развития в Испании промышленности и банковского капитала крупная буржуазия искала доступ к управлению страной; это облегчалось порою тем, что между крупным землевладением и промышленностью устанавливались персональные связи, например лидер партии либералов граф Романонес, один из советников короля, сопровождавший семью короля при бегстве до французской границы, является одновременно и богатейшим толедским помещиком и видным промышленником. Но в целом государственный аппарат испанской монархии был подчинен интересам крупных феодалов и по самому своему строению представлял в значительной степени феодальный пережиток.

Когда говорят о том, что буржуазное общество должно разорвать стесняющие его развитие узы феодализма, то под этим подразумеваются и устаревшие формы экономических отношений и отжившие приемы государственного управления. В Испании аппарат управления, вкратце нами охарактеризованный, несомненно представлял собой совершенно конкретное, овеച്ചественное выражение этих самых уз феодализма, препятствующих развитию капиталистического общества. Естественно, поэтому, что в условиях развития финансового капитала монархический режим в Испании все более вырождался и конкретные представители этого режима во все большей степени являли миру свое ничтожество. Подобно тому, как в годы войны вся Россия знала о полной никчемности своих правителей, в последние годы широким слоям испанского общества и в первую очередь крупной буржуазии было ясно, что правящая прослойка окончательно отжила свой век.

Во время фашистской диктатуры Primo де-Ривера диктатор вместе с Альфонсом XIII и всеми своими пособниками проявил настоящий гений растительности. Казна была ограблена так, как редко где-

либо расхищалось общественное достояние. Валюта была подорвана в корне; железнодорожное строительство запущено; в промышленности наступил застой. За год, истекший от падения диктатуры Primo де-Ривера и до свержения монархии, положение нисколько не изменилось к лучшему, а государственный аппарат окончательно развалился. В конце декабря прошлого года специальный корреспондент французской газеты «Эко де Пари» дал следующую характеристику господствующего режима в Испании: «Представители порядка всегда опаздывают на день, на месяц или на год по сравнению с противниками существующей системы... Все фракции монархистов готовы поддержать короля и монархический режим, но на пути их споры, игра их мелкого самолюбия, их интриганство... Консерваторы и монархические либералы, теряя перспективу, спорят о деталях. Одни хотят того, что не имеет значения, другие того, чего уж нет».

Монархический строй в Испании исчерпал себя до конца; его существование было ликвидировано в течение одного дня. Испанские монархисты могут продолжать добиваться того, что уже не имеет значения, и скорбеть о том, чего уж нет. Нам же нужно теперь сказать о том, при каких обстоятельствах произошла смена правления в Испании и каковы дальнейшие перспективы.

Ликвидация монархии в порядке дня

Мы уже говорили, что в течение нескольких первых лет после окончания войны Испания имела возможность пожнать плоды нейтралитета. Однако ее попытки восстановить свое великодержавное значение были осуждены на провал. Война в Марокко закончилась скандальным поражением Испании. В июле 1921 г. Абд-Эль Керим нанес решающее поражение испанской армии. Подобно тому, как во время русско-японской войны вся страна понимала, что виновником военных неудач и позора является правящий режим, — и в Испании ответственность за военный разгром была возложена на короля и его сподвижников в частности на генерала Беренгера. Чтобы быстро ликвидировать создавшееся критическое положение, король принял участие в государственном перевороте, и в результате 23 сентября 1923 г. Primo де-Ривера провозгласил свою диктатуру. Правда, здесь дело не обошлось и без иностранного влияния. Французская пресса утверждает, что захват власти Primo де-Ривера произошел не только с ведома короля Альфонса XIII, но и при участии итальянского военного атташе в Мадриде генерала Марсенго, «секретного агента Муссолини». Эти сведения надо считать довольно достоверными: режим Primo де-Ривера несомненно был связан с итальянским влиянием и ослаблял французские позиции в Испании. Но так как нас интересует внутреннее развитие Испании, мы, как и в

дальнейшем, не будем останавливать внимание на внешне-политической стороне дела и ограничимся только сделанным кратким указанием.

Равным образом мы не будем касаться сепаратистского движения в Испании, которое весьма сильно в Каталонии, в Бискае и несколько слабее в Галисии. Как известно, после свержения монархии в Каталонии была создана автономная республика. Каталонский сепаратизм играл и сыграл еще большую роль во внутренней жизни Испании. Столкновение между центристами, одним из представителей которых является нынешний министр иностранных дел Лерусс, и каталонскими сепаратистами вероятно неизбежно. Но мы не будем осложнять этой боковой линией внутриполитических противоречий изложение основных процессов, определяющих внутреннюю борьбу в Испании.

Мы уже указали вскользь, что правление Примо де-Ривера ознаменовалось совершенно исключительным расхищением государственной казны и народного достояния Испании. За время диктатуры Примо де-Ривера (6½ лет) государственный долг увеличился в полтора раза, куче пезеты окончательно пошатнулось. Недовольство в стране неизменно нарастало.

В начале 1930 г. положение стало совершенно невыносимым, непопулярность, выражаясь мягко, Примо де-Ривера и его сотрудников превысила все границы возможного. Помещики, и особенно промышленный и банковский капитал, убедились, что диктатура Примо де-Ривера решительно не оправдывает расходов. Произошла смена лиц. Именно сменой лиц следует назвать приход к власти правительства генерала Беренгера вместо правительства Примо де-Ривера.

Ближайший друг короля Беренгер, политическая карьера которого была спасена в 1923 г. благодаря государственному перевороту Примо де-Ривера, ничего не изменил в системе управления страной. Он не мог прежде всего ничего изменить в роли того фактора, который постепенно выдвигался на авансцену испанской политической жизни — революционного рабочего класса.

Численность промышленного пролетариата в Испании составляет примерно 1.200 тыс. чел., т. е. свыше 5 проц. населения. Около половины испанских рабочих составляет армия безработных.

Зарплата рабочих достигла в Испании совершенно нищенских размеров. В качестве примера можно указать, что квалифицированные рабочие керамической промышленности получают от 40 до 50 руб. в месяц при значительной дороговизне жизни.

За последние полтора года Испании из месяца в месяц сотрясалась волной стачечных движений. В 1930 г. стачки достигли рекордной цифры. Важнейшие забастовки происходили в Луэго, Сантьяго, Гренаде, Малаге, Витории, Сарагосе. Под Барселоной происходили забастовки сельскохозяй-

ственных рабочих; в Бильбао забастовка охватила не только мужчин, но ознаменовалась и 100-процентным участием женщин и привела к вооруженным столкновениям на улице между забастовщиками и полицией.

Не только в Бильбао, но и в Мадриде, Севилье и Барселоне происходили всеобщие забастовки. В начале марта 1931 г. страна находилась под угрозой всеобщей забастовки железнодорожников.

Самые изощренные предательские маневры испанских социалистов и анархо-синдикалистов, вошедших в тесный союз с буржуазно-республиканскими партиями, не могли приостановить рост революционных настроений среди рабочих. Коммунистические лозунги имели все больший успех; в анархических профсоюзах росло влияние коммунистического революционного крыла. Промышленный пролетариат Испании выходил на позиции организованной классовой борьбы. Все эти явления сигнализировали правящим классам Испании непосредственную опасность для их существования.

Полуфашистская военная диктатура Примо де-Ривера положение не улучшила, а ухудшила. Фактическая военная диктатура генерала Беренгера не принесла никакого облегчения. Наоборот, к концу 1930 года произошли военные выступления в одном из пиренейских гарнизонов, в крепости Хака и мадридском аэродроме. Положение все более осложнялось, испанская буржуазия должна была наконец решительно добиваться перемены системы правления. Вопрос о ликвидации монархии в этот момент стоял уже не как вопрос о методе разрешения противоречий между индустриальной и банковской буржуазией, с одной стороны, и крупным землевладением — с другой, — вопрос о ликвидации монархии уже сделался вопросом, тесно связанным с борьбой класса эксплоатируемых. Снова проводя параллель с 1905 годом в России, мы можем сказать словами Ленина о революции 1905—07 гг., что буржуазия больше боялась революции, чем реакции, абсолютизм она возненавидела за порождение им революции, политической свободы она хотела для прекращения революции.

Буржуазная республика — плотина для революции

Краткое описание хода событий, непосредственно предшествовавших отречению и бегству Альфонса XIII, покажет, что ликвидация монархии в Испании была ускорена стремлением буржуазии и помещиков создать барьер растущей революционной волне.

В июле 1930 г. был создан блок пяти республиканских партий (правая либерально-республиканская во главе с бывшим монархистом Замора и Мигуелем Маура, республиканско-радикальная во главе с бывшим монархистом Лерусс, группа республи-

канского действия во главе с Ассаньи, республиканские радикал-социалисты во главе с Марселино Доминго и социалистическая партия, вождями которой являются Ларго Кавальеро, Индалесио Приэто и Фернандо де-Лос-Риос). Этот республиканский блок был создан с совершенно определенной целью: осуществить государственный переворот. Существовал революционный комитет и повидимому уже давно был установлен состав временного правительства. Характерно, что как раз поименованные нами вожди республиканских партий и находятся сейчас у власти: Замора — министр-президент, Мигуель Маура — министр внутренних дел, Лерусс — министр иностранных дел, Ассапья — военный министр, Доминго — министр народного просвещения и другой лидер радикал-социалистов Альворнос — министр общественных работ, социалисты Кабалеро — министр труда, Приэто — министр финансов и Фернандос де-Лос-Риос — министр юстиции.

Однако, хотя за кулисами захват власти тщательно подготовлялся, буржуазные «революционеры» очень медлили с осуществлением своих планов. Даже когда уже был намечен день переворота (15 декабря), республиканские вожди струсили и отступили. Организаторы военного восстания оказались изолированными и попали в руки властей.

Но военные «пропусциамепто» в декабре, рабочие выступления в течение всех последних месяцев, вспышки крестьянских восстаний, принимавшие все более серьезный характер, побудили республиканских «заговорщиков» действовать. Одновременно правящая клика начала спуск па тормозах. Правительство Беренгера было заменено коалиционным монархическим кабинетом адмирала Азнара.

Цели и настроения этого последнего монархического кабинета министров французский еженедельник «Эроп пувель» характеризует следующим образом: «Сразу создаюсь впечатление, что это — последние резервы. Можно было понять, что большинство министров меньше были заняты заботой о спасении короля, нежели стремлением избежать революционного катаклизма... Последний резерв был в состоянии драгаться только отступая. Этого было недостаточно для того, чтобы удержать и отразить республиканскую волну».

После неудачи Беренгера при подготовке выборов в кортесы (парламент), кабинет Азнара организовал выборы в муниципалитеты. Уже в течение, можно сказать, столетий всякие выборы в Испании заканчивались полной победой той группировки, которая находилась у власти. И вот, несмотря на энергичную работу правительственного аппарата, местных заправил, муниципальные выборы, происходившие 12 апреля, привели к колоссальной победе республиканцев, которые получили почти в два раза больше мест, нежели монархисты. Именно этот факт дал последний толчок монархическому режиму в Испании. При-

ципальная сторона этого события заключается в том, что впервые, чуть ли не с начала XIX века, государственный переворот в Испании произошел не в результате выступления армии, а под влиянием явно определившихся общественных сдвигов, оформившихся в избирательную кампанию.

Немедленно после того, как стали известны результаты выборов в муниципалитеты, начались лихорадочные совещания, в которых приняли участие и ближайшие королевские советники, и королевские министры, и республиканские «революционеры». Мы не можем отказаться от того, чтобы подробно процитировать описание последних часов испанской монархии, данное хорошо осведомленным автором, известным французским публицистом Родденом, в еженедельнике «Эроп пувель» от 25 февраля.

«В понедельник (на другой день после муниципальных выборов) было дано понять Альфонсу XIII, что опасно пытаться вырывать время... Сантьяго Альба, прибывший из Парижа накануне выборов, заявил, что надо открыть дорогу республике. Ничего не остается, как пытаться сэкономить издержки кровавой революции».

Между тем как королевские министры приходили и уходили, а король изучал текст послания, отредактированного, как говорят, герцогом Маура, победа республиканцев была закреплена в провинции, где муниципалитеты декларировали республику. В Мадриде лихорадка усиливалась с минуты на минуту. В полдень генерал Сапурго, начальник гражданской гвардии, явился в военное министерство, чтобы заявить, что было бы безумием противиться национальной воле и что он подает в отставку, если ему прикажут вывести его людей на улицу. Король был об этом осведомлен, равно как и революционный комитет, который немедленно установил связь с генералом Санурго. Последние надежды Альфонса XIII были потеряны... Речь могла идти только о том, на каких условиях Альфонс XIII покинет Испанию. Граф Ромонес сообщил в королевском дворце, что всякая задержка в отъезде короля вызовет катастрофу. Генерал Санурго отправился на совещание с революционным комитетом, который уже создал временное правительство и обещал сохранение общественного порядка; несколько времени спустя генерал Сапурго дал знать, что сделаны необходимые распоряжения и что полковники гражданской гвардии их выполнили: республиканскому народу была дана полная свобода манифестации; люди и имущество будут защищены от нападения. Оставалось только прокламировать республику и провести последние мероприятия в связи с отъездом короля и его семьи».

После этого Альфонс XIII был благополучно вывезен во Францию на военном крейсере, королевская семья выехала сухопутным путем, а двусмысленный манифест Альфонса во избежание эксцессов не опубликовывался, пока экс-король не оказался

в безопасности под гостеприимным кровом республиканской Франции.

О чем говорят фактические данные об обстоятельствах, приведших к смене в Испании монархического строя к республиканскому. Они говорят о том, что республиканский переворот был результатом самого определенного и точного сговора между всеми группировками правящих классов в Испании — между консервативными королевскими министрами, генералитетом и республиканским «революционным» комитетом. Начальник королевской гражданской гвардии был посредником между отдельными группировками; он согласовывал предложения короля с предложениями «революционеров», часть которых еще находилась в комфортабельных «тюремных камерах». Первые мероприятия республиканского правительства были согласованы с придворной кликой, точно так же, как последние распоряжения королевской власти были результатом договоренности с республиканским правительством.

Все силы реакции, начиная от крупных помещиков и кончая лидерами испанского социал-фашизма, объединились для того, чтобы попытаться грозную волну народного восстания направить в русло буржуазной «демократии» для того, чтобы стихию пролетарской революции сжать в тисках фашистской диктатуры буржуазии.

Диктатура крупного капитала

Итак, в Испании уже не царствует династия Бурбонов. Испания уже не королевство. Испания — республика, и во главе ее правительства стоят блестящие адвокаты, «народные трибуны», крупные дельцы и ловкие профбюрократы. Но многое ли изменилось в Испании?

Если мы скажем, что остался на своем посту королевский начальник жандармерии, что в ряде городов было объявлено осадное положение, что с первых дней существования республики полиция разогнала рабочие митинги и стреляла в рабочих, что 1 мая в Бильбао полиция атаковала рабочие митинги, если мы отметим все эти факты, мы скажем многое, но не все.

Та экономическая база, на которой строилась система угнетения рабочих и крестьян в Испании до государственного переворота, осталась без изменения и останется без изменения при нынешнем режиме. Надо привести несколько цифр для того, чтобы было ясно значение этого факта. Земельная собственность в Испании распределяется следующим образом: по данным, приведенным в статье Шавароша «Экономика и политика Испании» в журнале «Мировое хозяйство и мировая политика» за август 1929 г., в семи областях Испании земельные собственники, имеющие меньше гектара (их около 39 проц.), владеют 1,12% земельной площади. В отношении Испании в целом можно привести следующие цифры: из 37,5 млн. га земли $\frac{1}{3}$ находится в руках 11 тыс. крупных помещиков и духовенства, между тем, как $\frac{1}{3}$ принадлежит громадной массе мелких собственников.

Эти цифры говорят о том, что крупные землевладельцы имеют в Испании колоссальную экономическую мощь. Эта сила проявляется не только в громадной эксплуатации мелкого крестьянства, но и в прямом его закабалении. В некоторых областях Испании отношения между помещиками и крестьянами представляют собой подлинное крепостное право.

Промышленность Испании находится в руках узкой группы крупных капиталистов, тесно связанных с иностранным капиталом¹⁾. Мы приведем данные по важнейшей отрасли промышленности — горной. Производство свинца находится в руках двух крупных акционерных обществ, из которых одно принадлежит французским капиталистам, другое — испанским с участием иностранного капитала; 60 проц. добываемой свинцовой руды принадлежит иностранным компаниям, которые владеют почти всеми свинцово-литейными заводами Испании. Свинцовая промышленность ограждена высокими протекционными пошлинами, которые таким образом созданы в специальных интересах ограниченной группы капиталистов, вздувающих цены. Добыча медной руды находится в руках английских компаний с некоторым участием французского капитала. Добыча железной руды захвачена английским капиталом. Металлообрабатывающая промышленность принадлежит ограниченной группе крупных испанских акционерных обществ, связанных с английским капиталом.

Эти краткие сведения об экономике Испании мы сознательно привели не в начале статьи, когда речь шла об общей характеристике положения в Испании, а теперь, когда мы проследили развитие событий и должны оценить возможные последствия государственного переворота в Испании. Ознакомление с этими, в высшей степени показательными экономическими фактами особенно ярко подчеркивает то обстоятельство, что фактическая диктатура ограниченной группы капиталистов и помещиков не может претерпеть серьезные изменения в результате простой смены в составе правящей верхушки. А между тем именно в этом заключался смысл свержения монархии.

Временное правительство, ставшее у власти в интересах господствующих классов буржуазно-помещичьей Испании, не только палец о палец не ударит для того, чтобы ослабить фактическую диктатуру крупного капитала, но, наоборот, сделает все от него зависящее для того, чтобы эту диктатуру укрепить.

Об этом свидетельствуют не только состав временного республиканского правительства, но и его первые шаги в области законодательства. Временное положение в республике содержит 6 параграфов. Первый параграф говорит о созыве учредительного собрания (конституционных кортес). Второй параграф предусматривает судеб-

¹⁾ По уже цитированной статье Шавароша.

ное расследование правительственных мероприятий, начиная с 1923 г. Третий параграф устанавливает свободу вероисповедания; четвертый параграф обещает гарантию личной свободы и содержит принципиальное признание права создания синдикатов и корпораций; пятый параграф декларирует защиту частной собственности и запрещает всякую экспроприацию собственности иначе, как за предварительное возмещение; в шестом параграфе временное правительство предупреждает, что оно будет пресекать «маневры разрушителей» и оставляет за собой право временно ограничивать индивидуальную свободу. Нетрудно заметить, что первые два параграфа представляют собой естественные, по существу ни к чему не обязывающие шаги, обусловленные сменой правления; третий параграф дает удовлетворение сильной оппозиции против католической церкви, но оставляет открытым вопрос о государственной религии; четвертый и пятый параграфы представляют декларативную уступку мелкой буржуазии; между тем как шестой параграф фактически отменяет эту декларацию и открывает путь фашистской диктатуре.

Временное республиканское правительство пришло к власти как орудие буржуазной диктатуры и именно в качестве такового будет действовать. Гарантией может служить дичная характеристика членов временного правительства. Мы не будем вдаваться в подробности, но приведем наиболее характерные формулировки из персональных характеристик, данных в уже упомянутом журнале «Эроп нувель». Замора «перешел из левого крыла монархистов в правое крыло республиканцев»; это — «тип консервативного республиканца, присутствие которого укрепляет умеренные элементы». Министр внутренних дел Маура представляет «правое крыло либеральных республиканцев». Министр иностранных дел Лерусс — «реpublicанец-оппортунист, в действительности основой его действий является мысль, что только политическая революция в Испании может побудить революцию социальную... Это наиболее реальный деятель среди революционеров». Министра просвещения Доминго характеризует его заявление: «Я поддерживаю консервативную республику». Приэто, министр финансов, социалист, представляет «оппортунистическое течение»; другой министр — социалист Кабалеро — «всегда боролся за то, чтобы трудящиеся выступали на парламентской почве».

Так характеризует членов временного правительства французский журнал. Немецкий журналист (мадридский корреспондент «Берлинер тагеblatt»), давая в большей степени личную, нежели политическую характеристику руководителей временного правительства в Испании, подчеркивает те же элементы «оппортунизма и умеренности». Относительно Замора корреспондент «Берлинер тагеblatt» упоминает, что нынешний глава временного прави-

тельства был дважды королевским министром (в 1917 и 1923 гг.), и что только неудачи диктатуры и поведение короля его склонили к республике. Самым характерным для Кабалеро немецкий журналист считает тот факт, что... в ночь с 14 на 15 апреля Кабалеро больше всего грустил о том, что он пропустил сеанс у художника Квинтаншлла, делавшего его портрет. Наконец для характеристики социалистического министра Фернанда де-Лос-Риос немецкий журналист приводит историю о том, как почтенный социал-предатель в Гренаде мчался верхом за несколько километров для того, чтобы речью на крестьянском собрании сорвать попытку вооруженного выступления против местных помещиков.

Этот образ матерого социал-фашиста, мчащегося верхом на коне, чтобы спасти помещичью усадьбу от поджога, воистину является символом временного правительства в Испании: оно оседло государственную машину Испании для того, чтобы спасти режим буржуазно-помещичьей диктатуры от пожара социальной революции.

Борьба за диктатуру пролетариата

Удастся ли испанскому временному правительству, правительству крупной буржуазии, выполнить задачу, поставленную перед ним классом эксплуататоров? В этом не уверены и его сторонники, и его друзья, находящиеся вне Испании. Еще в марте 1924 г. один из испанских республиканцев писал: «Положение в Испании сходно с тем, какое было в России перед войной». А в России перед войной, как известно, назревал сильнейший подьем революционного движения рабочего класса. На другой день после свержения монархии в Испании виднейший французский журналист Зауервейн сообщил из Мадрида: «Несомненно, что в Барселоне еще в большем количестве, чем в Мадриде, имеются опасные элементы, стремящиеся не к буржуазной республике, которую они презирают, но к социальной революции... Сумеет ли правительство их укротить — это секрет завтрашнего дня...» Уже цитированный нами Эрве писал тогда же в газете «Виктуар»: «Вслед за первой волной, которая идет с пением марсельезы и приветствует свободу, идет вторая, более серьезная волна с пением «Интернационала» и требованием не только братства народов, но и ликвидации частной собственности, и индивидуальной свободы, и установления кровавой пролетарской диктатуры».

За три месяца до свержения монархии английская газета «Манчестер гардиан» спрашивала: «Изберут испанские рабочие путь нормальной эволюции, по которому идет английская лебористская партия, или же путь насильственной диктатуры, как это сделали русские рабочие?» А тот же француз Зауервейн писал в декабре: «В такой стране, как Испания, республика не может возникнуть без риска, что она перерастет в социальную революцию».

Вопрос о перерастании, вернее о темпе перерастания буржуазно-демократической революции в Испании в социалистическую революцию — дело специального исследования.

Перед испанским пролетариатом в настоящий момент встает задача стать па собственные классовые позиции. От развития этого процесса в значительной степени зависят дальнейшие пути испанской революции. Маркс в книге «Борьба классов во Франции» дал классический анализ того, как пролетариат, борющийся вместе с буржуазией против монархии, рвет с своими союзниками и переходит к наступлению для проведения в жизнь своих собственных классовых задач. В 1848 г. во Франции это наступление кончилось июньским поражением. В связи с этим Маркс писал: «Как февральская революция с ее социалистическими уступками потребовала битвы пролетариата, соединившегося с буржуазией против монархии, так и вторая битва требовалась для того, чтобы отделить республику от социалистических уступок, чтобы создать официальное господство буржуазной республики. С оружием в руках должна была буржуазия отвергнуть требования пролетариата».

Для испанской буржуазии эта встреча с пролетариатом еще впереди. Но уже в настоящий момент начинают осуществляться важнейшие предпосылки для победы пролетариата, для перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Пролетариат, как это показали в частности события 1 мая, переходит в наступление против буржуазной республики. Он выходит в бой, укрепляя союз с испанским крестьянством, в среде которого растет революционное движение. Уже в первые дни после провозглашения республики в Эстремадуре и близ Малаги крестьяне угрожали захватом земель. Никакие аграрные «реформы» не могут ослабить рост революционных настроений среди испанского крестьянства. Согласно последним сообщениям временное правительство проектирует аграрные реформы на подобие тех, которые проведены после войны в Балканских странах. Но мы знаем, что как раз в Балканской части Европы в настоящий момент экономический кризис быстро перерастает в политический, и рост брожения среди крестьянства представляет собой важнейший момент назревающего революционного кризиса. Крестьянское революционное движение является важнейшим фактором в развитии событий в Испании.

Революционное движение среди рабочих и крестьян в Испании ставит вопрос о борьбе за революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства. Напомним, что Ленин после Февральской революции писал в «Письмах о тактике»: «Ре-

волюционно - демократическая диктатура пролетариата и крестьянства уже осуществилась в русской революции, ибо эта формула предвидит лишь соотношение классов, а не конкретное политическое учреждение, реализующее это соотношение, это сотрудничество». Осуществление революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства Ленин видел в Совете рабочих и крестьянских депутатов.

Революционное движение среди угнетенных трудящихся Испании должно получить решающий толчок в результате углубления экономического кризиса. Серьезнейшей причиной, ускорившей свержение монархии в Испании, обострившей внутренние противоречия, усиливающей революционное движение, обеспечивающей назревание подлинного революционного кризиса в Испании, является кризис экономический, обусловленный общим кризисом капиталистической системы.

Этот факт имеет значение не только для внутривнутриполитического развития в Испании, но и для ее международного положения. Дело в том, что вопрос об интервенции в случае революционных событий в Испании является, быть может, самым серьезным и злободневным вопросом для оценки дальнейших перспектив в Испании. Но осуществление интервенции в будущей советской Испании — в такой же мере, как и подготовка войны против СССР, — значительно затрудняется углублением общего экономического кризиса в странах капитала.

Испанский пролетариат вступает в важнейший период своей истории в обстановке в высшей степени сложной, в условиях, когда революционная борьба в одной стране тесно связана с развитием революционного движения во всей Европе. Мы провели некоторую косвенную аналогию между испанской революцией 1931 г. и французской революцией 1848 г. Эта аналогия конечно весьма условна. В нее надо внести две основные поправки. Одну поправку мы уже сделали, это — указание на всеобщий кризис капиталистической системы. Другая поправка, это — напоминание о том, что испанские рабочие имеют одно значительное преимущество перед рабочими Парижа 1848 г. Это преимущество: возможность взять пример с победоносного пролетариата Советской страны, возможность вооружиться ленинским учением. Испанские рабочие под руководством коммунистической партии, овладев стратегией ленинизма, указывающей путь к захвату власти пролетариатом, должны будут осуществить на деле тот лозунг, который выдвинул Маркс перед парижскими рабочими: «Смелый революционный боевой парол: низвержение буржуазии! Диктатура рабочего класса!»

Книжное обозрение

1. АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ „Мы входим в Пишпек“. И. Поступальского—2. ЛЕВ САВИН „Юшка“, „Юшка в тылу“. Бориса Анибала.—3. А. ДРОЗДОВ. „Три колена“ Н. Виленской.—4. Н. КОЛОКОЛОВ „Повелитель“. Я. Бучилова.—5. ЗИНАИДА РИХТЕР „У белого пятна“. Макса Зингера.—6. К. СОКОЛОВ-СТРАХОВ „В горных долинах Афганистана“. Н. Константинова.—7. ЕВГЕНИЙ ЛАНН „Литературная мистификация“ Я. Фрида.—8. С. БОНДИ „Новые страницы Пушкина“. И. Сергеевского.—9. „ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ А. Л. БЛОКА“. Вс. Малеева.

Александр Гитович. — «Мы входим в Пишпек». Стихи. Серия «Современная пролетарская литература». Гих.л. М.—Л. Стр. 64. Ц. в пер. 1 р. 05 к.

«Не нюхавший пороха сроду... допризывник девятого года». Есть все основания считать сборник Гитовича только «началом». «Начало» же это прочитывается не без интереса.

«Мы входим в Пишпек» — сборник, свежий не мыслями и не идеями автора. Непосредственность содержимого книжки легче всего определяется с помощью заключительной «Ярости». Таежный лось приподымает рога на уходящего врага. «И до рассвета эту плоть смерть не сумела побороть». Из «звериных эмоций» поэтом выводится декларативное восхваление «ярости всех времен», ее «единственного закона». В ряду именно таких внутренне примитивных и классово не оформленных стихов идут и другие вещи — «Победа», «Вода» (здесь впрочем есть претензии на нечто большее), «Разговор по душам» и даже «География и война», не считая отдельных мест в прочих стихах. Похоже, что подобный «биологизм» Гитовичем осознан. Едва ли случайно вырвалось в «Молодежи»: «это здесь до десятого пота прошибали тупые века всю плотью борьбы и работы, биологии и большевика». Едва ли случайно и сильные, лирически ограниченные стихи о «Равновесии» оказываются переложением эволюционной теории. Эта «биологичность» для сборника характерна в первую очередь, и тем самым современность его несколько условна. Однако и общественные тенденции в книжке отсутствовать конечно не могут. Уже иные из перечисленных выше стихов являются отражением Гитовича как социальной особи. «Чистый биологизм» значительно преодолен в стих. «Лето в провинции» (хотя трудно считать эту вещь сатирой, в конце концов это быто-эпос давно молчащего Нарбута). А на ряду с «половип-

чатъми» вещами находим в сборнике Гитовича и стихи, в той или иной мере неотделимые от текущей действительности. Дополним список стихотворениями: «В историческом музее», «Перед восстанием», «Галмак-Аша», «Мы входим в Пишпек», «Германия» и наконец самой углубленной в книжке вещью. — «Теорией относительности».

Идеологическая шаткость стихов Гитовича знаменует зыбкость мелкобуржуазного сознания автора, от природы несомненно даровитого. Оттого-то основным выводом из всего сказанного будет подчеркивание того факта, что книжка без достаточных оснований вышла в серии пролетарской литературы. С этим должен посчитаться прежде всего сам Гитович. Молодому поэту-чужку необходимо усвоить, что одна жизненная энергия, один «стихийный напор» дальнейших успехов не обеспечивают.

Предварительна в сборнике и область поэтической специфики. До оригинальности еще далеко. Эпиграф из переводного Киплинга, разработка экзотики восточных окраин Союза как темы, порою откровенно тихоповские ритмы, иптонации и словообороты, — все это показывает и поэтические симпатии Гитовича, и меру его профессиональной культурности. Метафорами поэт не злоупотребляет, иногда они у него выразительны («стихия, свернутая в трубку, за крапом бодрствует впотьмах», «в огромном вузе троп и трав» и т. п.).

И. Поступальский.

Лев Савин. — «Юшка». Роман. (Дешевая биб-ка «Лензифа».) 1930. Стр. 243. Ц. 50 к. Перепл. 20 коп.

Его же. — «Юшка в тылу». Роман. Гихл. М.-Л. 1931. Стр. 248. Ц. 2 р. 15 к. Пер. 30 к.

Обе книги — две части одного и того же романа. Герой его — Юшка, сын портного-кустаря, солдат, а потом дезертир нехотного полка.

В первой из них Юшка отбывает воинскую повинность в царской казарме. Презираемый офицерством еврей, он однако быстро приспосабливается, насколько вообще можно приспособиться к казарменной муштре, и ловко водит за нос фельдфебеля и офицеров, спасая и себя и своего друга Дробова от дисциплинарных взысканий.

Повествование обо всем этом развернуто довольно живо и занимательно, несмотря на то, что стиль автора с его короткой, сухой и иногда маловразумительной фразой («...кусочек ветра... споткнулся о мой нос...») в иных случаях оставляет желать лучшего.

Острые первой части романа направлено против жестокого порабощения солдат царской казармой, против всего режима службы «за веру, царя и отечество», и если это острие не всегда достигает своей цели, то только потому, что Юшка занимает своеобразную непротивленческую позицию: он не борется с угнетателями, не протестует, а только старается обойти их удары.

Вторая книга повествует о том, как Юшка, дезертировав из отправляемого на фронт полка, скрывался в тылу.

Юшка против войны вообще, и, спасаясь сам от фронта, он спасает целый ряд других лиц, не останавливаясь для этого перед шантажем и вымогательством и организуя совершенно фантастический Штабук — штаб уклонения от военных действий. Но (как это бывает в либретто) снова появляется злодей — подпоручик Евсеев, и Юшка попадает в дисциплинарный батальон, бежит оттуда и, сопровождаемый двумя дезертирами, скитается с шарманкой по России, пока не попадает в запасный полк, где его застает Февральская революция.

Во втором романе Юшка выглядит христом всех дезертиров и шкурников. Всепрощение его простирается до того, что он после революции пытается спасти от солдатского суда своего врага, поручика Евсеева.

Несмотря на самоубийство друга и убийство отца, павших жертвами того жестокого режима, от лап которого бежит и сам Юшка, он, испытав и пережив многое, так и не увидел, так и не понял того (вернее автор не показал ни ему, ни читателю), что войне капиталистической должна быть противопоставлена война гражданская. Он до самой революции донес, как чашу, не расплескав ни капли, отцовский завет: «Нужно проходить между ног и смеяться в спину сильным, и не надо травить их стрихнином» (стр. 180). В этом ярко выраженном непротивлении и мелкобуржуазном пацифизме — отрицательная сторона книги.

Судя по тому, что вторая книга не дает еще окончательного завершения роману, можно предполагать, что последует и третья.

Борис Анибал.

А. Дроздов. — «Три колена». Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 216. Ц. 1 р. 25 к.

Рассказы этого сборника, несмотря на сюжетное разнообразие, все же создают монотонное впечатление. В значительной степени это объясняется поразительно безразличным отношением автора ко всему тому, что он изображает.

Изображая переходное время, логически противопоставляя новое строящееся — наследие старого, Дроздов это новое дает таким мелким, серо-будничным, что только поярлыкам, прилежным к людям и фактам, узнаешь, что они знаменуют собой революционную эпоху. Героям рассказов не только не присущи в какой-либо мере революционные пафос, энтузиазм, романтика, они просто бездушные статисты-ремесленники. Даже в рассказе, рисующем фронтный эпизод из гражданской войны («Нюша»), автор умудряется изъять все героические моменты. В такой же мере остается он равнодушен и к отрицательным сторонам жизни. Все это свидетельствует о безыдейности и беспринципности автора. Чтобы оправдать себя в этом смысле, автор высказывает мысль, («Три колена»), что настоящие люди придут со временем, в третьем поколении...

Исключением из этой серии можно считать рассказ «Мостик одинокой пары». В нем есть удачные штрихи, изображающие методы классовой борьбы европейской буржуазии и ее приспешницы социал-демократии. Но этот рассказ слаб в других отношениях, мало правдоподобен, не художественен. Лучший в сборнике — написанный стилем первых произведений Горького рассказ «К жизни». Высоко художественные описания, драматический сюжет захватывают читателя.

Справедливость требует отметить, что обычно приписываемый Дроздову «пошлый психологизм» в этом сборнике места не имеет.

Н. Виленская.

Н. Колоколов. — «Повелитель». Повесть. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 168. Ц. 1 р.

В детстве Сережа видел картину «Повелитель идет»: дворец, трон, багряный ковер, ведущий к трону, а по сторонам ковра — две шеренги людей в живописных костюмах... «Повелитель был высок, строен, и сухой его взгляд остановился поверх людских голов. От него веяло необыкновенной силой и уверенностью в себе. Картина до золотых берегов рамы налита была плотной тишиной и гипнозом величия. Она неотвратимым зовом приковала к себе Сережу».

И дальше, на протяжении полутора страниц, автор изображает путь этого «загипнотизированного» Сережи, охваченного страстью повелевать. От детских игр, где он был «заправилкой» («играли в школу — он был учителем, в солдаты — командиром, в обедню — архиереем» и т. д.), до капитана царской армии в империалистическую войну, куда он пошел из гимназии

добровольцем, — таков первый этап «повелителя».

«— Наполеоновское честолюбие» — заметил как-то отец, присяжный поверенный, присматриваясь к сыну.

Но события круто изменяются.

Сергей Румянцев — депутат в полковом комитете. Неискушенный в политике, он вначале было растерялся, но все та же идея власти одухотворяет его.

Уже после Октябрьской революции герой встречается с товарищами по службе, занявшими ответственные посты и пролезшими в партию. И вот снова путь к карьере. Потом переход к белым, — «повелитель» попадает в Чэка.

Таким образом вся повесть построена на жизни одного героя, чрезмерного эгоиста с единственным принципом «все для меня». Бесплодность, нежизненность этого принципа — такова мораль повести. Но и только. Больше здесь ничего нет. Борьбы общественных сил, широких картин революционных событий нет в повести Н. Колоколова.

н. Бучилов.

Зинаида Рихтер. — «У белого пятна». Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 240. Ц. 1 р. 40 коп.

Необжитой советский Север с каждым годом привлекает все большее и большее внимание нашей общественности.

Освоением Земли Франца Иосифа, Северной Земли, острова Врангеля, Карского моря мы вплотную придвинулись к разрешению полярной проблемы. Советские моряки и ученые с каждым годом все более и более втягивают Север в общий план хозяйственного развития Союза. Богатый полезными ископаемыми, пушным и морским зверем, Север начинает вносить и свою, пока еще скромную долю в дело перестройки жизни человека на одной шестой части планеты.

Одной из интересных страниц советского продвижения на Север является смена зимовщиков на острове Врангеля в 1929 году.

Малодоступный с моря остров был отрезан льдами в течение трех лет от материка, и советская колония жила без радио в полной неизвестности на этом полярном форпосте Союза.

Ледорез «Литке» ушел из Одессы вокруг старого света в спасательную экспедицию на о. Врангеля. Самая подготовка «Литке» к тяжелому походу проводилась в спешном порядке уже во Владивостокском порту. Именно с этого момента и начинается Зинаида Рихтер в книге «У белого пятна» повествование о походе «Литке». Одаренная журналистка дает в своем полярном дневнике не только записи событий, сопутствовавших плаванью во льдах, но и касается также исторического прошлого Камчатки и Чукотки.

За последнее время установилось некое правило составления книг, посвященных северным экспедициям. Прежде всего даются история корабля, на котором плавают автор, затем идет более или менее подробное описание ледовых походов, которые совершались когда-либо в полярные области, достаточно известные, между прочим, читателю по компилятивной литературе, и наконец примерно одна треть книги посвящена самой теме книги — походу.

Пользуясь вышеуказанным правилом, Рихтер однако не утомляет читателя длительными экскурсиями в прошлое, а сообщает лишь сжатые, конспективные сведения о прежних полярных походах.

Книга с большим умением и литературным вкусом разбита на главы, которым даны броские, запоминающиеся наименования.

Словно живые встают образы моряков-полярников и ученых, первых советских зимовщиков о. Врангеля.

Наиболее цельно и в теплых тонах написан портрет начальника острова Ушакова, энергично готовившегося к четвертой зимовке.

«Колонизированный Врангель — будущая база для исследования белого пятна. Меньше необследованных мест! Меньше на земле белых пятен» — таким призывом заканчивает Рихтер свою книгу.

Сочетание живой, кинематографической картинности описания экспедиции с экономическими перспективами края делают книгу полезной для интересующихся вопросами Севера и для нашего юношества.

Макс Зингер.

Н. Соколов-Страхов. — «В горных долинах Афганистана». Изд. «Московское т-во писателей». М. 1930. Стр. 78. Ц. 80 к.

Книжка написана по старому образцу географическо-нравоописательных сочинений, типа Водовозовой и др. С трогательным простодушием например говорится в ней, что на такой-то улице Кабула, «как у нас на Тверской, расположены самые лучшие магазины» и что афганский барабанщик может создать «перед вами на своем примитивнейшем инструменте целую симфонию». Впечатления автора от страны совершенно не аналитичны, если не сказать поверхностны. Народ, только что переживший гражданскую войну, выглядит в книжке монолитом, почти не разделенным на классы и племена. Старый, литературный, «классический» Восток! Два-три упоминания об «афганском Пугачеве» — Баче-Сакао, цитаты из автобиографии «умного прозорливца» Эмира Абдурахмана и подстранички, отведенные жалкому существованию чарикера (арендатора земли), не могут нарушить общего тона «путешествия»: очень наивного и старомодного. Так можно писать только о воображаемых странах благоденствия и покоя. Одних указаний на острые сабли и винтовки — неразлучных спутников горцев-афганцев, — совершенно недостаточно для доказательства великой

воли народа отстоять свою независимость от Англии. Конечно в книжке рассыпаны «полезные сведения», но они ведь имеются в каждом мало-мальски грамотном «путешествии».

Если даже поверить автору, что «для неспециалиста хрусталь и жемчужина одно и то же» (т.-е., что мы плохо разбираемся в «южных странах»), то все же по прочтении книжки «неспециалистов» не убавится. Настойчиво повторяя о стремительном прогрессе Афганистана, Соколов-Страхов, кроме фордиков, кое-где начинающих вытеснять коней и верблюдов, ничего, можно сказать, прогрессивного в стране не заметил. Нет, хрусталь и жемчужина — это по одно и то же!

Г. Константинов

Евгений Ланн.—«Литературная мистификация». ГИЗ. М.—Л. 1930. Стр. 224. Ц. 1 р. 78 к.

Книга Евг. Ланна посвящена мало исследованной проблеме «Литературной мистификации» и фальсификации. Классифицируя и анализируя чрезвычайно обширный материал (взятый исключительно из западной литературы), автор строит «введение» в эту «проблему». Остановившись на важности «социологического анализа» при изучении мистификации (выяснение социального смысла мистификации помогает и разоблачению подделок и открытию истинного автора), Е. Ланн дает классификацию подделок:

1) безличного творчества, 2) произведений, приписываемых писателю, 3) произведений, приписываемых историческим лицам, 4) произведений, приписываемых вымышленным, несуществовавшим лицом. Затем следует рассказ о ряде известных и мало известных мистификаций, и о их литературной судьбе.

Классификация Е. Ланна проведена по признаку: кому приписывается подделанное произведение. Эта работа была бы гораздо полнее и точнее, если бы был учтен и следующий признак: что главным образом фальсифицируется в данном произведении. В одну группу («подделки произведений, приписываемых вымышленным лицам») включены «Поэмы Роулея» Чаттертона, «Песни Билитис» П. Луиса и «Истории тайных военных обществ и воинских организаций, поставивших целью свергнуть Бонапарта» Ш. Нодье, и две книги XVII в., в которых рассказывалось о деятельности несуществовавшего Христиана Розенкрейцера и общества «Розенкрейцеров». В мистификациях типа произведений Чаттертона и Луиса налицо создание образа поэта и стилизация, подделка стиля как литературной реальности (стиля средневековой английской поэзии, стиля древнегреческой лирики VI в. до нашей эры). В втором случае мистификаторы не заботятся о создании образа несуществующего писателя (книга Нодье была даже издана а н о и м н о т.-е. не приписывалась никакому несуществующему лицу) и пытаются подделать не стиль, а сообщения о тех или иных фак-

тах, т.е. пытаются фальсифицировать действительность — исторические события и т. д. В этом отношении «Песни Билитис» дальше от книги Нодье, чем «Утопия» Томаса Мора: ведь предлагал же один ученый, как рассказывает Е. Ланн, послать миссионеров в несуществующую Утопию; правда, «Утопия» честно снабжена именем автора, но ведь и книга Нодье а п о п и м п а, не приписана никому из существующих и несуществующих авторов и следовательно, по схеме Е. Ланна, не должна считаться мистификацией и должна быть выброшена из его монографии. Если появление мистификаций первого вида может быть объяснено в значительной степени «стилизаторским талантом», «тягой к маскарэду, к трагестированию» (Ланн), то во втором случае повидному на первом плане всегда социальная, политическая целеустремленность, которую Е. Ланн отмечает у авторов только одной «подделки стиля» — авторов чешской «Кралеверской рукописи». В подделках произведений, приписываемых историческим лицам, существующим писателям, могут соединяться оба признака: стилизация и фальсификация фактов; но могут и не соединяться. Если бы Е. Ланн воспользовался в качестве материала литературной мистификацией, известной под именем «п и с ь м а З и н о в ь е в а», он увидал бы, что авторы «письма» заботились о «фальсификации действительности» и связанном с ней политическом эффекте, а подделка стиля документов Коминтерна сама по себе не интересовала авторов и была выполнена слабо.

Мистификаторов, создающих подделки, приписываемые вымышленным авторам, увлекает не только страсть к трагестированию, но и желание почувствовать себя всеильным художником, к персонажам обычным для других книг присоединяющим и образ самого автора книги, — художником, который, по Флоберу, возвышается над произведением властно, как бог. Псевдоним, развернутый в образ вымышленного древнего или современного автора, создание «историко-литературного факта» («древнего эпоса» и т. д.), накопец и выдумка событий, принимаемых как действительные, помогают писателю как бы перешагнуть грани литературы, вмешаться непосредственно в жизнь, создавать в известном смысле больше, чем литературные произведения. Иногда это вполне удается, и «вымышленный писатель» живет, остается в памяти. Пример: Кузьма Прутков — в некотором роде русский классик.

Агитационность мистификации, мистификация памфлет, мистификация и пародия — вот интереснейшие темы, освещенные в книге Ланна и заслуживающие того, чтобы их специально проработали. Автор «Литературной мистификации», давая большую сводку материала (которая должна заинтересовать широкие круги читателей), строя «Введение» в неизученную область литературы, не мог уделить, хотя бы по недостат-

ку места, указанным вопросам много внимания. Широкое знание материала должно помочь Е. Ланну притти в дальнейшем к более законченным выводам.

Нельзя согласиться с определением: «понятие «аноним» однозначно с понятием «псевдоним», ибо в обоих случаях автор заменяет свое имя условным знаком» (стр. 203). Аноним, три звездочки — действительно условный знак. Псевдоним же, особенно для читателя, знающего писателя только по книгам, является вполне реальным, подлинным именем автора; если он раскрывается, его может заменить настоящее имя, часто соединяющееся с псевдонимом.

Я. Фрид.

С. Бонди. — «Новые страницы Пушкина». Стихи, проза, письма. Изд. «Мир». М. 1931. Стр. 208. Ц. 2 р. 10 к.

Несмотря на плодотворнейшую работу нескольких поколений исследователей, творчество Пушкина до сих пор остается в значительной мере неизученным. Речь идет не только об историко-литературном изучении, сколько-нибудь широко развернувшимся лишь за последние десять—пятнадцать лет, самое материальное, так сказать, содержание его поэтического наследия заключает в себе еще много нового и неизданного для нас.

Книжка Бонди в высшей степени показательна в этом отношении. Построенная почти целиком на основе изучения рукописного фонда Ленинской библиотеки, обследовавшегося едва ли не всеми нашими крупными пушкинистами, она дает, тем не менее, до пятнадцати новых текстов, причем многие из них вовсе не носят характера каких-либо второстепенных и третьестепенных мелочей.

Так, автору удалось восстановить новый, вполне художественно законченный вариант стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла», эстетически едва ли ему не равноценный. Далее он дает новое, связанное чтением отрывка «Я возмужал [среди] печальных бурь», печатавшегося до сих пор совершенно в невразумительном виде. Опуская незаконченное стихотворение об актрисе Семеновой и незаконченную же эпиграмму на Надеждина, упомянем неизвестные доселе черновики «Сказки о рыбаке и рыбке», посвященные эпизоду о том, как старуха захотела стать «римской папой», — эпизод, как правильно отмечает автор, интересный не только сам по себе, но и вносящий что-то новое в вопрос о генетике «Сказки», неоднократно уже обсуждавшейся в пушкиноведной литературе. Специальный этюд посвящен обоснованию нового чтения имени героя незаконченной поэмы о Тазите — «Гасуб», вместо традиционного и ошибочного «Галуб», — чтения, уже известного нам по гизовскому шеститомнику.

Не перечисляя всех остальных текстовых находок автора, укажем еще на начало незаконченной повести из войны 1812 го-

да, план поэмы из казацкой жизни, при- мыкающий к серии его незавершенных повествовательных замыслов, наконец этюд, доказывающий, что фрагмент, печатавшийся до сих пор в виде статьи о Боратынском, представляет собою механическое соединение двух статей, писанных в разное время и по разным доводам.

Несколько особняком стоит в книжке этюд о «Египетских ночах», перерастающий в целое исследование о творческой истории этого произведения, исключительно полноценное по материалу и по выводам. С некоторыми положениями автора, правда, можно спорить, но этому месту на страницах специальных изданий, а не в краткой рецензии.

В общем книжка Бонди очень заметное явление современной пушкинианы. Прибавим к этому, — заметное не только для специалиста, но и для рядового читателя не лишенное интереса. Несмотря на сложность научного аппарата, обилие транскрипций, она не носит и следа той гелертерской сухости, которая как правило отличает все текстологические разыскания. Тем более высокой оценки она заслуживает.

И. Сергиевский.

«Записные книжки Ал. Блока». Изд. «Пробой» Л. 1930. Стр. 253. Ц. 2 р. 25 к.

Вслед за двумя томами дневников Александра Блока на книжном рынке появились его записные книжки. В том виде, в котором эти книжки опубликованы, они не очень существенно отличаются от дневников. Нельзя не согласиться с редактором П. Медведевым, что записные книжки у Блока «то заменяют, то дополняют, то предварают дневник». Вынимая записную книжку из кармана, поэт вносил в нее свои мысли о творчестве и о жизни, отмечал встречи и впечатления. Поэтому в них содержится богатый материал для изучения литературного и общественного пути Ал. Блока. Множество его жизненных сомнений, творческих противоречий, его колебания от индивидуалистической замкнутости до самых искренних стремлений приобщиться к революционной общественности — все это вновь раскрывается перед читателем.

Помимо записей, мало отличающихся по форме и содержанию от дневника, Блок внес в свои книжки отрывки творческих замыслов, неотделанные строки будущих стихов. Поэтому и для изучения приемов его творческой работы, для истории его поэтических текстов «записные книжки» имеют немаловажное значение.

Очень жаль, что они опубликованы в чрезвычайно урезанном виде. Ампутации подверглись многие черновики стихов, выписки из прочитанных книг (в том числе из «Рождения трагедии» Ницше, оказавшего довольно значительное влияние на Блока), перечни «трудов и дней» и другие материалы. Благодаря подобному сокращению, из сорока шести сохранившихся книжек целиком

«отпали» шесть. Материал же остальных книжек, как сообщает П. Медведев, «значительно уменьшился».

Приходится отметить, что от применения таких методов опубликования рукописных материалов научная ценность книги свелась к нулю. Да и в качестве популярного издания «Записные книжки», очевидно, потеряли очень много, лишились цельности, утратили свой аромат. Если издательство решило во что бы то ни стало сократить объем книги, то оно не проявило здесь особой культурности. Полнейшее недоумение вызывает сообщение редактора о том, что две записи даны им «в более систематизированном виде, нежели в оригинале» (см. Примечания, стр. 210, 212).

В примечаниях П. Медведева содержится довольно много полезных сведений, но некоторые из них фактически неверны и не выдерживают никакой критики.

Прежде всего конспект блоковской статьи, напечатанной на стр. 43—44, относится вовсе не к статье «Краски и слова», а к статье «Безвременье», напечатанной первоначально в «Золотом руне» (1906, № 11—12). В ошибке редактора, которому не следовало было судить лишь по одному заголовку записи, легко можно убедиться, сопоставив тексты указанных статей с конспектом.

«Стереоскоп» Ал. Иванова (брата друга Блока — Евг. Иванова) представляет собой

в действительности не «рассуждение об искусстве», как уверяет П. Медведев, а повесть полуфантастического порядка. Движок и Режица никогда не были «приграничными ж.-д. станциями». Н. А. Маклаков никогда не состоял председателем совета министров.

Весьма странной представляется нам доморощенная классификация поэтов-символистов, которую применяет П. Медведев в своих примечаниях. Бальмонт, З. Гиппиус и А. Добролюбов оказываются у него «неоромантиками», Брюсов — представителем «неоромантизма и раннего (эстетического) символизма» (?!), Сологуб и Коневской — «декадентами», А. Белый и Вяч. Иванов вместе с Н. Петровской — «символистами». Подобная «классификация» напоминает злостное «рассаживание» поэтов-символистов в клетки «декадентства», «неохристианской романтики» и «мистического анархизма», проделанное еще в 1907 г. неким Семеновым на страницах «*Mercur de France*». Можно лишь повторить в данном случае слова Блока, напечатавшего свой протест в «Весах»: «Автор схемы высказал яркую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких... Вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна».

Вс. Малеев.